
Серия
Российская политическая наука
Истоки и перспективы

История российской политической науки

Научные редакторы Ю. С. Пивоваров, А. И. Соловьев

**История Российской ассоциации
политической науки**

Научные редакторы С. В. Патрушев, Л. Е. Филиппова

**Структурные трансформации и развитие
отечественных школ политологии**

Научный редактор О. В. Гаман-Голутвина

**Российская политическая наука
Идеи, концепции, методы**

Научный редактор Л. В. Сморгун

**Политическая наука перед вызовами
глобального и регионального развития**

Научный редактор О. В. Гаман-Голутвина

Российская ассоциация политической науки (РАПН)

Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России

Серия

Российская политическая наука

Истоки и перспективы

Под общей редакцией
О. В. Гаман-Голутвиной

Редакционный совет

Председатели *г-р полит. наук, проф., академик РАН*
А. В. Торкунов,

г-р полит. наук, проф.
О. В. Гаман-Голутвина

Зам. председателя *г-р филос. наук, проф.* **Л. В. Сморгунов**

Члены редсовета *г-р ист. наук, проф., академик РАН*
В. Г. Барановский,
г-р полит. наук, проф. **А. Д. Воскресенский,**
г-р полит. наук, проф. **М. В. Ильин,**
г-р полит. наук, проф. **А. П. Клемешев,**
г-р филос. наук, проф. **О. Ю. Малинова,**
г-р филос. наук, проф. **А. Ю. Мельвиль,**
г-р полит. наук, проф. **А. И. Никитин,**
канд. ист. наук, проф. **С. В. Патрушев,**
г-р полит. наук, проф., академик РАН
Ю. С. Пивоваров,
г-р полит. наук, проф. **О. В. Попова,**
канд. юр. наук, проф. **В. В. Смирнов,**
г-р полит. наук, проф. **А. И. Соловьев,**
г-р биол. наук, г-р полит. наук, проф.
А. Ю. Сунгуров,
г-р полит. наук, проф. **Л. Н. Тимофеева,**
г-р ист. наук, проф. **Л. А. Фадеева,**
г-р филос. наук, проф. **Е. Б. Шестопал**

Российская ассоциация политической науки (РАПН)

Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России

**Российская
политическая наука
Идеи, концепции, методы**

Серия

Российская политическая наука

Истоки и перспективы



АСПЕКТ ПРЕСС

Москва

2015

УДК 327
ББК 66.4
Р76

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные Российской ассоциацией политической науки в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России

Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы: Научное издание / Под ред. Л. В. Сморгунова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015.— (Серия «Российская политическая наука: Истоки и перспективы»). Под общ. ред. О. В. Гаман-Голутвиной). — 375 с.

ISBN 978–5–7567–0814–1

Монография посвящена раскрытию ряда тем и проблем, актуальных для современной политики и политической науки в России. В работе освещаются место и роль политической науки в реальной политике, проблемы хронополитики, соотношение политики множества и политики масс, политического в сетевом обществе и особенности исследования политического восприятия. В центре внимания авторов — трансформация государства и государственной власти в условиях современного глобального и регионального развития. Специальный раздел посвящен проблемам теории символической политики, роли символов, мифов и культурных факторов в политическом процессе, политической памяти, месте символической политики в деятельности политических партий. Анализируются мировоззренческие проблемы модернизации общества, институциональные модели организации власти в полиэтнических сообществах, кризис демократии, политическая экономия авторитарических режимов, особенности публичной политики в сетевых и региональных контекстах. Работа написана на материале российской и зарубежной политики.

Для специалистов в области политологии, других общественных и гуманитарных наук и всех, интересующихся актуальными проблемами современной политики.

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978–5–7567–0814–1

© РАПН, 2015
© МГИМО МИД России, 2015
© ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение (Сморгунов Л. В.)7

Раздел 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА: ПОГРАНИЧЬЕ ВЗАИМНОСТИ

1.1. Образы времени в обыденном языке и научном мышлении: геометрия
темпоральности, волны памяти и сюжеты развития (Ильин М. В.)13

1.2. Концептуальные основы изучения массовой политики
(Патрушев С. В., Филиппова Л. Е.)36

1.3. Трансформация политического в сетевом пространстве (Сморгунов Л. В.)63

1.4. Методы исследования политического восприятия в российской политической
психологии (Шестопап Е. Б.)76

Раздел 2

КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ

2.1. Национальное государство в условиях глобализации (Кочетков А. П.)95

2.2. Государство XXI века: пределы эффективности (Шабров О. Ф.)109

2.3. Государство как пространство принятия решений (Соловьев А. И.)121

2.4. Конфликт публичных ценностей и политика административной культуры:
истоки и перспективы преодоления (Комаровский В. С.)141

2.5. Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса
как отрасль государственного управления (Гришин Н. В.)155

2.6. Об исторической специфике русской власти (Пивоваров Ю. С.)171

Раздел 3

РЕАЛЬНОСТЬ В РАКУРСЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Символическая политика: осмысление предметного поля (Малинова О. Ю.)182

3.2. Политическая культурология и антропология современной символической
политики (Завершинский К. Ф.)196

3.3. Символические партии как культурно-политический феномен: немецкий опыт в российской перспективе (Поцелуев С. П.)	208
3.4. Современный дискурс политики памяти (Русакова О. Ф., Русаков В. М.)	226

Раздел 4

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

4.1. Мировоззренческое кредо инновационной модернизации социума (Красин Ю. А.)	239
4.2. Массовая политика: эффект «эмпваэрмента» (Айвазова С. Г.)	254
4.3. «Кризис демократии» и «зависшие» демократизации (Мельвиль А. Ю.)	272
4.4. Институциональные модели организации власти в полиэтнических обществах: варианты, проблемы и решения (Панов П. В.)	289
4.5. К политической экономии автократических режимов: динамическая математическая модель (Ахременко А. С.)	307
4.6. Социальные сети как акторы современной российской публичной политики (Мирошниченко И. В., Морозова Е. В.)	324
4.7. Публичная политика в регионах России: концептуальные основания и инструментальные методы (Никовская Л. И., Якимец В. Н.)	345
Заключение (Сморгунов Л. В.)	371
Сведения об авторах	373

ВВЕДЕНИЕ

В начале 2013 г. РАПН по инициативе М. В. Ильина начала дискуссию о профессионализме в политике и политической науке. Дискуссия носит открытый характер и продолжается до сих пор. В ходе нее высказаны интересные замечания, суждения и оценки. Общий ход дискуссии говорит о том, что российская политическая наука приобрела уже некоторые основания для рефлексии не только о своем собственном уровне развития, но и о том, чем является политическая наука для практической политики. Все это свидетельствует о ее переходе из стадии становления в стадию взросления и ответственности. В определенном отношении проблема профессионализма и ответственности созвучна веберовской постановке и решению вопросов о политике как призвании и профессии. Для российской политической науки веберовские принципы являются аксиоматическими, что не отменяет, конечно, дальнейшего продумывания перспектив развития науки о политике после почти столетнего проекта политики Макса Вебера.

Современная российская политология не формирует особой школы или направления в мировой науке, однако ее современное состояние позволяет выделить некоторые заметные методологические и теоретические наработки, свидетельствующие о ее зрелости. Эта книга в серии работ о российской политической науке и задумывалась как определенный набор идей, концепций и методов, демонстрирующих сопоставительные возможности российских политологов при изучении довольно конкретных тем политического ландшафта России и мира. После освещения основных направлений и центров развития российской политической науки в предыдущем томе хотелось сконцентрироваться не на широких обобщениях и универсальных сюжетах, а показать особенности подхода российских ученых к тем актуальным тематическим проблемам, которые сегодня находятся в определенной мере в круге интересов, связанных с динамикой и перспективами развития современной политики. Обобщая представленный авторами результат исследований, можно определить несколько заметных тенденций и черт российской политической науки сегодня.

1. В российской политической науке преодолен синдром американо- или евроцентризма, что было характерно для ее становления в первые десятилетия современной России. Вместе с тем отсутствуют и провинциальная зашоренность, местничество и национальная ограниченность. Представленный в книге материал основывается на мировой научной практике и учитывает потребность в идеях и концепциях для национального развития.
2. В мировой политической науке сегодня широко обсуждается вопрос о том, какой должна быть политология, чтобы она соответствовала потребностям современной сложной действительности. В этом отношении доминирующей тенденцией выступает расширяющееся убеждение, что современная политическая наука должна быть одновременно философской, сравнительной и практико-ориентированной. В этом направлении продвигается и российская политология. Конечно, сейчас и у нас, и в мировой политологии трудно обозначить парадигмальные труды, которые воплощали бы эту тенденцию. Однако представленные в данной книге работы и авторы в той или иной мере сознательно или интуитивно следуют стратегии такой политологической модели.
3. В России сложно найти отечественные работы по методологии политических исследований. Есть добротные работы по методам эмпирического анализа и прогнозирования политики, но по сравнению, например, с российской социологией у нас на порядок меньше методологических исследований. Это можно оценивать двояко. Если говорить о положительной стороне, то налицо попытка российских политологов не отделять вопросы политической методологии и онтологии. Следуя вполне здоровой традиции, методология определяется предметом и объектом исследования, а потому невозможно достичь научного результата, ставя впереди лошади телегу. В этом отношении единство онтологии и методологии исследования является принципом многих российских политологов. Отрицательной же стороной отсутствия методологического интереса выступает часто простая описательность, а не аналитичность полученных результатов. По-видимому, чувство единства онтологии и методологии исследования возникает на основе высокой и развитой методологической культуры исследователя.
4. Несмотря на постоянные высказывания о разрыве между российской политической наукой и реальной политикой, на мой

взгляд, и у политиков, и у политологов, что более значимо, формируется все более крепкое убеждение, что политическое знание, политическая наука является неотделимым фактором реальной политики. Будем ли мы говорить о политических идеях, политической философии или политической науке, все виды политического знания актуальны для политики. Конечно, противостояние лженауке и явному мракобесию невозможно без развитой системы политического знания. Но и последняя укрепляется только в единстве с реальной справедливой политикой. В этом отношении представленная книга политологов направлена на преодоление заблуждений об отсутствии связи политики и науки.

Современная политическая практика говорит об усложнении политических институтов, процессов и систем. Современное политическое развитие не приемлет простых схем и однолинейных проектов. Адекватным ответом науки выступает сложное мышление и разнообразие теоретических подходов к описанию этой сложной реальности. В этом отношении подходы позитивной науки, как и новейшие «идеографические» установки сохраняют свою полезность для получения знания. Вместе с тем формируется система сложных междисциплинарных или синтетических методов, которые, на взгляд их протагонистов, позволяют более адекватно выразить политические феномены. В любом случае, как демонстрирует данное издание, авторы не стоят на позиции отстаивания полезности какого-то одного направления, а представляют широкий спектр обоснований и суждений.

Данная книга состоит из четырех разделов. В *первом разделе* раскрываются некоторые теоретические идеи о существе и тенденциях развития современной политики. В представленных материалах анализируются сложные вопросы соотношения времени, пространства и политики, их единство в динамике истории, ее политических циклов, волн и ритмов. Теоретическое и практическое значение имеет описание институциональных парадоксов массовой политики на основе различения политики множества, политики граждан и политики масс. В этом же разделе дается описание проблем трансформации современной политики и политического под влиянием сетевого общества и новых коммуникационных технологий. Здесь развернуто убеждение, что публичная сфера подвергается радикальному переходу в направлении не просто репрезентации интересов, а формирования условий для диалога и инклюзивного сообщества. Завершает данную часть книги глава о психологической интерпретации политики,

политических лидеров и о современных методах исследования политического восприятия образов.

Второй раздел посвящен одной из самых актуальных и не до конца определенных тем современной политической науки — проблеме состояния и перспектив развития современного национального государства. В условиях глобализации наукой зафиксировано множество неоднозначных тенденций в развитии государства и государственной власти. Существует довольно распространенный взгляд о снижении роли государства в современном политическом процессе в связи с появлением транснациональных структур, влияющих на политику, и глобальных акторов политического процесса. Есть и хорошо обоснованное суждение о том, что современное государство не исчезает, его роль не снижается, а трансформируется в связи с появлением глобальных игроков и усилением их роли в управлении гражданского общества. Представленные в данном разделе главы демонстрируют сложную картину существования и развития современного государства. Амбивалентным является влияние сетевого общества на государство. Сложная система отношений, как свидетельствует автор соответствующей главы, скорее отдаляет сетевые структуры принятия решения от общества, чем формирует систему доверия и участия. Дискутируется вопрос о том, почему ряд государств демонстрируют свою институциональную несостоятельность и скатываются в авторитарные политические режимы. Большое значение в ходе трансформации современного государства придается его координационной функции, и здесь поддержана идея скорее трансформации, чем кризиса современного национального государства. Обсуждаются проблемы эффективности государства в глобальном контексте в связи с конкурентоспособностью и растущими требованиями к развитию. Особая часть раздела посвящена интересному направлению — государственному регулированию избирательного процесса. Как демонстрирует автор, здесь нет однозначных решений и эффективных моделей; каждое государство решает этот вопрос, исходя из многих критериев и предположений. Завершает раздел идея исторической преемственности государственности в России.

Третий раздел интересен постановкой вопроса о роли политической культуры, символов и когнитивных механизмов в формировании политической картины мира и политической реальности. Общее наименование такого направления — теория символической политики. Данное направление исследований возникает на стыке полити-

ческой науки, культурологии, антропологии, когнитивистики. Много споров о роли различных культурных факторов — символов, мифов, традиций, образов — в современной политике. Трансформация коммуникативной инфраструктуры политики оказывает возрастающее влияние на восприятие политики и политическое воображение. В статьях данного раздела можно найти убедительный по аргументации материал о практико-политической роли символической политики и ее инструментальной значимости для организации политической конкуренции. Много уделяется внимания различным дискурсивным практикам и политике памяти. Специальная глава посвящена символическим партиям в исторической и современной политике.

В *четвертом разделе* читатель найдет ряд материалов о политическом развитии и публичной политике в ее практико-ориентированном преломлении. Политика невозможна без стратегии, основой которой выступает наше представление о перспективах развития политического мира в контексте модернизационного развития. Этому посвящена первая статья раздела. Развивает идею массовой политики концепт «эмпваэрмента». Кризис демократизации и ответы на вопрос, почему «зависают» демократизирующиеся государства, рассматривается в широком компаративном эмпирическом контексте. Этническое многообразие вместе с политизацией этничности порождает серьезные изменения в политических режимах на различных уровнях. Институциональные модели организации власти исследуются в предлагаемом материале на опыте России и других стран. Проблеме возникновения и функционирования атократических режимов посвящена глава о политической экономии таких режимов. Взаимосвязи автократических режимов и различного по характеру капитала обоснованы динамической математической моделью. Две статьи посвящены публичной политике. В одной анализируются сетевые акторы современной политики и процесс обмена ими ресурсами в ходе принятия и реализации определенных политических стратегий. В другой главе на основе оригинальной методики, разработанной авторами, представлены материалы эмпирического анализа региональных режимов публичной политики, учитывающей трехсекторное взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества.

Книга написана учеными, представляющими различные научные центры страны — академические институты и университеты. Многие материалы, представленные здесь, получили апробацию и развитие на многочисленных российских и зарубежных конференциях, в об-

Введение

щении с коллегами и студентами вузов. Авторский коллектив надеется, что книга поможет понять, что собой представляет российская политическая наука, российская политика, и будет замечена благодарным читателем.

Авторский коллектив монографии: С. Г. Айвазова (4.2), А. С. Ахременко (4.5), Н. В. Гришин (2.5), К. Ф. Завершинский (3.2), М. В. Ильин (1.1), В. С. Комаровский (2.4), А. П. Кочетков (2.1), Ю. А. Красин (4.1), О. Ю. Малинова (3.1), А. Ю. Мельвиль (4.3), И. В. Мирошниченко (4.6), Е. В. Морозова (4.6), Л. И. Никовская (4.7), П. В. Панов (4.4), С. В. Патрушев (1.2), Ю. С. Пивоваров (2.6), С. П. Поцелуев (3.3), В. М. Русаков (3.4), О. Ф. Русакова (3.4), Л. В. Сморгунов (введение, заключение, 1.3), А. И. Соловьев (2.3), Л. Е. Филиппова (1.2), О. Ф. Шабров (2.2), Е. Б. Шестопал (1.4), В. Н. Якимец (4.7).

Л. В. Сморгунов,
научный редактор тома

1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА: ПОГРАНИЧЬЕ ВЗАИМНОСТИ

1.1. Образы времени в обыденном языке и научном мышлении: геометрия темпоральности, волны памяти и сюжеты развития

Начну с любимой цитаты из «Феномена человека» Пьера Тейяра де Шардена. Приведу ее с небольшими уточнениями курсивом прекрасного перевода В. Н. Садовского. «То, что делает («и относит к категории» [et classe] — добавляет Тейяр де Шарден). человека «современным» [“moderne”] (и в этом смысле масса наших современников [une foule de nous contemporaine] еще не современна [ne sont encore moderne]), — это *обретение способности* видеть [с’est d’être devenu capable de voir] не только в пространстве, не только во времени, но *еще важнее в Длительности* [mais dans la Durée], или, что то же самое, в биологическом пространстве-времени; *это означает, более того, что мы становимся неспособны видеть никак иначе — только так — начиная с самого себя* [с’est de se trouver, par surcroît, incapable de rien voir autrement, — rien, — à commencer par lui-même]». Вывод — «нам предстоит сделать последний шаг, чтобы вступить в сердцевину метаморфозы»¹. Эта метаморфоза — превращение в современных людей, модернизация.

Еще на полтора столетия раньше эту болезненную трудность метаморфозы вступления в современность уловил Иммануил Кант. Отвечая на вопрос, что такое просвещение, он настаивал — «это выход человека из самому себе навязанного несовершеннолетия (*aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit*)» (перевод автора, оригинал см.: *Кант И.* Сочинения на немецком и русском языках. М.: Ками, 1994. Т. 1: Трактаты и статьи, (1784–1794). С. 126). Роковой, едва ли не первородный грех

человека, его себе самому вмененная «вина» (*die Schuld*) заключается в том, что он не может или не хочет видеть в длительности, в биологическом пространстве-времени и в социальном развитии. Только став современными и действительно совершеннолетними (*mündig*), люди вынуждены взять на себя ответственность за результаты своей деятельности, а не перекладывать ее на горние силы, на требования истории или на объективные законы. Только став самостоятельными и просвещенными, мы оказываемся в состоянии занять ту естественно выгодную точку (*point naturellement avantageux*), когда их взгляд «совпадает с объективным расположением вещей, и восприятие обретает всю свою полноту»². Только став современными, мы начинаем понимать, что «человек — не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции (*axe et flèche de l'Evolution*), что много прекраснее»³.

Трудно оспорить тейяровскую оценку большинства нынешних людей (*nous contemporaine, our contemporaries*) как еще не современных. Точно так же поставленная Кантом задача взросления также для большинства нынешних поколений пока не стала их собственной заботой. Большинство представителей нынешних поколений, полагающихся на отеческую заботу социального государства или иных патронов, даже не пытается видеть окружающий мир в процессе развития, а себя — на ее вершине. В лучшем случае меньшинство людей даже в относительно развитых сообществах можно оценить как в той или иной степени современных и просвещенных. Большинство же продолжает вменять себе вину, грех несовершеннолетия.

Коль скоро, по строгому счету, мы все еще не вполне, а то и вовсе не современны, следует, пожалуй, превозмочь подростковые порывы к иллюзорной «взрослости». Не надо обманывать себя самодовольным «превосходством» над классической наукой и философией. Не стоит тешить себя обманкой так называемого Постмодерна — фактического бегства в «недомодерн» из страха перед сложностью нашего времени⁴. Нам предстоит спокойно подступить к трудному и длительному переходу к действительному, а не карикатурному Модерну упрощенных схем однолинейной или даже одномоментной «модернизации».

Чтобы добиться этого, необходимо попытаться отчетливо вообразить наше время. Ответственным за планету и за себя жителям Земли пора начать ощущать, каково это быть современными. Обществоведам пора упорно поработать над тем, чтобы найти естественно выгодную точку на устремленной ввысь стреле (*flèche montante*) социальной эволюции, которая позволит адекватно увидеть вершины и пропасти человеческого развития.

Как понять современность? Как вообразить наше время? Этот вопрос нарочито двусмыслен. Под словом *наше* можно понимать социальное, человеческое время в его противопоставлении дочеловеческому и независимому от людей времени Космоса и элементарных частиц. *Наше* одновременно означает нынешнее, но отнюдь не время незапамятной древности или туманной будущности. Слову *наше* можно также придать значение «инструментальное время обществоведа, исследующего социальную динамику» в противоположность естественному, спонтанному пониманию хода времени обывателем. Все эти и, вероятно, подобные трактовки справедливы и так или иначе должны быть учтены.

Рискну утверждать, что какого-то одного, единственного взгляда на современность, а значит, и на всеобщее развитие нет и быть не может. Для современного обывателя требуется овладение многими, а для обществоведа — буквально всеми (!) оптиками времени. Мне как политологу, имеющему некоторый опыт семиотических и концептологических штудий, хотелось бы предложить довольно специфический, но, с моей точки зрения, необходимый взгляд на образы круговорота времени, его направленности (стрелы, вектора), на поток времени, на волны, ритмы и спирали развития в качестве когнитивных источников политологического анализа. В предварительном порядке замечу, что эвристичность соответствующих оптик определяется, во-первых, исходной метафорикой, точнее, ее использованием при построении когнитивных схем, а во-вторых, аналитическими инструментами, которые разрабатываются на базе последних.

Попробуем для начала, а данная статья лишь подступ к задаче «видеть» (*voir*) — так назвал Тейяр де Шарден введение в свою книгу, — обозреть уже доступные нам оптики времени и точки зрения на развитие. Это и подсказки, скрытые во внутренней форме названий времени и развития. Это различные образы и метафоры — колесá, пути, потока и т.п., — которые порождают когнитивные схемы нашего мышления. Это и различные аналитические модели — цикла, волны, спирали и т.п. Это принципы меняющейся геометрии пространства-времени, замеченные Тейяром де Шарденом: развертывание из точки и сворачивание в сферу. Это, наконец, сюжеты прогресса, развития и эволюции, которые закрепляют наши усилия по организации человеческого пространства-времени.

Подсказки обыденного языка

И время, и развитие, и прогресс можно представить по-разному. Их исходная концептуализация вытекает из базовых когнитивных схем,

метафор, следы которых сохранены во внутренней форме соответствующих слов. При этом каждый новый поворот в понимании времени и развития вынуждал не только добавлять новые смыслы, но и заново переосмысливать и трактовать исходную метафорику.

Прежде всего следует признать, что сами по себе темпоральные (и спатальные) абстракции, предельные категории времени и пространства (по Канту, априорные, чистые формы созерцания — *reinen Formen der Anschauung*) возникли довольно поздно. Первоначальные способы осмысления того, что мы сейчас называем временем, были конкретны и схватывали те или иные стороны, моменты, проявления темпоральности. Так, Карл Дарлинг Бак в своем знаменитом «Словаре избранных синонимов важнейших индоевропейских языков» убедительно показывает, что древнейшие корни, связанные с осмыслением темпоральности, фиксировали те или иные конкретные и наглядные меры, с помощью которых сознание метафорически пыталось ухватить феномен времени: отрезки, точки, порции, охваты и т.п.⁵. В частности, латинское слово *tempus* «возводится к и.-е. корню со значением «тянуть» (*ten-, с расширениями *ten-p-, *ten-d-⁶, т.е. означает первоначально «меру длины» (возможно, натягиваемой веревки)⁷. От того же корня происходят и соответствующие германские слова, например, английское *time*⁸ и немецкое *Zeit*⁹. Греческое слово χρόνος происходит «от глагола со значением «хватать», и.-е. *ǵher-, т.е. значит первоначально «охват, объем», как бы «круг событий»¹⁰. Таким образом, «в греческом, латинском и германском ареалах культуры понятие “время” тесно связано первоначально с понятием “ограниченное, или обнесенное оградой, пространство (нашего) мира”, причем некоторые материальные приметы последнего — “забор”, “колонна”, “дерево, стоящее в центре” и т.п. — символизируют одновременно как пространство этого мира, так и время событий, протекающих в этом пространстве, собственно — “круг событий”»¹¹.

В славянских языках аналогичным обозначением меры времени было слово *час*. Оно произошло от индоевропейского корня *kes // *kos- со смыслом «резко касаться, ударять» и исходно «означало «зарубка» (на притолоке двери, на дереве, палке), а затем «время между двумя зарубками»¹².

Славянский этимон *время* (от и.-е. *ert-men) на этом фоне выглядит содержательнее и оригинальнее. Его корень и.-е. *er-t- со смыслом «вертеть, вращать, поворачивать» соединялся с суффиксом *-men, обозначающим множественное, многократное обобщение действия в устойчивое явление, как в словах *пламя, бремя, семя* и т.п. Тем самым

слово *время* обозначало постоянный круговорот событий в памяти или воображении по аналогии с однокоренными словами, обозначавшими предмет, поворачиваемый в пространстве (*ворота, ворот*), или место подобного движения (*поворот*). Движение во времени мысленно уподобляется движению в пространстве. «Эта разновидность пространственно-временного круговорота также прямо отражена в древнерусском языке в производных от корня и.-е. **urt-* // **uert-* // **urt-* (он, как уже было сказано выше, представлен и в слове *время*). Так, рус. *Верста*, др.-рус. *вѣрста* значат 1) “возраст” (откуда *сверстник* букв. “одного возраста”), 2) “поколение” (букв. “одного *коло*, одного поворота”), 3) “верста”, мера длины»¹³.

На основании данных языка академик Ю. С. Степанов выделяет три, как он считает, последовательно возникавшие формы осмысления темпоральности¹⁴. Это циклическое, линейное и «разом данное время». Последнее «мы находим его в текстах Гомера, особенно в “Илиаде”, и оно исчезает с появлением греческих исторических сочинений — в V в. до н.э., сменяясь представлением о “течении”, или “потоке” времени»¹⁵. Идея времени как потока сама по себе интегральна. Действительно, поток «дан разом», но при этом он движется вдоль русла волнами и завихрениями, то разливаясь по плесам и заводям, то сужаясь в протоки.

Дальнейшая концептуализация темпоральности осуществляется уже на более высоких уровнях абстракции, чем слова¹⁶, — на уровне понятий, идеальных типов, категорий и ноуменов типов кантовских чистых форм созерцания. Однако прежде чем перейти к рассмотрению некоторых абстракций данного ряда, нельзя оставить без внимания два этимона, которые при всей своей конкретной осязаемости обладают грандиозной обобщающей силой и стихийно выражают смысл биологической природы времени. Один этимон связан с русскими словами *юн, юный, юность*¹⁷, а второй — со словами *век* и *вечность*¹⁸. Оба этимона связывают время с жизнью, которой оно соразмерно и единосущно, если воспользоваться абстрактной терминологией более поздних времен. Эта связь времени и жизни научно объясняется и оправдывается концепцией биосферного происхождения времени¹⁹.

От исходных метафор к когнитивным схемам

Образы и метафоры суть исходные способы описания. Однако порождаемые ими смыслы довольно зыбки. Для обыденного мышления подобная неопределенность не только допустима, но и хороша. Но для

проведения строгого анализа требуется своего рода «сжатие», «фокусировка» смыслов, а для более мощного синтеза — их «расширение». В случае «фокусировки» метафоры волн, циклов и ритмов могут стать основой аналитических инструментов, позволяющих высветить и детально описать важные аспекты явлений. В случае «расширения» пространства видения возникают особые знаки-символы, которые дают возможность уловить и понять не менее значимые стороны действительности.

Метафоры цикла, волны и ритма обладают неодинаковым аналитическим и синтезирующим потенциалом. Волна, на мой взгляд, образнее двух остальных, а потому ее сложнее всего «оторвать» от обыденного мышления. Цикл более абстрактен не только в силу иноязычного происхождения, но и в связи с самой геометричностью круга. Его легче использовать для создания как аналитических, так и синтетических средств познания. Образность ритма, если это не какой-то особый ритм, может оказаться довольно расплывчатой. Тогда легко возникают предельно синтетичные категории типа мировых ритмов, «музыки сфер» и т.п. Тем не менее в своем конкретном преломлении — ритмы боевые, походные, умиротворяющие и т.п. — такого рода образы позволяют создать весьма специфические и потому точные средства анализа.

Вместе с тем необходимо учитывать, что трансформация образов и метафор в когнитивные схемы, понятия и аналитические категории происходит не в лабораторных условиях, а на фоне широкого культурно-лингвистического творчества, сопряженного с многочисленными влияниями и вторичными воздействиями. Так, в рамках обществоведческих дискурсов высока вероятность вторичной смысловой «фокусировки» этих метафор, обусловленной физикалистской, а то и механистической трактовкой соответствующей образности в естественных науках.

Для осмысления асимметрии биосферной, а затем и социальной деятельности (по аналогии также и процессов в косной материи) используется широкий круг когнитивных схем. Для удобства остановлюсь только на важнейших с моей точки зрения. Первая схема — циклическая. Она вытекает из метафоры цикла, или круга, и предполагает круговое, спиралевидное либо еще более запутанное движение по некоей траектории. Вторая схема — линейная. Она исходит из образов пути и потока. Третья схема — волновая. Она отталкивается от метафоры потока и наглядного образа единичной волны — отлитого в гребень («завиток») движения. При аналитическом очищении волновой тип моделей опирается на метафору колебаний и ритмических чередований. В данном случае предполагаются поочередные и противоположные

воздействия на развитие по некому параметру. Наконец, последняя (по порядку, но не по значению) схема основана на метафоре жизни или «разом данного времени», «вечной молодости». Разумеется, само моделирование осуществляется на основе имеющего обобщенный смысл жизненного эпизода, «истории» или, выражаясь более точно, сюжета и основанного на нем дискурса. Данный дискурс в соответствии с сюжетной логикой предстает в виде некоей осмысленной череды действий, событий или состояний.

Возможно, наконец, сочетание различных когнитивных моделей. Так, Пьер Тейяр де Шарден моделирует космическую эволюцию как сюжет, который геометрически вписывается в ритмические колебания (волны) «шагов» развития, а те в свою очередь образуют спиралевидный конус с человеком на вершине «стрелы эволюции».

От когнитивных схем к аналитическим моделям

В научных концепциях доминирует ритмико-волновое видение развития. Здесь типична разработка циклических моделей кругообразных или спиралевидных траекторий. При этом возникают на первый взгляд неочевидные, но весьма существенные проблемы, связанные с расположением соответствующих траекторий в пространствах. Сразу же встают вопросы: в каких пространствах — двухмерных, трехмерных, многомерных? С какой системой координат? Относительно чего и как определять «точки» траекторий? И главный, на мой взгляд, вопрос: насколько абстрактны, внепространственны эти траектории, насколько они сами являются пространствами — «лентами», «нитеями», «трубами» и т.п.? Во всяком случае, я столкнулся с ощутимыми трудностями, когда попытался использовать метафорику трансформации траекторий развития для описания общих характеристик хронополитического движения. Но если это касается даже абстрактного движения, то что говорить о конкретных случаях!

При редукции характеристик развития к траекториям мы невольно редуцируем и характеристики системы к точке. Подобная редукция допустима только в случае относительно простых систем, чья динамика не сопряжена с развитием, а также — в какой-то мере — систем, образующих так называемую диффузную среду, которая может порождать автоволновые процессы. Для систем, способных к развитию, она категорически неприемлема.

Другая когнитивная схема — волны — сводится к регулярной и равномерной смене подъемов и падений в процессе некоего движе-

ния. В этом случае развитие описывается как графически — в форме синусоиды, так и математически — в виде соответствующей функции. Рассматриваемая схема эвристична и удобна для описания, однако она предполагает выделение лишь одного параметра. Даже если берется некий “составной” параметр, то его приходится редуцировать до такой степени, чтобы операционно он мог трактоваться как единый и однородный. Это самая очевидная и простая схема, но также — наименее плодотворная. Ее, вероятно, следует использовать в качестве вспомогательной при рассмотрении отдельных параметров развития.

Вариацией волновой является колебательная модель. В этом случае в развитии высвечиваются возвратно-поступательные или маятникообразные движения, которые можно описать с помощью концептуального и математического аппарата, разработанного для электромагнитных и других подобных процессов в неживой природе. Колебания — «более широкая» метафора, чем волны. Связанная с волной синусоида характеризует лишь так называемые гармонические колебания, порождаемые равновесными, т.е. линейными, процессами. Большинство известных неравновесных колебательных процессов (если не все они) имеют иную природу и иначе описываются математически.

Вероятно, тут допустимо усложнение модели. Если я правильно понимаю, сложная модель колебаний многих элементов может быть описана в логике диссипативных процессов в неравновесных системах. Однако аппарат, приспособленный для электромагнитных колебаний, в данном случае работает крайне неудовлетворительно, не позволяя даже условно (или приближенно) выявлять возвратно-поступательные, или маятникообразные, движения. По-видимому, удачнее была бы образность порывов ветра или языков пламени, а математически — использование странных аттракторов.

Теперь о природе волн-колебаний. В общую таксономию таких волн попадают весьма разнородные явления. Для некоторых вполне органичен образ качающегося на воде поплавка и прочерчивания некой точкой синусоиды. Для иных существенны другого рода «колебания», например колебания скорости при движении по изгибам «американских горок». По отношению к одним волнам правомерно говорить о подъемах и спусках, о приливах и откатах, для других это лишено всякого смысла. Всевозможные подъемы, откаты и прочие характеристики волн — не более чем фигуры нашей речи, вернее, научного дискурса. Там, где они уместны, они могут послужить совершенствованию аналитического инструмента, там, где нет, — только разладить или даже разрушить его.

Особая проблема заключается в трактовке некоторых дополнительных образов как универсальных параметров волн или колебаний. Так, очень часто при волновом анализе политической динамики вводится понятие отката. На деле эти откаты кажущиеся. Возвращение «назад» противоречит самой асимметричности политического времени. В косной материи и в отвечающих ей энергетических процессах как таковых различие симметричных и асимметричных последовательностей не имеет существенного смысла. Асимметричность становится значимой и тем самым «возникает» на этапе появления жизни. Особое значение имеет образование человеческого мира, а с ним противонаправленного энергетическому параметру и тем самым асимметричного «в квадрате» информационного параметра. Отсюда правило, что «атомную бомбу нельзя изобрести обратно». Строго говоря, машина времени теоретически могла бы действовать только в неживой Вселенной. Вопрос в том, кто бы ее создал и кто бы пользовался ею.

Движение всегда происходит «вперед» — это еще одна из фундаментальных ориентационных метафор²⁰. Развитие продолжается и при «откате» («понижательной волне»). Просто соответствующая фаза волны «утрамбовывает», я опять пользуюсь метафорой, возникшие структуры. Весьма вероятно, что она производит некую селекцию. На «повышательном гребне», или в форсированной фазе роста, возникает много нового. Затем следует замедленная фаза роста (включается тормозящий вектор), но она ведет не к разрушению уже созданного, а к уплотнению, к переводу того, что наработано, в некое новое состояние.

Более уместным представляется мне использование образа кольцевых структур дерева как застывшей картинке роста. При рассмотрении спила видны волны. Однако дерево с наступлением зимы не сжимается, а расширяется. Волны приращения не знают откатов, им известно лишь изменение темпа роста. Точно таким же образом возникают и волны приращения сложности в структуре организации, что может объясняться качественно иной природой информационных волн по сравнению с энергетическими.

Ритмические модели основаны на организации процессов с помощью чередования элементов. Ритмы могут включать чередования, описывающиеся в терминах различного рода колебательных последовательностей — как циклических, так и волновых, как классических, подчиняющихся гармоническому синусоидальному закону, так и негармонических, аperiodических и т.п. Однако ритмы содержат и элементы, чередующиеся по логике иных последовательностей — скажем, последовательного появления новых рядов элементов.

Все волновые, колебательные и ритмические модели могут с большим или меньшим успехом сочетаться при помощи аналитической редукции. Каждый шаг подобной редукции неизбежно влечет за собой обеднение описания, но при соединении они порождают эффект «стереоскопического» видения. Вместе с тем осуществить такое соединение далеко не просто. Во всяком случае, простое соположение когнитивных схем, даже снабженных редукциями-переходами к соседним, скорее пробуждает интуицию, нежели дает надежный аналитический аппарат. Особой методологической задачей является разработка способов концептуализации смены ритмов и циклов, в том числе сохранения «старых» циклов в новой ритмике. Кроме того, возникает проблема сочетания (взаимоналожения, включения) циклов неодинакового масштаба и в силу этого неодинаковой природы: гиперциклов, мегациклов, макроциклов и, наконец, микроциклов. Весьма вероятно, что было бы удобнее по-разному использовать образы волн и циклов. Первые уместнее относить к повседневной политической динамике, вторые — к крупным этапам политической истории или даже к эволюционным ступеням политического развития.

Меняющаяся геометрия темпоральности

Связь времени и пространства в едином пространстве-времени позволяет рассматривать темпоральность геометрически. Именно это и делает Пьер Тейяр де Шарден. Его геометрия космического развития основана на трех «шагах космогенеза», которые не просто соединяют Преджизнь с Жизнью, Жизнь — с Мыслью, а Мысль — со Сверхжизнью (таковы четыре узловые части «Феномена человека» и главные эволюционные проявления мира), но и устанавливают модель усложнения универсума. Каждый шаг космогенеза находит выражение и в соответствующем *шаге Рефлексии (le Pas de la Réflexion)*²¹.

Тейяровская теория космического свертывания (*la theorie de l'Enroulement cosmique*) развивает геометрический образ перехода от точки к линии, от линии к поверхности, а от поверхности — к объемной фигуре. Так (т.е. «тангенциально»), по мысли Тейяра да Шардена, осуществляется развертывание вовне. Аналогичное движение происходит и вовнутрь, «радиально», за счет увеличения (раз)мерностей феномена, причем, добавлю, размерностей темпоральных. Феномен испытывает, «переживает» череду мгновенных состояний внутри себя, оставаясь собой. Пунктирная линия — череда — в силу своей неоднородности (прежде — потом) начинает *скручиваться (s'enroulait sur soi)*, образуя поверх-

ность, где со-бытия множества мгновенных состояний соединяются различными пунктирными траекториями. Точно таким же образом событийные поверхности «скручиваются» в объемную среду развития.

В качестве уже не наглядного, а вполне абстрактного «образа» увеличения размерности как пространства, так и времени можно было бы принять наращивание размерностей математического числа. От первичной единицы счета (считаемого предмета) можно совершить переход к ряду натуральных и рациональных чисел, от него — к плоскости декартовых координат, заполненных иррациональными числами, и далее — к «объемному» пространству комплексных и гиперкомплексных чисел. Весьма показательно, что обоснование категории числа стало возможным лишь после освоения всех типов и «размерностей» такого и преодоления вполне естественного представления, будто действительностью (вещностью) обладают лишь натуральные числа, а сложные, многомерные — мнимы²².

Вернемся, однако, к наглядным образам Тейяра де Шардена. Видение мира, который свертывается (*un monde qui s'enroule*), подкрепляется геометрическими или пространственными образами. Исходный момент рефлексии именуется *точкой, атомом, центром, вершиной* (*point, atome, centre, sommet*), одномерное создание первого шага рефлексии — *линией, волокном, сплетением, лучом* (*ligne, fibre, chaîne, rayon*), результат второго шага — *поверхностью, лоскутом, листом, полем, покрытием* (*surface, nappe, feuille, champ, enveloppe*), трехмерный результат третьего шага — *объемом сущего, конусом, пирамидой, сферой, спиралью* (*volume d'être, cône, pyramide, sphère, spirale*), *звездным, планетарным, атомным* или иным *окружением* (*enroulement stellaire, planétaire, atomique etc.*), можно сказать «Центром», *центрированным ансамблем* (*c'est-à-dire "Centré", un ensemble centré*). Последовательное накопление измерений предстает как *стадии* (*paliers*) или *шаги* (*pas*) эволюции. А совокупный образ развития передается образами взлетающей стрелы (*flèche montante*), спирали (*spirale*) и конуса Времени (*le cône du Temps*)²³.

Облик Мира (*figure du Monde*) формируется в результате последовательных свертываний (*enroulements*), чтобы обрести «глаза» в лице человека, который находится — рефлексивно находит себя — на вершине (*sommet*) космической эволюции. Мир, покоящийся на трех осях своей геометрии (*les trois axes de sa géométrie*), может быть представлен как единый поток с этой вершины, и только с нее (*sur ce sommet, et sur ce sommet seul*)²⁴.

Равнозначные образы спиралевидного конуса и взлетающей стрелы отражают многомерную, но также единую «функциональную кри-

вую от пространства и времени»²⁵. Однако выявить такую кривую непросто. Разглядеть ее можно только в результате многочисленных «путешествий» в пространстве и во времени, после многократных попыток соединения времен и пространств, совершив «жизненно важную революцию, которую произвело в человеческом сознании фактически недавнее открытие длительности»²⁶. Смысл подобного «открытия длительности» заключается в том, что «все то, что в наших космологических построениях мы до сих пор рассматривали и трактовали как точку, становится мгновенным сечением безграничных временных волокон»²⁷ и, добавим, плоскостей и объемов.

На вершине эволюции время является максимально многомерным и «уплотненным». Это позволяет воспринимать и оценивать обладающие меньшей размерностью и «плотностью» времена. Проще всего разглядеть и проанализировать так называемое «реальное» время, которое не в большей мере реально, чем натурально так называемое натуральное число. Больше трудностей вызывает историческое время политических событий, которое гораздо сложнее и не поддается полной редукции к темпоральной шкале «реального» времени. Еще проблематичней время развития, формируемое взаимосвязью различных эволюционных состояний политического. В окружающей нас действительности мы одновременно воспринимаем разные диапазоны времени: и равномерно хронометрируемое реальное время моментальных событий, и многовекторное время сюжетов истории, и «сворачивающееся» время взаимосвязи эволюционных состояний — зараженных будущим прошлых состояний и несущих в себе прошлое состояний будущих. Каждый из подобных диапазонов времени имеет свою размерность, свою логику, свою меру, которые, на первый взгляд, не сопоставимы друг с другом.

Важнейшую проблему составляет переход от одного диапазона к другому. Любая попытка «распять» историю на хронометрической шкале реального времени совершенно очевидно представляет собой грубое насилие, искажение смысла и хода исторического процесса, живущего своими ритмами, которые в принципе не сопоставимы с ритмами физических эталонов времени (обращения электронов вокруг протона, Земли вокруг Солнца и т.п.), поскольку соединяют различные векторы устремлений субъектов истории. Тем более сомнительно хронометрирование времени эволюции, которое течет в переплетающихся друг с другом «плоскостях» прошлого, настоящего и будущего, что и делает возможными прогноз и планирование.

Мне уже приходилось обращать внимание коллег на наличие различных диапазонов темпоральности, выделяя Повседневность, Историю и Развитие²⁸. У времени одна логика, когда мы следим за ходом дебатов и бегом секундной стрелки, другая — когда вспоминаем и осмысливаем поворотные моменты и векторы политических изменений, третья — когда оцениваем уровни сложности политических систем и институтов, мысленно обобщая накопленный потенциал и воссоздавая пути их развития. Да и наш собственный опыт подсказывает, что бессмысленно судить об общественных изменениях, а тем более об уровне развития, вглядываясь только в события одного дня. Равным образом нелепо прикладывать мерку развитости, например — модернизованности, к каждому нашему слову, жесту и действию в политике или же приписывать этим словам и жестам, как это нередко делают самонадеянные политики, значение исторических («судьбоносных») перемен.

В своих предыдущих работах я попытался представить нелинейный прогресс в тангенциально расширяющемся и радиально уплотняющемся времени. Если принять исходное мифическое время мгновения-вечности за точку, то естественное движение во времени первоначально будет пролегать в круге, или сфере, Повседневности. Собственно для тех, кто осуществляет это движение, оно будет незаметным, соотношенным с «сим днем», отличие которого от нулевого «первоначально предков» начинает осознаваться очень не скоро — при удлинении траектории удаления от нуля мифического начала и конца времени. Хронополитически движение это хаотично, и его можно уподобить причудливому пунктиру, ибо каждое отдельное состояние этноса представляется точкой мгновения-вечности для каждого человека, образующего ту или иную протополитию.

Следующий круг, а точнее, кольцо — темпоральность Истории, а в броделевских терминах *история конъюнктур* (*histoire de conjunctures*)²⁹. Здесь траектория движения начинает «измеряться» сначала летописцами, а затем интерпретаторами имперской (цивилизационной) судьбы. В этой логике как раз и формулируется историцистский линейный прогресс — движение к окончательному замирению Ойкумены Вечным городом, к Царствию Божию, к «сияющему храму на холме», к утопиям «тысячелетнего рейха» или «торжества коммунизма». Здешние «обыватели» видят движение как траекторию. Им понятная история скорее образует полосу, некое подобие «дороги, тропы». Отсюда, кстати, вырастает и научное мышление в терминах тропы зависимости

(*path dependence*), тропы обусловленности (*path determinacy*) или даже тропы независимости (*path independence*)³⁰.

Внешнее кольцо — уровень, или размерность, Хроноса, долгосрочного развития (*longue durée*). В данном случае развитие «измеряется» уже не длиной траектории «прогрессивного» движения, а степенью продвинутости по диапазонам темпоральности. Движение идет не в какую-то одну, а во все стороны, заполняя пространственные «объемы». Значим не столько путь, сколько накопленная «потентность», созданная восхождением по кругам, диапазонам темпоральности. Теперь движение предстает как освоение, «заполнение» пространства — одновременно и «закрытого», и растекающегося.

В такой «расширяющейся» модели темпоральности даже линейная схема прогресса может быть представлена в виде своего рода идеальной спирали: как тут не вспомнить знакомые идеи о развитии «по спирали». Однако значима не спиральная траектория, а очерченный спиралью объем — конуса, сказал бы для наглядности Тейяр де Шарден, или, добавлю не без намека, воронки.

При подобных допущениях и критериях «прогресс» будет определяться раскручиванием (или скручиванием) неких условных траекторных спиралей, разворачиванием (или сворачиванием) неких условных плоскостных фигур, накоплением «внутри» как траекторных спиралей, так и плоскостных оболочек неких условных объемов. Степень же «прогрессивности» станет обуславливаться не следованием шаблонам «первопроходцев», а мерой удаленности «вершины» от начального центра и, шире, освоенностью, «заполненностью» конуса или воронки исторических и эволюционных времен.

Весьма эвристичной в этом отношении оказывается модель «воронки причинности» (*funnel of causality*). Она была создана еще на рубеже 1950—1960-х годов политологами Мичиганской школы. В книге «Американский избиратель»³¹ операционная схема «воронки», позволяющая учитывать целый набор разномасштабных факторов, использовалась для анализа причин того или иного исхода голосования. Однако привлеченные факторы были исключительно пестрыми и разнородными, а сам фактор времени и его различных измерений присутствовал не столько содержательно, сколько структурно.

Куда интенсивнее и, как мне кажется, плодотворнее развивался научный поиск в области анализа политик (*policy analysis*), где мичиганская модель вполне сознательно применялась для описания процесса формирования того или иного политического курса, линии, политики (*policy*). Появилась серия работ, авторы которых обращались к «ворон-

ке причинности» для выявления факторов, детерминирующих принятие решений и влияющих на формирование политических курсов³².

Существенный вклад в развитие данной модели внесли Дж. Мэхони и Р. Снайдер³³, вот уже несколько лет использующие ее для решения методологических проблем, в первую очередь — проблемы соотношения структуры и агента (*structure and agency*). Усилия Мэхони и Снайдера, а также присоединившегося к ним норвежского компаративиста С. Ларсена способствовали тому, что возможности модели «воронки причинности» начали обсуждаться среди политологов — сначала на проходивших в Москве (июнь 1996 г.) и в Вене (ноябрь 1996 г.) конференциях «Вызовы теории», затем на семинарах в Институте сравнительной политологии Бергенского университета и в МГИМО. В ходе дискуссий стали формироваться российская и норвежская «школы» сторонников данной модели.

Различные версии «воронки причинности» существенно отличаются друг от друга, однако во всех из них масштабы темпоральности если и отражаются, то косвенно или вскользь. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается самый главный их недостаток. По моему глубокому убеждению, необходимо четко ранжировать слои «воронки» в соответствии с переходом от явлений и факторов долгосрочного развития (*longue durée*) к явлениям и факторам истории конъюнктур (*histoire de conjunctures*), а затем — к повседневности с ее суженным диапазоном «реального» времени, который в случае «воронки» фокусируется на некоем ключевом моменте самой малой размерности, но наибольшей конкретности.

Разумеется, ранжирование разнообразных факторов по их масштабности и глубине (близости или отдаленности) воздействия возможно и в иных когнитивных схемах, с использованием иных метафор. Следует различать многофакторную и многослойную концептуализацию причинности и операционные модели такой причинности, которые могут быть построены как в виде «воронки», так и иначе. Кроме того, выявленная в когнитивной схеме «воронки» логика каузальности может интерпретироваться посредством других схем, например, древа Порфирия с обратным движением от ветвей к корню, динамически развернутого логического квадрата по типу чичеринской тетрады и т.п. Вместе с тем допустимо и обратное — интерпретация различных причинных зависимостей в терминах «воронки причинности».

Что касается самой «воронки причинности», то на ее основе можно выстроить куда более сложные инструменты. Так, если мы соединим устьями две симметричные воронки, они станут моделировать, с одной

стороны, причинение некоего действия, события, а с другой — следование из него³⁴. Позволю себе высказать предположение, что проекция в будущее будет тем полнее, чем основательнее была каузальность в прошлом. И наоборот — чем больше лакун каузальности мы видим, тем логичнее ожидать симметричных «прорех» в грядущих Повседневности, Истории и Развитии.

Волны памяти

Представления о прошлом могут, конечно, исходить из образа «разом данного времени», ушедшего в вечность, «застывшего». Таким видит его пушкинский летописец Пимен:

На старости я сызнава живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно...

В научных построениях, однако, куда шире распространены трактовки прошлого в виде волн памяти. При всей своей волновой природе эти модели фактически опираются на сюжетную ритмику. Действительно, осмысленная череда событий хорошо концептуализируется в виде сюжета и идеально подходит для осуществления дискурс-анализа. Она позволяет сопоставлять сходные сюжеты, реализующиеся в разном темпе (ускорение развития) или в разных масштабах (повседневном, историческом, эволюционном). Типичными примерами являются «драматические» модели развития, предложенные О. Шпенглером, А. Тойнби, Л. Н. Гумилевым и В. Л. Цымбурским. Данные схемы при всех их многочисленных достоинствах крайне плохо хронологизируются на шкале традиционного летоисчисления, им сложно придать геометрическую наглядность или описать посредством математических функций. Отсюда склонность создателей подобных схем (и в еще большей степени — их эпигонов) прибегать к мистическим объяснениям истоков «драмы» и к нумерологической трактовке ее хода. Однако в терминах семиотики и дискурс-анализа их можно представить весьма точно и убедительно. Более того, становятся возможными действительно систематические и строгие сравнения, что позволяет отбросить в сторону бесполезные, а главное — дискредитирующие циклическое, фазовое видение политической действительности нумерологические мистификации.

Рассмотрение волн памяти как альтернативы категориям циклов и фаз развития требует пояснения. Почему отдельный цикл заменяется сюжетом, сам этот сюжет переименовывается в память, а последовательность циклов — в волны, точнее, в череду волн?

Первая замена объясняется стремлением выявить содержательную сторону цикла. Характерно, что замена слова «цикл» на слово «сюжет» не только не ведет к утрате смысла, но зачастую позволяет получить более отчетливое описание политической динамики. Вот один лишь пример из текста В. В. Лапкина и В. И. Пантина (новые слова выделены курсивом, старые оставлены в скобках): «Каждый *сюжет* ('цикл') начинается с экспозиции — раскола внутри политической элиты... Раскол внутри элиты ведет к завязке — выделению в ней различных групп, которые... отстаивают разные варианты изменения политических институтов, что ведет к открытой конфронтации между ними... Для утверждения своего варианта изменения политических институтов победившие или еще находящиеся в состоянии конфронтации группы элиты вынуждены привлекать массовые слои (развитие действия в терминах сюжетосложения. — *М. И.*)... После того как один из вариантов изменения политических институтов получает, пусть ненадолго, поддержку массовых слоев общества, наступает *кульминация в виде* (фаза) принудительной и тоже кратковременной консолидации политической элиты... Институты трансформируются, и на политическом поле устанавливаются новые правила игры (следует развязка. — *М. И.*). Однако через непродолжительный промежуток времени следует очередное обострение социально-экономического и политического кризиса, воздействие которого усиливается тем обстоятельством, что большинство массовых групп ничего... не выигрывают от изменения политических институтов и правил игры. В элите нарастает временно сnivelированный, но по-настоящему не преодоленный раскол (воспроизведение экспозиции. — *М. И.*). Возникает новая конфронтация между элитными группировками... Вновь актуализируются разные варианты изменения политических институтов и правил игры (возобновление завязки. — *М. И.*)... вновь начинается борьба за влияние на общественное мнение, за политические симпатии и доверие населения (развитие действия. — *М. И.*). *Сюжет* ('цикл') как бы повторяется, хотя и в других условиях и на другом уровне. Как можно заметить, *сюжетная линия* (процессы) консолидации элиты... находится в зеркальном отношении к *сюжетной линии* (противофазе с процессами) сближения политических позиций большинства населения и правящих кругов. В этом смысле логика *сюжета* ('цикла') такова: импульс массовой политической мобилиза-

ции, обеспечивающей временное... сближение политических ориентаций населения и политических целей власти... задается состоянием максимального раскола элиты; напротив, новая принудительная консолидация элиты — после того как одна из ее частей легитимирует свое право на политическое лидерство... — сопровождается, как правило, нарастанием взаимного отчуждения власти и общества. В целом же воспроизводится некий инвариантный механизм эволюции, траектория (воспроизводства. — *М. И.*) политической системы “замыкается”... в некоем *архетипическом мифе* (‘предельном цикле’)»³⁵.

Как нетрудно заметить, отдельные моменты развертывания сюжета легко отождествляются с фазами цикла. Это принципиально важно. Пока цикл характеризуется всего лишь фазами, налицо «пустая», бессодержательная схема чередования взлетов и падений, смены плюсового тока минусовым и т.п. Но едва только вносится содержательный аспект, как самопроизвольно и неизбежно выстраивается сюжет, и чем больше внимания уделяется содержанию рассматриваемых процессов, тем легче достигается трансформация фазеологического анализа в сюжетный. Конечно, логика сюжета может вновь свестись к чередованию фаз, но она может редуцироваться и иначе — в некую морфологию политического процесса по образцу пропповской морфологии волшебной сказки. Тогда вырабатывается определенная формула, фиксирующая не только внешние очертания, но и смысл процесса. Такая формула не просто отражает то, как осуществился некий политический процесс. Она сохраняет и то, что осуществилось. Иными словами, она закрепляет код, или программу, осуществления процесса. Поэтому сюжет, а тем более — сюжетную формулу, в отличие от неупорядоченного потока действий и событий, можно (и должно) назвать памятью. Точно так же правомерно провести аналогию между ним и генетическим кодом.

Однако каждый отдельный акт разыгрывания сюжета сам по себе кодом еще не является. Он способен стать таковым, если инерция информационных токов (волн?) и задаваемый ими ритм информационных импульсов (политических действий) приведут к новому разыгрыванию сюжета. Черда вновь и вновь воплощающихся сюжетов становится волнами памяти.

В фазеологических исследованиях, как правило, моделируются довольно сложные и проблематичные сюжеты воспроизводства (циклы развития) политических систем, а более простые и в силу этого логически прозрачные остаются в стороне. Так, характерен интерес к сюжетным линиям революций и контрреволюций, реформ и контрреформ, которые дополняют сюжеты (циклы) рутинного воспроизводства поли-

тических систем, а потому «вторичны» по отношению к ним. Мне представляется, что без детальной проработки «первичных» сюжетов и циклов попытки выявления и анализа «вторичных» весьма сомнительны.

Что же такое «первичные» сюжеты? Для современных политий с писаной конституцией таковыми являются четкие, определенные законом циклы развертывания институтов системы от выборов до выборов. Замечательный пример дают США, где уже свыше двух веков прослеживаются четырехлетние циклы воспроизводства всей системы представительного правления по достаточно строгим и лишь в деталях изменяющимся правилам. Менее очевидны, но столь же регулярны циклы воспроизводства институтов современных систем с неписаными конституциями, скажем Великобритании. В странах, не достигших уровня современности, наряду с формальными циклами, задаваемыми электоральной ритмикой, существенную роль играют парные сочленения циклов передачи верховной власти и ее реализации, развертывания соответствующих институтов. Такие связки довольно легко обнаруживаются, в частности, в политической истории России со времен Ивана III до наших дней. Впрочем, подобные связки (соединение электоральных циклов с циклами рутинного развертывания системы институтов) задают ритмику и в считающихся вполне современными политиях. В США это ритмы смены президентских администраций, в Великобритании — кабинетов. Вместе с тем вследствие юридической формализации процедур осовременивание политики ведет к «сжатию», или «облегчению», циклов передачи власти, что повышает значимость циклов воспроизводства института власти как такового. Вероятно, данное обстоятельство можно использовать для установления внутренних связей между «первичными» и «вторичными» циклами в политической истории. Фактор поколенческой памяти также может оказаться полезным для вписывания более мелкой ритмики политической рутины в более крупную.

Волны памяти возникают в силу того, что помимо индивидуальной и коллективной памяти существует программа (очередность и взаимосвязь) институциональных действий, которые оказываются благодаря ей квантованы. В случае исторического описания, создания архивов, баз данных и т.п. волны памяти охватывают набор реализовавшихся сюжетов. Многочисленность и разнообразие последних создают возможности для варьирования, которые еще больше возрастают при учете допустимых, но не осуществленных сюжетов, т.е. волн воображения (Цезарь не был убит на Капитолии, Наполеон победил при Ватерлоо, Ленин был арестован Временным правительством осенью 1917 г.

и т.д.). Волны памяти вкупе с волнами воображения, касающимися не только прошлого, но и будущего, образуют потенциал развития. Его основными единицами выступают сюжеты развития.

Сюжеты развития

В первом приближении волны памяти и сюжеты развития предстают одной и той же действительностью — циклами воспроизводства политических систем. Однако между ними есть и серьезные различия. Мы имеем дело с разными аспектами действительности. В случае волн памяти — это формальные схемы упомянутых циклов, а также совокупность примеров их фактической реализации, т.е. фактура, субстанция и в этом смысле наполнение циклов. В случае сюжетов развития — это содержательные, субъективно постигнутые схемы циклов, обретающие действительное существование в формулах возможного и/или желаемого порядка их воплощения. В парсонсовской информационно-энергетической оптике волны памяти оказываются открытыми в сторону нарастания параметра энергии, а сюжеты развития — параметра информации. Соответственно волны памяти акцентируют вещную сторону циклов, их значения (экстенсионалы) в терминах семиотики или объемы в терминах логики, а сюжеты развития — мыслимую сторону циклов, их смыслы (интенсионалы) в терминах семиотики и содержание в терминах логики.

Из этого первого различия непосредственно вытекает второе. Волны памяти есть одновременно и сюжеты развития. Однако не все сюжеты развития являются волнами памяти. Прежде всего к таковым не относятся «прошлые» сюжеты развития, или волны воображения. Кроме того, имеется целый класс «будущих» сюжетов развития, которые создаются в целях прогнозирования и стратегического планирования. Наконец, существуют сюжеты развития в «настоящем времени», которые формулируются «здесь и сейчас» в рамках разработки политических курсов (*policies*). Названные сюжеты развития концептуализируют не ритмы осуществленной политической динамики, а ритмические программы возможного и/или желаемого хода политических событий. Иными словами, во всех трех случаях мы имеем дело с мыслительными альтернативами волнам памяти, отмеченными условными модальностями возможности, желания, мыслимости, допустимости, долженствования, тогда как волны памяти характеризуются модальностью действительности, а также осуществимости и вероятности — в той мере, в которой они реконструируются.

Изучение альтернатив развития, как, впрочем, и развития как такового началось сравнительно недавно. На протяжении веков сюжеты развития (альтернативные программы воспроизводства политических систем) осуществлялись по большей части безотчетно. Однако с началом модернизации люди начали осознавать, что человеческие институты и практики не стоят на месте. Возникло стремление овладеть прогрессом, повлиять на развитие политических институтов и систем. Соответственно волны памяти и волны воображения стали изучаться в парадигме историзма (путем соотнесения зафиксированной историей хронографии с ее «логикой», или хронологией), а последовательности волн памяти и их совокупные эффекты, равно как и расходящиеся и параллельные траектории развития, — в парадигме эволюционизма. На этой основе разрабатывались прогностические модели, преимущественно сводившиеся к проекциям установленной исторической или эволюционной динамики. Во второй половине XX столетия в политической науке и в смежных областях появляются более сложные конструкции, главным образом связанные со сравнительным изучением процессов политической модернизации и демократизации. На место линейных схем постепенно приходят построения, предполагающие различные траектории преодоления качественных рубежей развития.

На этом можно было бы поставить точку. Однако фактически эта точка оборачивается многоточием. Слишком много сюжетов только завязано, идей — только намечено. Коллегам еще предстоит немало работы, чтобы проанализировать различные возможности того, как вообразить время. Надеюсь, что данная работа послужит подготовкой почвы для этих важных усилий.

Примечания

¹ *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: АСТ, 2002. С. 332; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 242–243.

² *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: АСТ, 2002. С. 138–139; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 26–27.

³ *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: АСТ, 2002. С. 142; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 30.

⁴ Дерзко сокрушаемые постмодернистами «предрассудки» на поверку не что иное, как ими же вымышленные ветряные мельницы подростковых ристалищ, подменяющих серьезный труд погружения в длительность (*l'enveloppement dans la Durée*).

⁵ *Buck C. D.* A dictionary of selected synonyms in the principle indo-european languages. A contribution to the history of ideas. Chicago; L.: Chicago University Press, 1949. P. 953–955.

⁶ Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern: A. Francke, 1959, S. 1064. URL: <http://dnghu.org/indoeuropean.html> (дата посещения: 19.10.2011).

⁷ Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд, испр. и доп. М.: Академический Проект, 2001. С. 115.

⁸ Hoad T. F. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 1986. P. 494.

⁹ Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. Erweiterte Aufgabe bearbeitet von Elmar Seebold / F. Kluge, E. Seebold. B.; N.Y.: Walter de Gruyter, 1999, S. 906.

¹⁰ Степанов Ю. С. Указ. соч. С. 115.

¹¹ Там же. С. 117.

¹² Там же. С. 261.

¹³ Там же. С. 121.

¹⁴ Там же. С. 117–121.

¹⁵ Там же. С. 119.

¹⁶ Об уровнях абстрагирования и обобщения при концептуализации см. в кн.: Ильин М. В. Слова и смыслы. Опыт описания основных политических понятий. М.: РОССПЭН, 1997. С. 393–397.

¹⁷ Данный этимон связан с греческим словом *эон* и санскритской *югой* — эпохами вечности. Лингвистический материал см.: Benveniste E. Expression indo-européenne de l'«éternité» // Buletin de la Société de linguistique. P., 1937. T. 38, fasc. 1. P. 103–112.

¹⁸ О вечно юном см.: Степанов Ю. С. Указ. соч. С. 826–828.

¹⁹ Аксенов Г. П. Пространство и время живого в биосфере // В. И. Вернадский и современность. М.: Наука, 1986. С. 129–139.

²⁰ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Эдиториал УРСС, 2004.

²¹ “Dans ce nouvel Essai, j’aurais évidemment à insister comme d’habitude, sur les prolongations *collectives* (sociales) de la Réflexion (‘2^e Réflexion’) sous l’effet de la *Convergence humaine* (= le grand événement ou mouvement physique qu’il est si important de percevoir en ce moment!). Mais je voudrais particulièrement approfondir l’extraordinaire phénomène de ‘Diaphanie’ en vertu duquel, pour une Humanité en cours de ‘2^e réflexion’, l’Univers tend à laisser transparaître son (un) Centre de convergence, — non pas centre *engendré par* l’Energie en voie de réfléchissement sur elle-même, — mais centre formant le *principe générateur* (moteur) même de cette Réflexion. Phénomène de *Troisième Réflexion*, en vérité, — par lequel ‘Oméga’ se réfléchit (‘se révèle’) sur un Univers devenu (par réflexions 1 et 2), capable de Le réfléchir...” (цит. по: Cuénot C. Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes de son évolution. P.: Plon, 1958. P. 441). См. также: Cuénot C. Nouveau lexique Teilhard de Chardin. P.: Seuil, 1968. P. 183–184.

²² Фаддеев Д. К. Число // Математическая энциклопедия / Под ред. И. М. Виноградова. М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 865–870.

²³ Примеры см. Cuénot C. Nouveau lexique Teilhard de Chardin. P.: Seuil, 1968. P. 61–62.

²⁴ *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: АСТ, 2002. С. 332–334; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 243–245.

²⁵ *Тейяр де Шарден П.* Указ. соч. С. 416.

²⁶ *Тейяр де Шарден П.* Указ. соч; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 41.

²⁷ *Тейяр де Шарден П.* Указ. соч. С. 152; *Teilhard de Chardin P.* Le phénomène humain. P.: Seuil, 1956. P. 42.

²⁸ *Ильин М. В.* Очерки хронополитической типологии: Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем. Ч. 1: Основания хронополитики. М.: МГИМО, 1995.; *Ильин М. В.* Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории // Полис. 1996. № 1. С. 55–77.

²⁹ *Бродель Ф.* История и общественные науки. Историческая длительность // *Философия и методология истории: Сборник переводов / Под ред. И. С. Кона.* М.: Прогресс, 1977. С. 115–142.

³⁰ Точнее был бы перевод *зависимость от тропы, обусловленность тропой и независимость от тропы*, но приходится следовать сложившейся языковой практике.

³¹ *Campbell A., Converse Ph.E., Miller W., Stokes D. E.* The American voter. N.Y.: Wiley, 1960.

³² *Hofferbert R.* The study of public policy. Indianapolis: Macmillan Publishing Company, 1974; *Hofferbert R., Urice J.* Small scale policy: the federal stimulus versus competing explanations for state funding of arts // *American Journal of Political Science.* Chicago, 1985. Vol. 29. No 2. P. 308–329; *Leichter H. M.* A comparative approach to policy analysis: Health care policy in four nations. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; *Leichter H. M.* Health policy reform in America: Innovations from the States. N.Y.: M. E. Sharpe, 1992; *Mazmanian D. A., Sabatier P. A.* A multivariate model of public policy-making // *American Journal of Political Science.* Chicago, 1980. Vol. 24. No 3. P. 439–468; *Sabatier P.* Public policy: toward better theories of the policy process // *Comparative politics, policy, and international relations / Ed. by W. Crotty.* Evanston: Northwestern University Press, 1991. P. 265–292; *Sabatier P., Pelkey N.* Incorporating multiple actors and guidance instruments into models of regulatory policymaking: an advocacy coalition framework // *Administration & society.* Thousand Oaks, Calif., 1987. Vol. 19. No 2. P. 236–263; *Sabatier P. A., Hunter S.* The incorporation of causal perceptions into models of elite belief systems // *Political research quarterly.* Salt Lake City, 1989. Vol. 42. No 3. P. 229–261.

³³ *Mahony J., Snyder R.* Integrative strategies for the study of regime change // *The challenges of theories on democracy. Elaboration over new trends in transitology / S. Larsen (ed.).* Boulder: Social Science Monographs, 2000. P. 180–207.

³⁴ *Мельвилль А. Ю.* Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. М.: МОНФ, 1999.

³⁵ *Лапкин В. В., Пантин В. И.* Политические ориентации и политические институты в современной России: проблемы коэволюции // *Полис.* 1999. № 6. С. 75.

1.2. Концептуальные основы изучения массовой политики*

Постановка проблемы и реконцептуализация понятия «массовая политика»

Волна протестных выступлений в разных регионах мира, включая Россию, в первые десятилетия XXI в. вновь ставит вопрос о значении массового фактора в политическом процессе. Ответ на него предполагает концептуализацию и реконцептуализацию самого явления. Теоретические дебаты сопровождаются попытками актуализации и реконцептуализации понятий «масса», «массовое участие», «массовая политика»¹.

Феномен массового вторжения в политику далеко не нов. Не уходя глубоко в историю, напомним, что обсуждение проблем, связанных с «неожиданным появлением» большого количества людей в политической жизни, которое получило название «массовая политика», шло чрезвычайно активно по крайней мере с начала XIX в., создав плотную сеть понятий и концепций, за которыми не всегда проглядывала реальность.

Слово «масса» было известно еще римлянам (лат. *massa* — совокупность вещества в известном теле, глыба) и даже, вероятно, античным грекам. Однако существовало и другое слово — «множество» (лат. *multitudo* (*multus*) — большое количество, толпа, простые люди, много). «Масса» стала научным понятием в 1704 г. в механике Ньютона как мера инерции и тяготения. Выявляя одно общее свойство различных тел, физическое понятие «масса» уравнивает их в отношении других свойств. Поэтому «масса» характеризует единства, структура которых либо предельно неустойчива, либо не имеет значения². К XX в. понятие «масса» практически вытесняет понятие «множество».

В теоретической традиции массы трактуются либо позитивно — как субъект и основание политического действия, либо негативно — как опасный феномен «естественного состояния». Истоки этого противостояния уходят в позиции Б. Спинозы и Т. Гоббса³.

Для Б. Спинозы термин «народная масса» (*multitudo*) означает множественность, которая существует как таковая на общественной сцене,

* Подготовлено в рамках исследовательского проекта Института социологии РАН «Институциональные проблемы массовой политики: методологические и теоретические аспекты».

в коллективном действии, по отношению к общим делам. Множество — форма общественного и политического существования многих в качестве многих. Это постоянная, не эпизодическая и не промежуточная форма, краеугольный камень гражданских свобод.

Для Гоббса опасным является недостаточно четкое отличие народной массы, или толпы, от народа (*populus*). Народ есть нечто единое, обладающее единой волей и способное на единое действие. Масса (*multitudo*) — это граждане, т.е. подданные. При демократии и аристократии граждане — это масса (*multitudo*), но собрание (*curia*) — это уже народ.

Спиноза вскрывает необходимую связь, которая существует между индивидом и государством: «Если государство уступает кому-либо право, а следовательно, и власть..., то тем самым оно отказывается от своего права и переносит его на того, кому дало такую власть. Если же оно ... дало эту власть каждому из граждан, то тем самым оно разрушило само себя и нет уже более государства, но все возвращается в естественное состояние»⁴.

Э. Дюркгейм применил термин «масса» в отношении гипотетически простейшей формы общности, основанной на абсолютном сходстве ее членов: «социальная протоплазма, зародыш, откуда возникли все социальные типы». Французский социолог назвал подобный агрегат ордой⁵. Дюркгейм использует слово «масса» и в значении неразличенного множества, как результат простого сложения не подлежащих учету однотипных элементов. Понятие «масса» описывает самую простую форму человеческих ассоциаций, все случаи множеств, имеющих сходство, однотипность поведения людей, их личных свойств, которые проявляются в рамках этих массовых ассоциаций и взаимодействий; «масса» характеризует также мощность этих множеств с точки зрения их численности и плотности скопления на определенной территории⁶.

Понятие «масса» начало широко употребляться во время Великой Французской революции. Именно здесь революционная власть впервые сознательно мобилизовала народные массы в собственных целях⁷. Исторический опыт коллективного действия масс, сложившийся в ходе Великой французской революции (1789–1799 гг.), затем был многократно повторен и умножен социальными конфликтами, революциями и войнами XIX и XX вв.

В 1870–1914 гг. политическая жизнь Европы испытала влияние экономических изменений, включая технологические сдвиги в ходе второй промышленной революции и глобализации производства, торговли и потребления. Все это повлияло на демографические про-

цессы, рост иммиграции, урбанизацию и усилило социальную напряженность. Столкновения между социальными группами изменили характер европейской политики⁸. Во многих европейских государствах рабочий класс добился права голоса. Это подтолкнуло и женщин к выдвиганию тех же требований. Расширение франшизы создало «эру массовой политики», когда наблюдался рост социалистических партий слева и расистских, радикальных националистических партий справа. Триумф демократии и личных свобод в конце XIX в. во многом обязан современной промышленной экономике, увеличившей численность и экономическую власть обычных рабочих, которые объединились с промышленниками, чтобы повергнуть старый режим⁹.

Под влиянием этого нового опыта слово «масса» («массовый») приобрело широкое употребление, стало едва ли не ключевым для характеристики социальных явлений и событий новейшей эпохи. За исключением понятия «массовый митинг», появившегося в Америке в 1773 г., большинство слов — молодые, вошли в лексикон, например, английского языка, сравнительно недавно: массовое убийство — в 1880 г., массовое движение — в 1897, массовая истерия — в 1914, массовая культура — в 1916, массовое захоронение — в 1918, массовое производство — в 1920, массмедиа — в 1923 г.¹⁰

Развитие и трансформация употребления понятия «массовая политика» во многом схожи с историей понятия «масса»: массовая политика также может трактоваться двояким образом. Когда речь идет о политико-историческом анализе, понятие «массовая политика» чаще всего применяется в негативном смысле, как фактор разрушения существующих институтов и государства. Альтернативная точка зрения означает важность массовой политики для формирования политического пространства, для становления национального государства. Углублению этого противостояния в XX в. немало способствовали талантливые книги «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета¹¹ и «Масса и власть» Э. Канетти¹². В целом негативистское понимание массовой политики преобладало и продолжает преобладать¹³, хотя в последние годы можно зафиксировать начало некоторого смещения акцентов¹⁴.

Заметный вклад в негативное восприятие понятия «массовая политика» внесла книга У. Корнхаузера «Политика массового общества»¹⁵. Американский социолог дал такие определения: «Массовая политика возникает, когда большое количество людей занимается политической деятельностью вне процедур и правил, учрежденных обществом для того, чтобы управлять политическими действиями. Массовая политика в демократическом обществе, следовательно, является антидемо-

кратической, так как она противоречит конституционному порядку»¹⁶. По мнению Корнхаузера, наиболее удовлетворительной теорией уязвимости социальных систем к массовой политике является концепция массового общества, под которым понималось общество, где участие в политике носит массовый характер, но мало развит плюрализм (*pluralism*) или слабо гражданское общество¹⁷. Итоговый вывод автора прост: современная демократия уменьшает легитимность элит, но она также поощряет множество конкурирующих элит, которые взаимно ограничивают действия друг друга.

В традиции позитивной трактовки термина «массовая политика» подчеркивается тот факт, что вовлечение масс в политику является одновременно причиной и следствием актуализации гражданских прав и дает возможность представителям самых разных слоев общества отстаивать свои интересы, что в свою очередь служит средством повышения эффективности государственного управления. Возникновение массовой политики нередко относят к началу XIX в. и связывают, в частности, со временем Эндрю Джексона, американского президента «демократического перелома» (1829–1837). При нем люди, которые были официально исключены из политики (женщины, представители низших классов или этнических и религиозных меньшинств), получили возможность активно участвовать в политической жизни страны¹⁸. В свете позднейших дискуссий интересны оценки внимательного наблюдателя — А. Токвиля. Французский аристократ обнаружил в Америке Джексона «огромную массу людей, у которых сложилось почти одинаковое понимание религии, истории, наук, политической экономии, законодательства, государственного устройства и управления»¹⁹. По его мнению, «чем больше расширяются избирательные права граждан, тем больше потребность в их дальнейшем расширении, поскольку после каждой новой уступки силы демократии нарастают, и одновременно с упрочением новой власти возрастают и ее требования. Чем больше людей получает право избирать, тем сильнее становится желание тех, кто еще ограничен избирательным цензом, получить это право. Исключение становится наконец правилом, уступки следуют одна за другой, и процесс развивается до тех пор, пока не вводится всеобщее избирательное право»²⁰. Без такого понятия, как народ, пишет Токвиль, остаются лишь «отдельные, равные между собой граждане, сливающиеся в общую массу»²¹. И дальше формулирует «золотое правило»: «Все, что оказывается успешным без прямого участия в этом народа, с трудом обретает его поддержку»²². Этот вывод, видимо, опирался и на исторический опыт Франции.

Таким образом, исторически появление «массовой политики» сопровождалось образованием (или обновлением) институтов политического представительства, в частности, в виде избираемых всеобщим голосованием парламентов, а также институтов политического участия и политического действия в виде прежде всего массовых партий, опосредованных институтами политической мобилизации. По существу, речь шла, с одной стороны, о конституировании политического поля и разворачивании политического процесса, того, что называется политикой модерна, а теперь — современной политикой, а с другой стороны — о формировании национальных государств и политических систем.

«Считается, — пишет американский исследователь Д. Слейтер, — что европейские государства были построены прежде всего благодаря централизованному налогообложению и воинскому призыву, а также войнам. Но именно активное вовлечение простых людей в большую политику в Европе сделало возможным высокое налогообложение богатых, а также формирование национальной системы управления и распределения»²³. И продолжает: «требования европейских народных масс после Первой мировой войны были выражены в основном реформистским языком демократического социализма. Политическим языком азиатских народных масс стали радикальные коммунистические призывы. Сильные государства в Европе и Азии, независимо от того, были они демократическими или авторитарными, возникали, чтобы противодействовать массовым политическим движениям. Если массовая политика отсутствовала, политические и деловые элиты были склонны использовать власть для обслуживания собственных интересов и пренебрегать работой по формированию эффективного государства и распространения госуслуг на низший уровень»²⁴. Очевидно, что для американского исследователя массовая политика, в частности, массовые политические движения, несет угрозу себе и государству. Но одновременно она же, массовая политика, побуждает государство к изменению²⁵.

В последние годы общемировой кризис демократических форм легитимации насилия и собственности, усиливающийся благодаря глобализации, обусловил возрождение интереса к диффузному, гетерогенному множеству как к новому потенциальному субъекту политики (П. Вирно). Множества актуализируются в форме сети сингулярных субъективностей, различных и уникальных, которые не обладают общей идентичностью (как народ) и не обезличены (как масса). Введение в научный оборот понятия «множество» позволяет коренным образом

пересмотреть взаимоотношения государства и граждан как «единого» и «многого»: «В отличие от центростремительной и унифицирующей коллективности «народа» коллективность «множества» означает высший уровень индивидуации, делающий невозможным передачу полномочий суверену (государству)»²⁶.

Пространство политического и массовая политика

Правила, конституирующие институты, действуют в трех взаимозависимых «мирах» (уровнях). Это «мир действий» (оперативный уровень), в котором осуществляются действия и принимаются стратегии относительно будущих выборов и действий; «мир коллективного выбора», в котором принимаются обязательные коллективные решения о политике и оперативных механизмах; «мир конституционного выбора», в котором формулируются правила, регулирующие процесс достижения коллективных решений — «правила о правилах принятия решений»²⁷. Дизайн конституций, государственной политики и административных процедур может быть понят как коллективные решения. Коллективные решения по этому поводу основаны на способах, с помощью которых люди формируют суждения и делают выбор. Решения и выбор связаны со специфическими институтами, полезными при обобщении, экстраполяции или проектировании индивидуальных интерпретаций специфических состояний мира. Эффективность управления, в том числе государственного, обеспечивается коллективными решениями, согласованными с индивидуальными решениями, включая проблему примирения эффективности и народной демократии, баланса элитных и массовых ролей в процессе принятия решений.

Это рассуждение подводит нас к выяснению специфики политического и демократии, а также связи между ними. Нам представляется значимой позиция французского политического философа Ж. Рансьера, продолжающего в интересующем нас вопросе аналитическую традицию Спинозы.

По мнению Рансьера, политика должна определяться не через власть, а сама собой, как особый образ действия, используемый индивидом и подлежащий ведению особой рациональности. Для Аристотеля, напоминает Ж. Рансьер, политическая власть есть власть над равными, поскольку гражданин — это индивид, «который как властвует, так и подчиняется»²⁸. Политика как целое заключается в этом особом отношении, в этом участии, смысл, условия и возможности которого надо определять. По Платону, напоминает Рансьер, права управлять

и быть управляемым даны традиционными правами авторитета на основании различий по природе, т.е. по рождению — это власть родителей над детьми, старых над молодыми, хозяев над рабами и благородных над простолюдинами, далее, это власть высшей природы — сильнейших над слабейшими, она ничем не обусловлена, это власть знающих над незнающими и, наконец, «выбор бога», решение судьбы, режим, который может спасти лишь демократия — выпадение жребия при отсутствии права управлять, право того, кто бесправен. Демократия есть особая ситуация, где отсутствие права дает право на осуществление власти, это власть того, кто не властвует²⁹. Реальное содержание аксиомы демократии — «свобода» народа — это разрыв аксиоматики господства, т.е. соотношения между способностями властвовать и быть подвластным.

Гражданин, участвующий во власти, мыслим только исходя из демоса. Поэтому демократия не является политическим режимом, способом собирать людей под общей властью, но есть институт политики, институт ее субъекта и формы ее отношений. Парадокс понятия «власть демоса» в том, что властвуют те, особенностью коих является отсутствие всякого права управлять. «Это недифференцированная масса тех, кто «не считается», кто говорит, когда не имеет права говорить; кто принимает участие в том, в чем он не имеет права принимать участие». Народ (демос), полагает Рансьер, является субъектом демократии и, следовательно, субъектом политики. Это — не совокупность членов сообщества и не трудящийся класс населения, но дополнительное существование, подсчет неучтенных или доля обездоленных, т.е. равенство существ, наделенных даром речи. Структурный смысл состоит в том, что не чернь, трудолюбивая и страдающая, занимает территорию политического действия и отождествляет свое имя с именем сообщества. Посредством демократии с сообществом отождествляется некая дополнительная часть, которая отделяет сообщество от суммы частей социального тела. «Политика есть действие дополнительных субъектов, некоего излишка при подсчете частей общества»³⁰.

Торжество «чистой политики» отсылает добродетель политического блага к правительственным олигархиям, консультируемым их специалистами. Мнимое очищение политического — от домашних и социальных потребностей — сводит политическое к государственному.

«Демократия, — пишет К. Лефор, — сопротивляется всем попыткам свести ее к совокупности институтов или к набору правил поведения, которые можно было бы без проблем определить путем сравнения с другими известными режимами. Она требует, чтобы народ был

ей привержен. Причем эту приверженность нельзя охарактеризовать исключительно с помощью политических категорий. Человек, проявляющий гражданскую ответственность, вовсе не обязан присягать на верность форме правления. Вполне возможна ситуация, когда человек будет шеголять своим пренебрежением к выборам, к решениям большинства, к партийной демагогии и в то же самое время проявлять стремление к независимости, к свободе мысли и слова, чувствительность к другим и рефлексивность по отношению к себе самому, а также будет стремиться узнать побольше о чужих и древних культурах. Все эти черты несут на себе печать демократического духа»³¹.

Начало XXI в. ознаменовалось возрождением интереса к процессам демократизации, который, казалось, угас после завершения противостояния между «социалистическим» и «капиталистическим» блоками и провозглашения «конца истории». Демократия оспаривается не только новыми авторитарными режимами и радикальными (пара)религиозными идеологиями; внутри самих «старых» демократий демократия перестает восприниматься как данность, ставятся под сомнение основания легитимности власти и эффективность конвенциональных форм представительства. Предлагаемые меры как слева, так и справа противоречат идее подлинной демократии, поскольку пытаются навязать ее сверху. Незавершенность демократического проекта эпохи модерна показывает, что демократия как власть каждого в интересах всех может появиться только снизу³².

В настоящее время мы можем засвидетельствовать процесс реактуализации и массовой политики как практики, и ее теоретического осмысления: «возвращение» масс в политику, наиболее наглядно проявляющееся в массовых протестных акциях, обуславливает необходимость в новых подходах к анализу политических процессов и новой оценке роли «простых людей» в этих процессах.

Доминировавшие в течение длительного времени концепции политического развития, особенно после работ В. Парето³³ и Й. Шумпетера³⁴, отводили элитам главную роль в становлении и трансформации политических институтов и фактически отрицали какое-либо влияние на элиты со стороны массы рядовых граждан, находящихся под их властью. С такой элитоцентристской точки зрения процесс демократизации представлен как «торг» между властвующей и оппозиционной элитами (или их отдельными «фракциями»), в результате которого более либерально настроенным элитам удастся навязать демократию своим оппонентам, а затем и всему населению. Как пишут Р. Инглхарт и К. Вельцель, «из этой концепции следует парадоксальный вывод, что

в условиях демократии предпочтения масс фактически не имеют значения — хотя сама сущность демократии состоит в том, что дело обстоит *равно наоборот*»³⁵.

Другой подход к анализу демократизации, который утверждается начиная с середины 2000-х годов, ставит в центр внимания рядовых граждан, подчеркивая, что именно борьба оппозиционно настроенных (но не ориентированных на насилие) масс с противостоящими им элитами является основной движущей силой демократического перехода и позволяет закрепиться демократическим ценностям и практикам³⁶. Несмотря на то что итоговое оформление тех или иных политических решений остается функцией элит, последние действуют не автономно, а под воздействием «глубинных социальных сил», которые определяются как «массовые тенденции, служащие мотивацией для коллективных действий, направляющие их в сторону конкретных результатов — например, формирования той или иной конфигурации институтов, позволяющей сделать реальностью эффективную демократию»³⁷. Другими словами, демократизация может осуществиться только при условии наличия *массового запроса* на демократию, т.е. наличия некой «критической массы» людей, являющихся носителями эмансипационных ценностей (равенства, свободы, толерантности, самоопределения и самореализации)³⁸.

Распространение эмансипационных ценностей, а следовательно, и расширение запроса на демократию является прямым (но, по-видимому, не неизбежным) следствием модернизации. Модернизация подразумевает, помимо прочего, усложнение социальной структуры, повышение уровня жизни населения, рост числа образованных людей и людей, занятых интеллектуальным трудом, упрощение доступа к информации и увеличение мобильности населения. В совокупности эти процессы «увеличивают и улучшают ресурсы, доступные рядовым гражданам, а это в свою очередь повышает способность масс начинать и поддерживать коллективные действия по артикуляции общих требований и тем самым оказывать давление на государственные власти... Таким образом, одно из важнейших следствий модернизации заключается в смещении баланса власти между элитами и массами в сторону последних»³⁹. «Последние волны демократизации в значительной степени основывались на эффективной мобилизации масс, мотивированной эмансипационными убеждениями; эти убеждения в свою очередь распространялись среди людей, все более амбициозных и умелых в деле организации общественных движений. С этой

точки зрения основной эффект модернизации состоит не в том, что она делает демократию более приемлемой для элит, а в том, что она повышает возможности и желание рядовых граждан бороться за демократические свободы»⁴⁰.

Расширение возможностей граждан и распространение эмансипационных ценностей запускают процесс демократизации, навязанной элитам населением (*responsive democratization*), ключевую роль в котором играет массовое давление на элиты. С переходом к постиндустриальному обществу этот процесс приобретает новое качество: личная автономия и самовыражение как ценности выходят на первый план, что радикально меняет отношение людей к власти и смысл участия в политике. Инглхарт и Вельцель описывают этот процесс как «эмансипацию от власти»⁴¹. Снижение авторитета политических элит, падение уровня явки на выборы и численности традиционных партий и движений оказываются признаком не деполитизации, а скорее «реполитизации» масс — поиска новых форм и способов гражданского и политического участия и действия. При этом необходимо отметить, что размывается именно «средний» уровень активности, фокусом которого традиционно было оказание давления на власть на уровне национального государства с целью обеспечения интересов (прежде всего экономических) больших социальных групп. На «низком» и «высоком» уровнях, наоборот, наблюдается и количественный рост активности, и большее разнообразие ее форм: в первом случае — в виде многочисленных «низовых» (*grassroots*) движений и инициатив, направленных на решение конкретных проблем «здесь и сейчас», во втором случае — в виде трансграничных движений (анти- или альтерглобалистов, экологов, ЛГБТ-активистов и др.)

Таким образом, «общественность постиндустриальных государств формирует новые формы участия в политическом процессе, в основе которых лежат самоорганизация и самовыражение... Такого рода активность нарастает, даже несмотря на осознание того, что она далеко не всегда способна заставить власти пересмотреть свои решения. Политическое самовыражение приобретает ценность само по себе, а не как способ достижения каких-либо конкретных результатов»⁴².

Массовые акции, разворачивающиеся на улицах городов стран «старой» демократии, очевидно, представляют собой иной феномен, нежели те демонстрации, которые проходили на тех же улицах в эпоху становления массовых партий и общественных движений, борьбы за всеобщие избирательные права, или в период «студенческой рево-

люции» конца 1960-х годов. Можно предположить, что возникающая в постиндустриальных обществах новая социальность формирует и новый тип субъектности масс, и, следовательно, новое пространство политического (постполитического?), которое структурируется не взаимоотношениями «общество—государство» («народ—власть»), а сложной сетью отношений между трансграничными множествами, национальными и наднациональными властными структурами и другими глобальными акторами.

Возрастание интереса к новым акторам глобального политического процесса, к диффузному, гетерогенному множеству, молчаливому до сих пор большинству, не воспринимавшемуся ранее в качестве потенциального субъекта политики, крайне актуально. Множество нуждается в радикальном понятии демократии: глобальный запрос на демократию уже существует⁴³. Кризис репрезентации и требования демократизации — это аспекты процесса политической эмансипации множества.

Институциональная модель массовой политики: типология политики

Мы предлагаем анализировать массовую политику как совокупность процессов, разворачивающихся в институциональном пространстве *мобилизации, представительства, участия и действия*. Мобилизация рассматривается нами как процесс включения индивидов в институты участия, действия и представительства, иными словами, в политику; представительство — как совокупность механизмов, позволяющих индивидам трансформировать свои интересы в управленческие решения, участие — как деятельность, связанная с воспроизводством политического порядка и обеспечивающая социальную и политическую стабильность, а действие — как деятельность, направленная на трансформацию порядка.

Определение предметного поля исследования массовой политики предполагает различие между ее типами в зависимости от характера субъектности участников и оснований их вовлечения в участие. На первом этапе исследования мы предложили развести понятия «массовая политика» (= политика массового политического участия) и «политика масс» (= прямое вторжение масс в политику)⁴⁴. Последующий анализ выявил необходимость более глубокой дифференциации типов политики на основе различения понятий «масса», «граждане» и «множество» (табл. 1).

Таблица 1

Дифференциация типов политики

Массовая политика (родовое понятие)			
Типы (массовой) политики	Политика масс(ы)	Политика граждан	Политика множеств(а)
Субъекты	Масса(ы) — недифференцированные, атомизированные, отчужденные индивиды; единство, структура которого либо предельно неустойчива, либо не имеет значения; простейшая форма общности, основанная на абсолютном сходстве ее членов: «социальная протоплазма», орда, неразличенное множество, простое сложение однотипных элементов; различается по мощности — численности и плотности скопления на определенной территории.	Граждане — индивиды, наделенные государством статусом и реализующие публичную роль гражданина, связанные коллективными обязательствами с другими индивидами; носители <i>гражданских добродетелей</i> — доверия, уважения к другому индивиду, равенства, справедливости, лежащих в основе норм социальных взаимодействий в пределах гражданского общества, или народа (нации) как политического единства (государства).	Множество — форма общественного и политического существования многих в качестве многих; формы социальной и политической субъективности; родовые человеческие способности (интеллект, язык, социальные навыки) как основа негосударственных форм объединения «общественных индивидов»; многообразие, ограниченное правом и моралью.

«Классическая» политика граждан в условиях структурированного общества означает конституирование политического, институтов представительства, политического участия и политического действия и потому императивна политической демократии. Для нее эффективна стратегия «*empowerment*» («эмпауэрмент»), которая начала формироваться в конце 1960-х годов в русле массовых студенческих волнений и новых социальных движений⁴⁵. Обоснование и содержательное наполнение политики граждан обусловлены тремя темами: идентичность и политическая субъектность; разнообразие и право на различие; новая

парадигма власти. Они заложили основу для демократического вектора массовой политики — в сторону «умной толпы» и ее «цивилизационной компетентности»⁴⁶.

«Классическая» политика масс возникает в условиях слома социальных структур, сопровождает (или инициирует) деструктивные процессы и ведет к деинституционализации, упразднению политического с возможной перспективой его восстановления в новых формах и с новым содержанием. Феномены массы и массового сознания ситуативны, они возникают как признаки и последствия кризисных процессов и проблем формирования нового порядка.

Становление политики множеств также может рассматриваться как продукт кризиса общества и политики модерна и как один из элементов формирования нового социального порядка (потенциально — радикального пересмотра сущности социального вообще и политического в частности). Множества возникают в парадоксальном соединении частного и всеобщего: с одной стороны, в них проявляется предельная индивидуализация и автономия человека, свобода и анонимность в пространстве (виртуальной) коммуникации; с другой — космополитизм и постоянное осознание взаимосвязи и взаимозависимости между всеми жителями Земли. Политика множеств, таким образом, разворачивается в потенциальном «пространстве всемирной внутренней политики»⁴⁷, в котором упраздняется различие между внутривнутриполитическим и внешнеполитическим, а реализация и отстаивание прав человека ставятся выше законов отдельных государств.

Разведение понятий «политика масс», «политика граждан» и «политика множеств» не стоит считать терминологической «игрой». Мы полагаем, что оно позволяет по-новому взглянуть не только на новые формы, которые может принимать в современных условиях политическая активность, но и на содержательную сторону этой активности, т.е. рассматривать массовое участие и действие как ключевой элемент политического процесса. Содержание и направленность активности масс фактически определяют и структурные, и качественные характеристики политического пространства. «Классический» анализ политического участия, в котором презюмируется «рационально действующий» индивид, противопоставленный «иррациональному» индивиду—фрагменту толпы, мало дает для понимания того, каким образом абстрактные конструкты (такие, например, как «демократия» или «государство») воплощаются в реальные практики; это понимание требует рассмотрения массовой политической активности. Выделяя разные типы массовой политики, мы уже не можем отмест

всю активность масс как потенциально опасную, но должны анализировать ее различные формы с точки зрения их нормативно-ценностных оснований, целей и последствий.

Очевидно, что первой исследовательской задачей является выделение критериев, позволяющих классифицировать конкретные формы массовой активности как относящиеся к тому или иному типу массовой политики. На практике границы между этими типами могут быть очень нечеткими. Даже если рассматривать в качестве примера такое распространенное и, на первый взгляд, простое событие, как массовый митинг, то становится понятно, что внешние, формальные признаки (соответствие/несоответствие закону, применение/неприменение насилия, оппозиционная/провластная направленность и т.п.) являются недостаточными для однозначной классификации данного действия. Прежде всего никакое событие, подразумевающее участие масс, не может быть рассмотрено изолированно, вне более широкого контекста, включающего в себя и наличный институциональный порядок, и «альтернативный» порядок, потенциально создающийся в результате этого события.

Анализ того, каким содержанием наполняется каждый из этих элементов, позволяет дифференцировать политику масс, политику граждан и политику множеств. Если политика граждан — это «субстрат» *демократического* политического процесса, то первоочередным критерием для ее определения является ориентация включаемых в политику индивидов на реализацию прав и свобод *гражданина* (или борьбу за их предоставление/расширение /применение). Массы же находятся в догражданском (доправовом) состоянии и лишь от противного может быть включена в политическое. В свою очередь множества создают новое внегосударственное пространство свободы и равенства, в котором, как полагает У. Бек, индивид осуществляет права [человека] против собственного государства⁴⁸. Отталкиваясь от критерия прав, мы можем выделить ряд признаков (как формальных, так и сущностных), характеризующих мобилизацию, представительство, участие и действие в различных типах массовой политики (табл. 2).

Недостаточно, однако, найти критерии, с помощью которых можно отделить друг от друга политику граждан, политику масс и политику множеств.

Неизбежно возникают и другие вопросы. Являются ли эти феномены взаимоисключающими или взаимодополняющими? Возможен ли, и если да, то каким образом, переход от одной формы массовой политики к другой?

Таблица 2

Типы политики

Политика масс(ы)	Политика граждан	Политика множеств(а)
МОБИЛИЗАЦИЯ = факторы включения индивидов в институты участия, действия и представительства, в политику		
<ul style="list-style-type: none"> — отсутствие представлений / неприятие концепции прав и свобод гражданина и человека; — сугубо частные интересы; — страх; — желание единения 	<ul style="list-style-type: none"> — признание и поддержка концепции прав и свобод гражданина; — отстаивание своих / чужих прав и свобод; — «частные интересы общественного значения» 	<ul style="list-style-type: none"> — признание и поддержка концепции прав и свобод человека; — равная ценность и достоинство; — солидарность; — справедливость; проект иного общества; — самореализация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО = институты трансформации интересов индивидов в управленческие решения		
<ul style="list-style-type: none"> — вождизм; — отказ от личной ответственности 	<ul style="list-style-type: none"> — признание и поддержка концепции представительства; — делегирование прав гражданина избранным представителям; — система массовых партий 	<ul style="list-style-type: none"> — отказ от представительства; — личная ответственность; — принятие решений путем общественных дискуссий и консенсуса
УЧАСТИЕ = практики воспроизводства политического порядка и обеспечения социальной и политической стабильности		
<ul style="list-style-type: none"> — ритуальное голосование на выборах; — «персональное» голосование; — участие в выборах и коллективных действиях с целью поддержки власти как залога стабильности; — аффективное участие в коллективных действиях 	<ul style="list-style-type: none"> — высокая степень интереса к политике; — участие в коллективных действиях по мотивам отстаивания прав и свобод; — индивидуальные способы выражения согласия или протеста с целью повлиять на принятие решений; — «программное» голосование; — большая активность на «низовых» выборах 	<ul style="list-style-type: none"> — публичная критика практик представительной демократии, поддержания существующего политического порядка; — практики реализации прав человека; — защита множественного опыта, форм непредставительной демократии, негосударственных обычаев и нравов

Окончание табл. 2

Политика масс(ы)	Политика граждан	Политика множеств(а)
ДЕЙСТВИЕ = практики, направленные на трансформацию порядка		
— коллективные действия, направляемые харизматичным лидером с целью изменения порядка, возможны в случае потери властью авторитета у масс и сильного недовольства социально-экономической ситуацией	— коллективные действия с целью изменения политического порядка, расширения прав и свобод гражданина, возможностей их отстаивания; — практики (в том числе выборы), нацеленные на эволюцию порядка к делиберативной или партисипативной демократии	— коллективные действия по реализации модели консенсусной и/или прямой демократии; — отказ от практик представительной демократии; — отказ признавать законы как обязательную рамку для действий на основе прав человека; — негосударственные формы объединения людей; — гражданское неповиновение

Нетрудно предположить, что политика граждан не исключает политику масс (становление в первой половине XX в. фашистских режимов, в значительной степени базировавшихся на политике масс, было результатом вовлечения в политику групп граждан, до того лишенных возможности представлять свои интересы, т.е. процесса формирования массовой политики). Политика масс же скорее препятствует политике граждан (хотя и не исключает ее полностью), поскольку, во-первых, она не способствует формированию институциональных основ представительства, участия и действия (или даже разрушает их там, где они имеются) и, во-вторых, подменяет конструктивную активность имитационной, способствуя тем самым отчуждению граждан от политики.

С точки зрения истории на примере некоторых государств (прежде всего западноевропейских) можно проследить последовательные переходы от политики масс к политике граждан и далее к политике множеств. Однако мы полагаем, что было бы неправильно рассматривать эти типы массового вовлечения людей в политику как стадии линейного, однонаправленного процесса. Можно предположить, что как кризисное явление политика масс является неустойчивой и не может осуществляться в течение длительного времени, но при этом она с большей долей вероятности приведет к деинституционализации по-

литического пространства и «выталкиванию» масс из политического процесса, нежели эволюционирует в политику граждан. В то же время даже в стабильных демократиях устойчивые институты гражданской политики не являются абсолютной гарантией невозможности «возврата» граждан к состоянию массы и их включения в антиправовые, антигосударственные массовые действия.

В оценке массовой политической активности, как уже было отмечено выше, противостоят друг другу два подхода — «элитистский», сторонники которого склонны рассматривать активность масс как потенциально опасную и деструктивную, и «радикально-демократический», сторонники которого, наоборот, видят в массовом участии залог реализации идеалов народовластия. Мы отталкиваемся скорее от второй точки зрения (хотя бы потому, что из нее не следует «простой» вывод о том, что вовлечение «широких масс» в политику следует если не пресекать, то уж никак не поощрять), весьма вероятно, однако, что любой массовый «выход» людей в политическое пространство несет в себе потенциал развития как политики граждан, так и политики масс. Следовательно, возникает необходимость осмысления того, при каких условиях вовлечение значительного числа индивидов в политику создаст политику граждан, а при каких — политику масс.

Какую аналитическую модель можно применить для решения этой задачи? В данной статье мы предлагаем концептуальную схему (она, безусловно, еще может быть конкретизирована и дополнена), в разработке которой следуем логике моделей трансформации политических систем в контексте массовой политики, предложенных Стейном Рокканом⁴⁹.

Роккан рассматривал два параллельных ряда процессов в европейских политических системах начиная с 1789 г.: во-первых, *шаги в институционализации формальной массовой демократии* (создание гарантий для свободы организованной конкуренции, расширение франшизы, стандартизация тайного голосования, снижение порогов представительства, введение различных мер парламентского контроля над национальной исполнительной властью); во-вторых, *рост и стабилизацию организаций для мобилизации массовой поддержки* через новые каналы, формирование и «замораживание» организованных партийных альтернатив внутри каждой национальной политической системы⁵⁰.

Разницу между двумя моделями просто объяснить: институциональная модель характеризует изменения в унаследованных структурах элитного обмена в пределах территории и предсказывает на их основе реакции на требования массового участия; модель раскола перебирает возможные основания идентичности для массовой мобилизации. В институциональной модели акцент делается на устоявшиеся tradi-

1.2. Концептуальные основы изучения массовой политики

ции взаимодействия, в модели раскола — на реакции на нарастающие приливы культурной, экономической и политической мобилизации. Каждая из моделей описывается своим набором переменных.

Поскольку в данном случае речь идет не о формировании структур политической системы или национального государства (что не означает решения данной проблемы), то мы ограничиваемся использованием только одного из блоков обширной и постоянно развивавшейся модели, а именно блока, посвященного мобилизации и институционализации, и на его основе выделяем параметры, которые необходимо учитывать для объяснения условий становления политики граждан/политики масс (табл. 3).

Таблица 3

Массовая политика: параметры и индикаторы

Параметр	Индикатор
Уровень социальной мобилизации	Уровень и характер образования, характер распространения информации, гражданская компетентность Соотношение секторов в экономике (государственный/частный) Уровень мобильности населения (в том числе миграция)
Уровень институциональной открытости для мобилизации	Реализация избирательных прав (соблюдение принципов равенства прав и т.д.) Тип избирательной системы (мажоритарная — пропорциональная — смешанная) Тип представительства (персональное — институциональное)
Уровень организационной мобилизации	Наличие/отсутствие политических партий, профсоюзов, светских/религиозных общественных движений, динамика их количества и численности участников Динамика уровня явки на выборы
Элитные решения по институционализации массовой демократии	Защита или ограничение прав оппозиции Расширение избирательного права Снижение порогов представительства Снижение порогов для участия в исполнительной власти
Политическая идентичность и расколы (<i>cleavages</i>)	Лояльность — оппозиционность Территориальная (в том числе по линии «город — село»), национальная (в том числе культурная и языковая), религиозная идентичность Экономические неравенства (уровень доходов, владение собственностью) Профессиональная идентичность Классовая идентичность ⁵¹

Окончание табл. 3

Параметр	Индикатор
Уровень насилия в отношениях между формирующимися политическими общностями	Применение насилия участниками массовых акций (в том числе вандализм, захват административных зданий и пр.) Применение насилия представителями государства (в том числе количество задержаний участников акций, объем штрафов)

Перспективы демократической трансформации политического режима в России связаны, как представляется, с освоением россиянами роли *граждан* (этот процесс раскрывается в концепции эмпауэрмента) и вовлечением их в политику именно в таком качестве, а также со способностью демократически ориентированных граждан и их объединений к политическому действию. Анализ ситуации в современной России по параметрам, обозначенным выше, позволит оценить уровень структурированности политического пространства и потенциал развития политики граждан/политики масс в стране⁵². Существующий в России порядок уже не является традиционалистским, но и не стал современным⁵³. Большинство населения занимает по отношению к модернизационным новшествам в лучшем случае безразличную, а в худшем — оборонительную позицию⁵⁴.

Наличие не вполне социально-, политически- и идеологически определенного индивида создает предпосылки для его массовизации и включения в этом качестве во властные практики. Стремление власти сформировать свою опору, сдерживая процесс самоорганизации, по существу — социального и политического структурирования, создает предпосылки для политики внеклассового, надполитического популизма. В отличие от политики граждан, политика масс обращается к «базовому» человеку; соответственно, формируется не дискурс реализации гражданских, политических и прочих прав или борьбы за них, а дискурс потребностей выживания, не допускающий формулирование различных политических платформ.

Проблема модернизации становится проблемой структуры и ответственности власти — станет ли запрос на изменения и инновации массовым, в значительной мере зависит от возможностей открытого и равноправного диалога власти и общества.

Пока «политическое» в российском контексте представляет собой не публичное пространство диалога и институционализированного конфликта по поводу устройства и развития общества, а «место» дей-

ствия власти, по отношению к которой происходит идентификация «своих» и «чужих»⁵⁵. Отсутствие основ для политических размежеваний и реальной политической борьбы упраздняет ключевое для демократии различие «большинства» и «меньшинств», заменяемых ситуативными общностями «большинство» и «остальные».

Примечания

¹ См., напр.: *Alvarez-Junco J.* The emergence of mass politics in Spain: Populist demagoguery and republican culture, 1890–1910. Brighton; Portland (Or.): Sussex Academic Press, 2002; *Andersen A.* Partisanship or cognitive mobilisation? A case study of the 2003 Czech EU accession referendum // *Limerick papers in politics and public administration* / Department of politics and public administration, Univ. of Limerick, Limerick, Ireland. 2009. No 2. URL: http://www.ul.ie/ppa/content/files/Andersen_partisanship.pdf; *Baudrillard J.* The masses: The implosion of the social in the media // *Cultural resistance reader*. N.Y.; L.: Verso, 2002. P. 100–113; *Borch Ch.* The politics of crowds. Cambridge: Cambridge University Press, 2012; *Campbell A. L.* Policy makes mass politics // *Annual Review of Political Science*. Palo Alto, 2012. No 15. P. 333–351; *Geissel B., Fiket I.* Effects of participatory innovations: Different processes and different output — Workshop proposal for ECPR joint sessions 2011 in St. Gallen, Università di Siena, Italy. 2011; *Hooghe M., Marien S.* A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe // *European Societies*. L., 2013. Vol. 15. No 1. P. 131–152; *Keren M.* Blogging and mass politics // *Biography*. Honolulu, 2010. Vol. 33. No 1. P. 110–126; *McHale V. E.* Democratic transition and the evolution of mass politics in post-Communist Central and Eastern Europe // *Historical Social Research* / *Historische Sozialforschung*. Köln, 1995. Vol. 20. No 2: *Historisch-vergleichende Makrosoziologie: Stein Rokkan — der Beitrag eines Kosmopoliten aus der Peripherie*. P. 188–209; *Mettler S., Soss J.* The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics // *Perspectives on Politics*. N.Y., 2004. Vol. 2. No 1. P. 55–74; *Sieja J.* Bias, the bar, and the big picture: Mass political change's effect on the U.S. courts of appeals / Paper for presentation at the American Politics Workshop. Madison: University of Wisconsin, 2012. April 16. URL: https://apw.polisci.wisc.edu/archives/SiejaABARatings_APW.pdf; *Studlar D. T., McAllister I.* Does a critical mass exist? A comparative analysis of women's legislative representation since 1950's // *European Journal of Political Research*. Dordrecht, 2006. Vol. 41. No 2. P. 233–253; *Welzel Ch.* The role of ordinary people in democratization // *Journal of Democracy*. Boston, 2008. Vol. 19. No 1. P. 126–140; *White J.* The social theory of mass politics // *The Journal of Politics*. West Nyack, N.Y., 2009. Vol. 71. No 1. P. 96–112; *Zukin C., Keeter S., Andolina M., Jenkins K., Delli Carpini M. X.* A new engagement? Political participation, civic life, and the changing American citizen. Oxford: Oxford University Press, 2006; *Казинцев А.* Возвращение масс: дневник современника. М.: Наш современник, 2010; *Карпунин О., Макаревич Э.* Формирование масс: Природа общественных связей и технологии «паблик рилейшнз»:

Опыт историко-социологического исследования. Калининград: Янтарный сказ, 2001; *Мурейко Л. В.* К теории масс: понятие индифферентного, или о «человеке без свойств» // *Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 2: Историческая культурология* / Отв. ред. Д. Л. Спивак. СПб.: Алетейя, 2008; *Пензин А.* «Революционное чудовище»: понятие множества в философии Антонио Негри // *Синий диван*. М., 2004. № 5. С. 36–61; *Рейнгольд Г.* Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР ПРЕСС, 2006; *Хардт М., Негри А.* Множество: война и демократия в эпоху Империи. М.: Культурная революция, 2006; *Хевеши М. А.* Толпа, массы, политика: Ист.-филос. очерк. М.: Ин-т философии, 2001; *Шуровьески Дж.* Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство. М.: И.Д. Вильямс, 2007; *Яковенко И. Г.* Политическая субъектность масс. Культурологический аспект политической жизни в России. М.: Новый хронограф, 2009.

² *Найдорф М.* Очерки современной массовой культуры. Одесса: ВМВ, 2013. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://sites.google.com/site/marknaydorftexts/mass-culture/ocenk-i-tolpa-massa-i-massovaa-kultura>.

³ Об этом ярко написал П. Вирно (*Вирно П.* Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 9–14).

⁴ *Спиноза Б.* Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1999. Т. 2. С. 260.

⁵ *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. С. 167.

⁶ См.: *Найдорф М.* Очерки современной массовой культуры.

⁷ *Кревельд М. ван.* Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 246.

⁸ Что-то похожее происходило в европейской истории 1500–1700-х годов, когда «обычные люди, разбивая эксклюзивные претензии своих правителей на политический и культурный суверенитет и смело вступив на юридически закрытые для них политические арены, помогли сформировать культурный и политический ландшафт современной Европы» (см.: *te Brake W.* Shaping history: Ordinary people in European politics, 1500–1700. Berkeley: University of California Press, 1998. URL: <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft500006j4/>).

⁹ *The Coming of Mass Politics: Industrialization, Emancipation, and Instability, 1870–1914* // *Levack B., Muir E., Veldman V.* The West: Encounters & Transformations. Combined Vol. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Longman/Pearson, 2011; *Голдстоун Дж.* Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 188.

¹⁰ Online Etymology Dictionary. URL: <http://www.etymonline.com/>.

¹¹ *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М.: АСТ, 2001.

¹² *Канетти Э.* Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997.

¹³ См., напр.: Государство и «народные» массы в России: Дискуссия в Фонде «Либеральная миссия». 2009. 5 августа. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.liberal.ru/articles/4320>.

¹⁴ *Коткин С.* Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под ред. О. Хархордина.

СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2001. С. 238–314.

¹⁵ *Kornhauser W.* The politics of mass society. Glencoe: The Free Press of Glencoe, 1959.

¹⁶ *Ibid.* P. 227.

¹⁷ Теория массового общества интенсивно развивалась многими интеллектуалами. Но суждения о нем были противоречивы — от элитарной критики омассовления, «тирании масс» (И. Бентам, Ф. Ницше, О. Шпенглер, Н. А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет и др.) до, напротив, защиты массового общества от элитарной критики (К. Мангейм, Х. Арндт и др.) и попыток дать ему позитивную оценку, подчеркивая интеграцию людей в систему институтов массового общества, преодоление социальных антагонизмов и создание более социально однородного общества (Д. Белл, Э. Шилз и пр.) В конечном счете было признано, что это понятие мало что дает для понимания общественных процессов, и от него практически отказались. Ч. Тилли пишет, например, что «анализ в традиции массового общества, от которой теперь в значительной степени отказались, рассматривает тоталитаризм и демократию как следствие разных степеней и форм интеграции между обычными людьми и обществом в целом» (*Tilly Ch.* Mechanisms in political processes // *Annual Review of Political Science.* Palo Alto, 2001. Vol. 4. P. 23).

¹⁸ *Согрин В. В.* Политическая история США, XVII–XX вв. М.: Весь мир, 2001. С. 100–130.

¹⁹ *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 60.

²⁰ Там же. С. 63.

²¹ Там же. С. 90.

²² Там же. С. 162.

²³ *Слейтер Д.* Анатомия сильного государства. Эффективная власть формируется лишь в условиях массовой политики // *Коммерсантъ.* 2006. 28 ноября.

²⁴ Там же.

²⁵ См. также: *Slater D.* Ordering power: Contentious politics and authoritarian Leviathans in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

²⁶ *Пензин А.* M for Multitude. Вместо послесловия // *Вирно П.* Грамматика множества... С. 85.

²⁷ *Kiser L. L., Ostrom E.* The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches // *Strategies of political inquiry / E. Ostrom (ed.).* Beverly Hills, CA.: Sage, 1982. P. 179–222.

²⁸ *Рансьер Ж.* На краю политического. М.: Праксис, 2006. С. 195.

²⁹ Там же. С. 202–203.

³⁰ Там же. С. 205.

³¹ *Lefort C.* Writing, the political test. Durham; L.: Duke University Press, 2000. P. 266.

³² *Кильдюшов О.* Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: война и демократия в эпоху Империи // *Критическая Масса.* М., 2006. № 2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/km/2006/2/ki30-pr.html>.

³³ *Парето В.* Трансформация демократии. М.: ИД «Территория будущего», 2011.

³⁴ *Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия / Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. М.: Экономика, 1995.

³⁵ *Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. С. 243.

³⁶ Демократизация: Учеб. пособие / Сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель. М.: ИД Высшей школы экономики, 2015. С. 163.

³⁷ *Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия. С. 306.

³⁸ Демократизация. С. 237.

³⁹ Там же. С. 159–160.

⁴⁰ Там же. С. 168.

⁴¹ *Инглхарт Р., Вельцель К.* Модернизация, культурные изменения и демократия. С. 46.

⁴² Там же. С. 73.

⁴³ *Хардт М., Негри А.* Множество: война и демократия в эпоху Империи. С. 326.

⁴⁴ См., напр.: *Айвазова С. Г., Баскакова Ю. М., Кертман Г. Л., Мирясова О. А., Павлова Т. В., Патрушев С. В., Филиппова Л. Е.* Институциональные проблемы массовой политики: теоретические и эмпирические аспекты: Научный доклад. // Официальный портал ИС РАН. М., 2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_institut_problemy_massovoy_politiki.html.

⁴⁵ *Alexander A. C., Welzel Ch.* Measuring effective democracy: The human empowerment approach // *Comparative politics*. Chicago, 2011. Vol. 43. No 3. P. 271–289. О феномене «empowerment» см. главу С. Г. Айвазовой в 4-м разделе монографии.

⁴⁶ См.: *Штомпка П.* Доверие — основа общества. М.: Логос, 2012.

⁴⁷ *Бек У.* Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. М.: Прогресс-Традиция; ИД «Территория будущего», 2007. С. 9.

⁴⁸ *Бек У.* Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. С. 403.

⁴⁹ *Rokkan S.* State formation, nation building and mass politics in Europe: The theory of Stein Rokkan / S. Kuhnle, P. Flora, D. Urwin (eds). Oxford: Oxford University Press, 1999.

⁵⁰ *Rokkan S.* The growth and structuring of mass politics in Western Europe: Reflections of possible models of explanation // *Scandinavian Political Studies*. Oxford, 1970. Vol. 5. P. 65–83.

⁵¹ Доминирующая в последние десятилетия точка зрения, согласно которой классовая принадлежность в постиндустриальном обществе утрачивает политическое значение, все чаще оспаривается: исследователи отмечают, что

и в современном мире возможности, которые предоставляет принадлежность к тому или иному классу, и ограничения, которые она накладывает, в значительной степени определяют уровень и модели политической активности (см., напр.: *Lamprianou I. Contemporary political participation research: A critical assessment // Democracy in Transition / K. N. Demetriou (ed.). Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. P. 35–36.*

⁵² Отдельные вновь возникающие формы массовой активности в России могут быть оценены как зачатки политики множеств. Однако, на наш взгляд, говорить о перспективах формирования полноценного пространства политики множеств в нашей стране сегодня преждевременно. Даже с точки зрения теории сложно непротиворечиво обосновать возможность перехода от фактически догражданского состояния непосредственно к политике множеств, минуя стадию гражданственности. На практике мы можем видеть, что те «новаторские» формы массовой активности, которые могут быть отнесены к политике множеств, актуальны лишь для очень небольшого процента жителей России, ограничиваются несколькими крупными городами и не воспринимаются всерьез ни властями, к которым эти акции обычно обращены, ни большинством населения. Следует отметить и то, что и на Западе только намечены контуры новой политической реальности, и вопрос полноценного утверждения политики множеств остается открытым. Поэтому мы ограничиваемся оценкой перспектив формирования в России политики граждан и рисков формирования политики масс, оставляя за рамками исследования политику множеств.

⁵³ См.: Гражданское и политическое в российских общественных практиках / Под ред. С. В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2013.

⁵⁴ См.: Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Ю. С. Оганисян; Ин-т социологии РАН. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011.

⁵⁵ Гражданское и политическое в российских общественных практиках. С. 519–520.

Литература

Айвазова С. Г., Баскакова Ю. М., Кертман Г. Л., Мирясова О. А., Павлова Т. В., Патрушев С. В., Филиппова Л. Е. Институциональные проблемы массовой политики: теоретические и эмпирические аспекты: Научный доклад. // Официальный портал ИС РАН. М., 2014. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_institut_problemy_massovoy_politiki.html.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. М.: Прогресс-Традиция; ИД «Территория будущего», 2007.

Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

Государство и «народные» массы в России: Дискуссия в Фонде «Либеральная миссия». 2009. 5 августа. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.liberal.ru/articles/4320>.

Гражданское и политическое в российских общественных практиках / Под ред. С. В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2013.

Демократизация: Учеб. пособие / Сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель. М.: ИД Высшей школы экономики, 2015.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.

Казинцев А. Возвращение масс: дневник современника. М.: Наш современник, 2010.

Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997.

Карухин О., Макаревич Э. Формирование масс: Природа общественных связей и технологии «паблик рилейшнз»: Опыт историко-социологического исследования. Калининград: Янтарный сказ, 2001.

Кильдюшов О. Майкл Хардт, Антонио Негри. Множество: война и демократия в эпоху Империи // Критическая Масса. М., 2006. № 2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/km/2006/2/ki30-pr.html>.

Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном контексте // Мишель Фуко и Россия: Сб. ст. / Под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2001. С. 238–314.

Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006.

Лефор К. Вопрос о демократии // Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М.: РОССПЭН, 2000. С. 15–30.

Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Ю. С. Оганисян; Ин-т социологии РАН. М.: РОССПЭН, 2011.

Мурейко Л. В. К теории масс: понятие индифферентного, или о «человеке без свойств» // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 2: Историческая культурология / Отв. ред. Д. Л. Спивак. СПб.: Алетейя, 2008. С. 214–223.

Найдорф М. Очерки современной массовой культуры. Одесса: ВМВ, 2013. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://sites.google.com/site/marknaydorftexts/mass-culture/ocenk-i-tolpa-massa-i-massovaa-kultura>.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2001.

Парето В. Трансформация демократии. М.: ИД «Территория будущего», 2011.

Пензин А. «Революционное чудовище»: понятие множества в философии Антонио Негри // Синий диван. М., 2004. № 5. С. 36–61.

Пензин А. M for Multitude. Вместо послесловия // Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 77–89.

Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006.

Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР ПРЕСС, 2006.

1.2. Концептуальные основы изучения массовой политики

- Слейтер Д.* Анатомия сильного государства. Эффективная власть формируется лишь в условиях массовой политики // Коммерсантъ. 2006. 28 ноября.
- Согрин В. В.* Политическая история США, XVII—XX вв. М.: Весь мир, 2001.
- Спиноза Б.* Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1999. Т. 2.
- Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
- Хардт М., Негри А.* Множество: война и демократия в эпоху Империи. М.: Культурная революция, 2006.
- Хевеши М. А.* Толпа, массы, политика: Ист.-филос. очерк. М.: Ин-т философии, 2001.
- Штомпка П.* Доверие — основа общества. М.: Логос, 2012.
- Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия / Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова. М.: Экономика, 1995.
- Шуровески Дж.* Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство. М.: ИД «Вильямс», 2007.
- Яковенко И. Г.* Политическая субъектность масс. Культурологический аспект политической жизни в России. М.: Новый хронограф, 2009.
- Alexander A. C., Welzel Ch.* Measuring effective democracy: the human empowerment approach // Comparative Politics. Chicago, 2011. Vol. 43. No 3. P. 271—289.
- Alvarez-Junco J.* The emergence of mass politics in Spain: populist demagoguery and republican culture, 1890—1910. Brighton; Portland (Or.): Sussex Academic Press, 2002.
- Andersen A.* Partisanship or cognitive mobilisation? A case study of the 2003 Czech EU accession referendum // Limerick papers in politics and public administration / Department of politics and public administration. University of Limerick, Limerick, Ireland. 2009. No 2. URL: http://www.ul.ie/ppa/content/files/Andersen_partisanship.pdf.
- Baudrillard J.* The masses: The implosion of the social in the media // Cultural Resistance Reader. N.Y.; L.: Verso, 2002. P. 100—113.
- Borch Ch.* The Politics of crowds. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Campbell A. L.* Policy makes mass politics // Annual Review of Political Science. Palo Alto, 2012. No 15. P. 333—351.
- Geissel B., Fiket I.* Effects of participatory innovations: Different processes and different output — Workshop proposal for ECPR joint sessions 2011 in St. Gallen, Università di Siena, Italy, 2011.
- Hooghe M., Marien S.* A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe // European Societies. L., 2013. Vol. 15. No 1. P. 131—152.
- Keren M.* Blogging and mass politics // Biography. Honolulu, 2010. Vol. 33. No 1. P. 110—126.
- Kiser L. L., Ostrom E.* The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches // Strategies of political inquiry / E. Ostrom (ed.). Beverly Hills, CA.: Sage, 1982. P. 179—222.

Kornhauser W. The politics of mass society. Glencoe: The Free Press of Glencoe, 1959.

Lamprianou I. Contemporary political participation research: A critical assessment // *Democracy in Transition* / K.N. Demetriou (ed.). Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. P. 21–42.

Lefort C. Writing, the political test. Durham; L.: Duke University Press. 2000.

McHale V. E. Democratic transition and the evolution of mass politics in post-Communist Central and Eastern Europe // *Historical Social Research* / *Historische Sozialforschung*. Köln, 1995. Vol. 20. No 2: Historisch-vergleichende Makrosoziologie: Stein Rokkan — der Beitrag eines Kosmopoliten aus der Peripherie. P. 188–209.

Mettler S., Soss J. The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics // *Perspectives on Politics*. N.Y., 2004. Vol. 2. No 1. P. 55–74.

Online Etymology Dictionary. URL: <http://www.etymonline.com/>.

Rokkan S. State formation, nation building and mass politics in Europe: The theory of Stein Rokkan / S. Kuhnle, P. Flora, D. Urwin (eds). Oxford: Oxford University Press, 1999.

Rokkan S. The growth and structuring of mass politics in Western Europe: reflections of possible models of explanation // *Scandinavian political studies*. Oxford, 1970. Vol.5. P. 65–83.

Sieja J. Bias, the bar, and the big picture: Mass political change's effect on the U.S. courts of appeals / Paper for presentation at the American Politics Workshop. University of Wisconsin, Madison, 2012. April 16. URL: https://apw.polisci.wisc.edu/archives/SiejaABARatings_APW.pdf.

Slater D. Ordering power: Contentious politics and authoritarian Leviathans in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Studlar D. T., McAllister I. Does a critical mass exist? A comparative analysis of women's legislative representation since 1950's // *European Journal of Political Research*. Dordrecht, 2006. Vol. 41. No 2. P. 233–253.

te Brake W. Shaping history: Ordinary people in European politics, 1500–1700. Berkeley: University of California Press, 1998. URL: <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft500006j4/>.

The Coming of Mass Politics: Industrialization, Emancipation, and Instability, 1870–1914 // Levack B., Muir E., Veldman V. *The West: Encounters & Transformations*. Combined Vol. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Longman/Pearson, 2011.

Tilly Ch. Mechanisms in political processes // *Annual Review of Political Science*. Palo Alto, 2001. Vol. 4. P. 21–41.

Welzel Ch. The role of ordinary people in democratization // *Journal of Democracy*. Boston, 2008. Vol. 19. No 1. P. 126–140.

White J. The social theory of mass politics // *The Journal of Politics*. West Nyack, N.Y., 2009. Vol. 71. No 1. P. 96–112.

Zukin C., Keeter S., Jenkins K., Delli Carpini M. X. A new engagement? Political participation, civic life, and the changing American citizen. Oxford: Oxford University Press, 2006.

1.3. Трансформация политического в сетевом пространстве

Те, кто следит за политическими событиями в мире, конечно, отметили ряд важных перемен, которыми сопровождается политический мир последних десятилетий. Среди этих перемен — возрастание роли политических сетей и огромное влияние социальных сетей на политическую мобилизацию и участие. И этот сдвиг определяется новыми возможностями, открываемыми технологиями, которые получили наименование *Web 2.0*. Их главное достоинство состоит в высокой степени интерактивности, открытости к участию, самостоятельности действия и интенсивности общения.

В 2003 г. в Венгрии появляется первая кибер-партия «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), которая строит свою стратегию и тактику на основе прямого общения с избирателями через Интернет. Первым использованием новых ИКТ по модели *Web 2.0* была президентская кампания демократа Говарда Дина в 2004 г. в США, в которой использовались блоги и новые каналы коммуникации. Хотя для данного претендента кампания была неудачной, но уже в 2007–2008 гг. Барак Обама выиграл президентские выборы благодаря не в последнюю очередь активному использованию новых возможностей Интернета. Массовые движения начинают использовать новые средства коммуникации для активизации деятельности. Первым опытом такого использования являлось леворадикальное движение Запатисты в Мексике, которое с конца 1990-х годов начинает активно использовать новые электронные средства коммуникации (Интернет, мобильная связь). Так называемая «спорная политика» в виде движений против реконструкции вокзала в Штутгарте (Германия, 2010), «Захвати Уолл-стрит!» (США, 2011), «За честные выборы» (2011, Россия), наконец, известные революционные протесты, приведшие к смене политических режимов в ряде стран Северной Африки в 2011 г., символизировали новую эпоху политического участия. Технологии *Web 2.0* стали новым мощным средством политической активности. Все более активное участие населения в таких социальных сетях, как «Twitter», «Facebook», «В контакте», «Youtube», и др. является фактом, недоучитывать который означает ставить проблему управляемости обществом под вопрос. Это привело к тому, что и государство стало более активно обращать внимание на этот потенциал социальных сетей и новых ИКТ, включая их в пространство обеспечения управляемости государства и общества. Наиболее явным здесь является форми-

рование электронного правительства, которое берет старт во второй половине 1990-х годов, но набирает новые обороты в нынешнем столетии.

Движение за «электронное правительство 2.0» позволяет говорить об этапе, связанном с развитием коммуникационных связей между органами государственной власти, бизнесом и гражданами. Исследователи говорят о наиболее высоком этапе развития электронного правительства, когда оно включается в систему электронной демократии, позволяющей осуществлять электронное голосование, сетевые публичные форумы, сетевые социологические обследования, экспертные оценки и т.д. Некоторые исследователи говорят о том, что, по-видимому, необходимо отказаться от прилагательного «электронный» в описании структуры и деятельности государственных органов и либо говорить просто о «правительстве 2.0», либо акцентировать внимание на его новых механизмах и культуре взаимодействия с гражданами, используя термин «ориентированное на граждан правительство» (*citizen-centric-government*). Этот акцент на расширении участников публичного управления является в том числе ответом на вопрос, как повысить управляемость современного государства в условиях вызовов сложности, неопределенности и риска. И здесь, как считается, адекватным ответом может быть сетевое управление, базирующееся на новой структуре политических возможностей, предоставляемых электронными и неэлектронными средствами организации взаимодействия, которые получили наименование «платформы».

Все подобные факты и тенденции имеют еще одно измерение, которое не всегда заметно, но является значимым основанием понимания сетевого общества и сетевых процессов. Это измерение связано с тем, как сети трансформируют политику и какое понимание политического они влекут за собой. Существует убеждение, что современные сетевые структуры, характеризуя глобальные тенденции взаимосвязи, которые ведут к нарушению традиционных отношений политического, укорененных в принадлежности к определенному месту, занимаемому государством, порождают угрозу существованию политики и политического. Оценивая концепцию политического Карла Шмитта, которая опирается на логику Земли и определенность деления на друзей и врагов, следовательно, на динамику внешнего и внутреннего, плюральности и единства, различия мест, Ален де Бенуа пишет: «В той мере, в какой глобализация характеризуется распространением сетей и всякого рода потоков (торговых, финансовых, технологических, коммуникационных и т.д.), она также относится к логике Моря, которому неизвестны ни границы, ни замкнутые территории. Мы привычно

(и сама эта обыденность показательна) говорим о глобализации, будто она объединяет Землю, но на самом деле, объединяя ее, она подчиняет Землю логике Моря, т.е. логике уничтожения границ, владычеству потоков и оттоков...» В своем дневнике Карл Шмитт описал свой ужас, внушаемый перспективой того, что Поль Вирильо назвал «глобалитаризмом», т.е. пришествием глобализованного мира, который по определению был бы миром без внешнего и, следовательно, без возможной политики»¹. Действительно ли сетевой мир создает угрозу политическому, которое в значительной мере оформлено в государственных и межгосударственных образованиях? Как пишет Дерин Барни, «в центре всех теорий глобализации находится заявление о том, что национальные государства были поставлены перед вызовом их способности организовать и объединить ключевые элементы современной экономической, политической и социальной жизни»². Означает ли глобализация переход к сетевому миру, т.е. насколько тождественны эти процессы по логике развития? Уничтожает ли сетевизация проблему «как жить в различии»? Или она создает новые условия для ее решения, а следовательно, для рождения нового политического, более сложного, чем потенциальная вражда друзей и врагов?

Глобализация, сетевое общество и политика «на грани»

Требование новых идей в глобальном мире вызвано рядом несовместимостей, которыми стали характеризоваться основные события последних десятилетий. Эту ситуацию несовместимостей можно обозначить вслед за французским философом Аленом Бадью как «философскую ситуацию», возникающую в условиях исключения, в чрезвычайных условиях столкновения несовместимого и имеющую дело с выбором, дистанцией и чрезвычайностью³ [Badiou, 2006, p. 3–11]. В этих чрезвычайных условиях столкновения несовместимого и возникает потребность в мысли. И это отнюдь не только глобальные процессы, если мы говорим вообще о философской ситуации. Как подчеркивает Бадью, «правомерно думать, что любое время имеет парадоксальные отношения, т.е. отношения, которые не являются связью или являются ситуацией разрыва, тогда и делают возможным философствование»⁴ [Ibid, p. 10]. Эта ситуация создает ряд политических феноменов, часто лиминальных⁵, находящихся на грани, между определениями и позициями, практикой и теорией, мыслью и действием, разными стадиями и переходами. Обратим внимание здесь на два таких феномена — контрколонизацию и новый национализм, — чтобы обо-

значить, с одной стороны, пограничье состояний, а с другой — экспансию во взаимодействие.

Контрколонизация стран так называемого «третьего мира» есть попытка восстановить справедливость посредством не только своей собственной экспансии (населения, культуры) на Запад, но и пересмотра основ конструирования своей идентичности в идеях «постколониализма», «лиминальности» и «политики народов». Этот процесс приводит к сопротивлению со стороны развитых стран, что в целом порождает угрозу «войны цивилизаций». Контрколонизация имеет экстенсивные и интенсивные измерения; она захватывает как глобальные территории, огромные массы людей, так и внутренний мир человека, его культуру и на Западе, и на Востоке. При этом, если логика американизации порождает феномен «мультикультурализма» с его акцентом на толерантности и получает положительное описание с попыткой найти новые парадигмы для таких политических концепций, как права человека и гражданство, то логика контрколонизации подчеркивает сохраняющиеся в мультикультурализме ориентации на дистанцирование и отчуждение. Эта логика предлагает не редукцию различий, а ценность жизни с различиями, которые, однако, не фиксируются в противоречии, а сохраняют открытым потенциал политического действия «вместе». Здесь следует отметить новую эпистемологию политической лиминальности Хоми Бабы, который рассматривает саму политическую реальность на границе теории и практики, идеи и действия, смысла и его референции. Он пишет: «Язык критики является эффективным не из-за того, что он навсегда сохраняет раздельную терминологию господина и раба, меркантилиста и марксиста, но в той степени, в которой он преодолевает данную основу противоположности и открывает пространство для перевода: пространство, говоря фигуративно, гибридности, где конструкция политического объекта является новой, ни одной, ни другой, собственно, отвергает наши политические ожидания и изменяет, как это и должно быть, любую форму нашего узнавания момента политики. Вызов состоит в рассмотрении времени политического действия и понимания как открытого пространства, которое может принимать и регулировать различные структуры момента интервенции без стремления производить единство социального антагонизма или противоречия. Это есть знак того, что история происходит на страницах теории, внутри систем и структур, которые мы конструируем, чтобы участвовать в историческом движении»⁶. Это антитоталитарное, антиунифицированное мышление создает почву для отражения сложного мира современной политики, в котором само мышление

становится действующим фактором активной жизни. И здесь раскрывается особенность самой политической философии, которая помимо собственно политики как своего предмета берет философию и ее роль в политике в качестве проблемы: «Оригинальность политической философии, следовательно, — пишет Филипп Рейно, — состоит в том, что она, все еще связывая нерасторжимым образом философию и нефилософскую жизнь, делает саму философию центральной проблемой, одновременно теоретической и практической»⁷.

Национализм (или автономия) следует обозначить в качестве еще одного важного измерения глобализации, возникающей в сетевом обществе. Но это не тот национализм закрытости и жесткой идентификации, а космополитический национализм, который выставляет национальную особенность как глобально значимую и ценную, при этом не противопоставляя один вид такого национализма другому. В этом отношении следует обратить внимание на концепцию партикуляризма С. Поллока, которая проводит различие между «проповедническим партикуляризмом» с его настойчивым акцентом на источнике и «партикулярным бытием», возникающим в локальных формах или практиках, которые определяются местом, но не сводятся к нему⁸. Современные страны, регионы и мир в целом демонстрируют возрастание значения разнообразия форм организации экономики, культуры и политики в качестве не только фактора, но и цели динамичного развития. Глобальный мир, характеризующийся интенсификацией обмена ресурсами в различных сферах общественной жизни, становится более сложным и противоречивым. Усиливается внутренняя и международная конкуренция фирм, университетов, театров, городов, регионов, государств, различного рода объединений и союзов. При расширении общих стандартов оценок конкурентоспособности на первый план выходят уникальные ресурсы, обеспечивающие конкурентное преимущество. В числе последних немаловажное значение приобретают факторы духовного развития — знания, культура, национальная особенность. Нередко это проявляется в грубых формах национализма и культурной исключительности, однако интенсивный поиск духовной самобытности всеми государствами вовсе не сводится к этим архаичным формам. Более того: растет понимание значимости культурного разнообразия и национальной идентичности в качестве не только ресурса, но и цели общественного развития. Вместо универсального прагматизма XX в., сделавшего ставку на рационализм технического детерминизма, все более привлекательной становится умонастроение, где развитие не выступает самоцелью, а становится инструментом для национального

прогресса. При этом целью и инструментом такого прогресса выступают особые стратегические ресурсы стран и регионов. В этом отношении внимание к консерватизму как наиболее чувствительной к национальной специфике идеологии и политической практике становится оправданным и разумным в тех пределах, которые соотносят его с фактором конкурентоспособности и смыслом цивилизованного развития.

Именно «универсализация», как считается, порождает угрозу политическому, создавая гомогенизацию пространства политического и скрывая политическое под флагом тотальной войны за справедливость и мораль, тогда как политика различий, выраженная в контрколонизации и в космополитическом национализме (партикуляризме), противостоит гомогенизации и вводит в рассмотрение плюрализм сложного сетевого взаимодействия.

Сети, структуры и политика принадлежности

Часто политические сети отождествляют с политическими структурами, а сетевой подход к политике со структурным. В политической науке структурный подход вот уже более 60 лет используется для анализа и объяснения политики. Разработанный применительно к политическому исследованию Дэвидом Истоном и Гэбриелом Алмондом, он до сих пор является одной из ведущих методологий, позволяющих выявлять в политике общие элементы, связи и функции, объединяя все это в понятии политической системы. Основными принципами структурного подхода выступают целостность системы, принцип функциональной необходимости, приоритет отношений над элементами, неоднозначное соответствие между структурой и функциями. Реляционность, т.е. систематичность отношений между элементами, выступала главной характеристикой структурного функционализма. Некоторые авторы в последние годы стали определять сетевой подход к политике через реляционность. Как пишут Скотт Маккларг и Дэвид Лезер, «политика по своей сути является сетевым феноменом. Власть — центральный конструкт политической науки — существенно реляционная, когда власть существует между акторами в сложном, дифференцированном состоянии»⁹. Эти и другие авторы пытаются в последнее время доказать, что политические сети и сетевой подход — это прежде всего связи. В этом ключе они противопоставляют сетевой анализ политики бихевиоризму и институционализму, которые рассматривают политику как деятельность дифференцированных акторов в институциональной среде. В какой-то степени это правомерный подход. Мануэль Кастельс — ведущий исследователь сетево-

го общества — подчеркивал, что в современном обществе структуры доминируют над деятельностью. Он писал: «Наше исследование возникающих социальных структур, которые захватывают человеческое действие и опыт, приводит к важному выводу: историческая тенденция состоит в том, что основные функции и процессы в информационном веке в основном организованы в сети. Сети составляют новую социальную морфологию нашего общества, и распространение сетевой логики модифицирует операции и результаты в процессах производства, опыта, власти и культуры. Хотя сетевая форма социальной организации существовала в другие времена и в иных местах, новые информационные технологии обеспечивают материальную основу для ее безграничного расширения во всем социальном мире. Более того, я хотел бы доказать, что эта сетевая логика производит социальный результат более высокого уровня, чем тот, который социальные интересы связывали с сетями: власть потоков имеет преимущество над потоками власти. Присутствие или отсутствие в сетях и динамика взаимодействия сетей являются решающим источником доминирования и изменения в нашем обществе: общество, которое, следовательно, мы можем назвать собственно сетевым обществом, характеризуется преобладанием социальной морфологии над социальным действием»¹⁰.

Это так, но не всякая структура является сетью. Более того, если брать структурный подход и структуру, т.е. принципиальное различие между ними и сетевым подходом и сетью, то оно становится более определенным. Действительно, в политических сетях отношения являются конституирующим элементом, но не составляют всего многообразия их существенных характеристик. Следует различать структурный (реляционный) и сетевой подходы в политической науке. Если рассмотрение политики как структуры было достижением методологическим, т.е. изменились наши представления о политических феноменах, то сетевой анализ базируется на изменении самой политической реальности, а не только нашего подхода к ней. Сегодня сетевизация составляет существенную характеристику общества, не только связывая акторов и меняя характер отношений между ними, но и создавая другое пространство осуществления жизненных целей. В этом смысле, находясь всегда в определенной системе отношений, человек не всегда состоит в сетевых отношениях и не всегда является актором сетевого взаимодействия. Сети и структуры — это различные феномены. Как пишет Кай Эрикссон, «идея сети, очевидно, служит решению определенной задачи: сделать возможной единую речь о сложных, нередуцируемых и гетерогенных феноменах с показом их множественности. Следова-

тельно, понятие сети не предполагает какой-либо особой структуры, ибо сеть явно не структура»¹¹.

Структуры отличаются от сетей по сумме критериев. Наверное, следовало бы указать на еще ряд значимых отличий, но они будут прояснены по ходу дальнейшего изложения материала. Здесь же отметим, что структуры и сети отличаются по составу, т.е. в структурах действуют агенты, значение которых определяется их вполне определенным положением. При этом агенты и их отношения разделены, действует принцип приоритета отношений над агентами. В сетях каждый элемент является действующим лицом (актером) и без активности в сетях не может подтвердить свое положение. По сути, актер в сети является соотносимым с другими актерами посредством своей деятельности и рассматривается в единстве с отношениями. Это в определенной мере соотносимо с пониманием актера в акторно-сетевой теории французского ученого Бруно Латура, в которой актер рассматривается фундаментально неопределенным, без заранее известной сущности. Он формирует свою природу в ходе взаимодействия в сети. Хотя для Латура сеть скорее является методологическим ключом для открытия того, что такое социальное, однако его трактовки понятий сетевого анализа имеют и онтологическое значение. Латур пишет, что под сетью он понимает «вереницу действий, где каждый участник рассматривается в качестве полномасштабного медиатора. Скажу проще: хорошее понимание АСТ (акторно-сетевой теории) состоит в том, что это нарратив, или описание, или предположение о том, что все актеры что-то делают, а не только сидят рядом. Вместо простой передачи результатов без учета их трансформации каждая точка в тексте может стать бифуркацией, событием или истоком нового перевода. Вследствие того, что актеры рассматриваются не как агенты, а как медиаторы, они делают социальное видимым для читателя»¹². Функциональный характер отношений в структуре определяет цели и задачи элемента, тогда как коммуникационный характер отношений в сетях может не предполагать выполнение определенной структурной задачи. Процессы в структуре строятся по типу передачи команд и получения отклика на них, тогда как заинтересованность участника сети во взаимодействии определяется наличием разнообразных ресурсов, которыми обмениваются акторы для решения общих и частных задач.

Инструментальность отношений в структуре основана на зафиксированных положениях ее участников, которые ждут от другого только эффективного выполнения функции. Взаимность в сетях определяется условиями вхождения в сети. Если сети фиксируют принадлежность, то структуры фиксируют включенность/исключение. Последнее явля-

ется значимым для структуры, которая строит свой порядок на основе нормы. Включенность означает нормальность, т.е. соответствие норме. Исключение применяется к тем феноменам, которые не соответствуют норме. Определенный и устойчивый порядок в структуре обеспечивается принципом функциональной необходимости, когда каждый элемент функционален для структуры. Неопределенность и неустойчивость в сетях возникает на основе их открытости и постоянно изменяющихся конфигураций, определяемых по случаю. И наконец, структура пытается оформить целое чрез тоталитаризацию своих элементов, сети отдают приоритет многообразию и возникновению единства без тоталитаризации. Важно подчеркнуть, что реляционный подход к политике, хотя и составляет определенную характеристику политических сетей, но все же к ним не сводится.

Различие между структурной и сетевой организацией имеет решающее значение для критики универсализма тотального подчинения единому стандарту деятельности, предполагающему понимать политическое как центрированную структуру насилия/подчинения, а политический порядок — как универсальную беспристрастность нормы. В этом отношении, конечно, угроза политическому в глобальном сетевом мире связана с «универсализацией». Но если принять во внимание и другие тенденции глобального мира (именно глобального, а не противоречащего глобализации), как например, контрколониализацию и космополитический национализм, то глобальное сетевое общество создает новое политическое в том значении, что история не завершается, а приобретает новые черты и возможности. Новые черты и возможности связаны не только с верой в положительное решение вопроса. Новые угрозы и вызовы не менее важны, но поиск не должен, как представляется, вести к восстановлению старых разделений и гегемоний, тотальных подчинений и вытеснений. «Текущая современность» (З. Бауман), заменяющая структуры сетями, приводит к политическому как действию без цели, но со смыслом. И этот смысл связан с решением вопроса о том, как «жить в различии», не подвергая ее (жизнь) соблазну включения/исключения. Сетевое политическое не является беспорядком или анархией, а предполагает установление новой политической принадлежности, которая устанавливается без тоталитаризации, т.е. с сохранением различий и дифференциаций, и в постоянном утверждении. Патриция Христенсен правильно, в общем, отмечает всю сложность и неопределенность, которая здесь возникает: «В отсутствие ясных разделительных линий и в контексте, когда перемены рассматриваются как панацея, а устойчивость подобна смерти, индивидам нужно использовать свое

воображение для изобретения своей идентичности, полагаясь на каждый отдельный шаг в своей жизни. Так как нет общего правила, люди находят свой собственный путь, проверяя различные возможности, создавая новые, адаптируясь все время к изменяющимся обстоятельствам так, как текучесть заставляет их делать»¹³. При этом территориальность не отменяется в качестве условия принадлежности. Важно лишь помнить, что она также меняется, и коммуна, на ней базирующаяся, является «воображаемым сообществом», реальность которого подтверждается участием.

Четыре оппозиции можно отметить, чтобы провести демаркационную линию между структурным и сетевым политическим, в центре которых лежит проблема политической принадлежности. Основываясь на концепции «народной политики» Эша Амина, Сюзанн Холл пишет о следующих оппозициях¹⁴ (с некоторой моей реконструкцией. — Л. С.): 1) участие *vs* патернализм; 2) множество *vs* тотальность; 3) сотрудничество *vs* коллаборационизм; 4) традиция как поиск *vs* традиция как практика. Первая оппозиция указывает на то, что современное государство способствует скорее участию, чем простой заботе о гражданах (патернализм), и, следовательно, поощряет государственные инвестиции в людей и децентрализацию ответственных и гибких институтов. Вторая оппозиция поддерживает множество против тотальности, т.е. дифференцированные союзы против сцепленных сингулярностей. В этом отношении для вовлечения необходимо широкое множество моделей и типов ассоциаций и платформ, где экспериментирование поощряется технологиями и сетями, которые пересекают локальные границы. На этой основе возникает эффективное и активное сотрудничество граждан с государством в политике, которое должно быть признано и поддержано. И, наконец, преимущество плюральных демократических сетей как пространств для экспериментов и обновлений может быть объединено с локальной жизнью и научением так, чтобы местные традиции были лучше поняты и включены в действие, но не как ретроспективные практики, а в качестве инструмента поиска продвижения вперед. В этом отношении политическая принадлежность выступает новым словом для политической идентичности, а точнее — фиксирует современный характер определения человеком себя как политического существа. Сегодня нет необходимости в тотальном тождестве с коллективом, принадлежность к роду-племени фиксируется практикой политического действия вместе с другими членами коммуны, не подверженными исключению. Политическая принадлежность в сетевом сообществе вообще не знает исключений.

Однако возникает ряд противоречий, связанных с использованием сетевого публичного пространства:

- столкновение публичности и приватности;
- несогласованность глобальности и локальности;
- транс-язычность, кросс-культурность и потребность идентификации;
- неясность соотношения ответственности, контроля и свободы;
- принципиальная открытость и стремление к сегментарности.

В этих условиях подвергается трансформации прежняя городская культура публичности, основанная на принципах совместности, открытости и явленности. Для нее было характерно единство места и действия, где элементы городского пространства сочетаются с видами публичной активности (площадь — митинги; кафе, клубы — обсуждения; залы — собрания и решения; улица — демонстрации).

Новые сетевые пространства создают, конечно, проблемы для публичности, часто определяемые стремлением к приватности. Новые каналы информации и других ресурсов в сетях модифицируют публичное пространство. Так, если телевидение ориентировалось на принцип «новости в семью», то Интернет часто создает вместо совместности разъединенность, вместо открытости интимность, вместо явленности бессубъектность. Есть ли что-то здесь, что вселяет оптимизм относительно публичности? Выход, как представляется, находится в не до конца реализованных новых возможностях ИКТ и сетевой организации. Принципиально речь может идти о переносе акцентов от передачи информации к взаимодействию и формированию совместного знания (интерактивность); от сокрытия места к стремлению в пространство; от старой репрезентации, основанной на расстоянии, к участию и обсуждению (форумы) и т.д. Часто сети рассматриваются как новые средства мобилизации для традиционного участия (митинги, демонстрации, флэшмобы). Но можно выделить новые формы сетевой публичности, которые постепенно раскрывают другие возможности политического как публичного диалога и обсуждения, где критическая позиция участника сети создает большие возможности для инклюзивного политического сообщества. Как писал Джеймс Бохман, «пространство, открытое коммуникации посредством компьютера, поддерживает новый сорт распределительной, а не унифицированной публичной сферы с новыми формами взаимодействия. Под распределительной [формой] я подразумеваю то, что компьютерное средство в виде Интернета децентрализует публичную сферу; она становится множественным об-

ществом, а не отчетливо унифицированной и всеохватной публичной сферой, в которой участвуют все собеседники»¹⁵.

Формы сетевой публичности разнообразны и действуют с разной степенью эффективности. Часто психологические причины, культурные факторы, отсутствие навыков пользования новыми возможностями коммуникации, торможение со стороны бюрократии и политиков, юридические и технические причины ограничивают их использование. В последнее время часто в качестве условия активизации электронной демократии называют необходимость специального менеджмента, позволяющего организовывать подобную активность, включая и систему научения пользованию средствами электронной демократии. Особое значение для активизации этого процесса приобретает международная оценка состояния дел в этой сфере, а также эффективности и качества предлагаемых здесь мер.

Влияние трансформационных процессов в публичной сетевой сфере сказывается на изменении миссии государства, структуры, функций и технологий его политики и управления в современном обществе. Основная гипотеза здесь состоит в том, что трансформационные процессы в публичной сфере приводят одновременно к повышению роли государственных и негосударственных акторов в производстве и осуществлении публичной политики и изменяют систему их отношений в направлении сотрудничества. При этом осуществляется переход от административного государства к государству координационному, а в сфере негосударственной активности возрастает значение «вовлечения в публичные дела». Роль координационного государства в этом случае состоит в том, чтобы обеспечить равный доступ, защитить понятное использование и стимулировать подходящие открытому пространству сети.

* * *

История сетевого политического только начинается. Пока не до конца ясны все перспективы и не до конца проявились все тенденции, связанные с трансформацией политики под влиянием политических сетей, сетевого сознания и образа жизни. Современное государство встало перед проблемой, как относиться к данному феномену, к сетевому обществу вообще. С одной стороны, стратегия электронного правительства и электронной демократии создает условия для более эффективной реализации государственных функций. Государство стремится повысить управляемость за счет использования социальных сетей. В последние десятилетия повышается значение самоорганиза-

1.3. Трансформация политического в сетевом пространстве

ции, управления через сообщества, интенсификация отношений между обществом и государством. По этому поводу говорят, что государство в общественных делах не должно само «грести», оно должно «быть капитаном». Здесь функция координации приобретает решающую роль, а вовлечение всех в публичность становится новой мобилизацией для бизнеса и гражданского общества. Поэтому понятной делается социальная ответственность для бизнес-структур и гражданских ассоциаций. Каковы возможные тенденции в государственном управлении, которые будут связаны с этими изменениями? Можно ли признать все современные трансформации в них перспективными? Как быть со случайными событиями, которые могут значительно повлиять на возможную конфигурацию государственного управления в этих странах? Например, отмечено, что часто неэффективность государственных структур в этих странах компенсируется активностью сообществ, в том числе и сетевых. Это особенно заметно в условиях чрезвычайных ситуаций. В целом управляемость и конкурентоспособность повышаются за счет управления через сообщества. Что в этом случае означает бездеятельность или слабая эффективность государственного управления? Каковы способы взаимной поддержки и стимулирования активности государства и сообществ? С другой стороны, в ряде стран мы можем наблюдать факты, которые свидетельствуют о настороженном отношении к сетевым платформам. Государство ограничивает доступ к сетям, регулирует, устанавливая более жесткие нормы, сетевую активность. Многие исследователи говорят также о том, что новые информационные технологии создали дополнительные угрозы для демократии, позволив государству усилить контроль над обществом. Конечно, сетевые технологии расширили пространство политического для участия и влияния, но они же способствовали такой активности, которая ставила под угрозу управляемость современных государств. Расширение демократических возможностей политических сетей и проблема государственной управляемости вышли сегодня на первый план. Никто пока не знает ответа, как удачно и на благо всех совместить новые формы активности и управляемость, «спорную политику» и эффективность решений, прозрачность и контроль. Отсюда часто мы наблюдаем неадекватные действия то со стороны мобилизованной общественности, то со стороны государства. Видимо, пока действия осуществляются по методу «проб и ошибок», без какой-либо четкой стратегической линии. Ряд обнадеживающих тенденций в этом плане все же можно наблюдать. И основной стратегической идеей здесь является совместная деятельность государства и общества на основе взаимного доверия и сотрудничества.

Примечания

- ¹ *Benya A. de.* Карл Шмитт сегодня. М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2013. С. 165, 167.
- ² *Barney D.* The Network Society. Cambridge: The Polity Press, 2004, P. 25.
- ³ *Badiou A.* Being and Event. L.; N.Y.: Continuum, 2007. P. 3–11.
- ⁴ *Ibid.* P. 10.
- ⁵ См.: *Сморгунов Л. В.* Политическое «между»: Феномен лиминальности в современной политике // ПОЛИС. 2012. № 5.
- ⁶ *Bhabha H.* The Location of Culture. L.; N.Y.: Routledge, 1994, 2004. P. 24.
- ⁷ *Raynaud Ph.* Philosophie politique // Dictionnaire de philosophie politique. Sous la direction de Ph. Raynaud et St. Rials. Paris: Quadrige/Puf, 2003. P. 561.
- ⁸ *Pollock S.* Cosmopolitan and vernacular in history // Public Culture. No 12. P. 620.
- ⁹ *McClurg S., Lazer D.* Political Network // Social Network. 2014. Vol. 36. No 1. P. 1.
- ¹⁰ *Castels M.* The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA, Oxford, UK, Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2010. P. 500.
- ¹¹ *Eriksson K.* On the Ontology of Networks // Communication and Critical/Cultural Studies. 2005. Vol. 2. No 4. P. 309.
- ¹² *Latour B.* Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2005. P. 128–129.
- ¹³ *Christensen P. V.* Until Further Notice: Post-Modernity and Socio-territorial Belonging // International Review of Sociology. 2005. Vol. 15. No 3. P. 553–554.
- ¹⁴ *Hall S.* The Politics of Belonging // Identities: Global Studies in Culture and Power. 2013. Vol. 20. No 1. P. 52.
- ¹⁵ *Bohman J.* Expanding Dialogue: The Internet, Public Sphere, and Transnational Democracy // Democracy Online: The Prospects for Political Renewal through the Internet. N.Y.; L.: Routledge, 2004. P. 51.

1.4. Методы исследования политического восприятия в российской политической психологии*

Исходные теоретические основания

Этот раздел посвящен методам политико-психологического исследования образов власти и политиков, партий и парламента, страны и государства. Эти методы нами разрабатывались и используются с начала 1990-х годов, уже более двух десятилетий. Применение указанных методов позволило коллективу кафедры социологии и психо-

* Детальное описание методологии исследования политического восприятия дано в подготовленной для издания новой книге под редакцией автора: Путин 3.0 Общество и власть в новейшей истории России. М.: Аргамак-Медиа, 2015.

логии политики факультета политологии МГУ опубликовать результаты исследований на основе этих методов, которые получили признание как у нас в стране, так и за рубежом. Они отражены в многочисленных публикациях, защищенных диссертациях и в докладах на общероссийских и международных конгрессах и конференциях [Шестопап Е. Б., 2004; Шестопап Е. Б., 2008; Психология политического восприятия, 2012; Шестопап Е. Б., 2013; Шестопап Е. Б., 2015; Преснякова Л. А., 2001; Нестерова С. В., 2001; Киктева Е. А., 2003; Цой С. П., 2004; Смирнова А. Г., 2004; Шелекасова Н. П., 2006; Пищева Т. Н., 2006; Суслина М. В., 2008; Виноградова Н. С., 2010; Филистович Е. С., 2010; Бокова Н. Б., 2011; Букреева О. В., 2013; Жестков М. И., 2013 и др.]. Эти методы показали свою эффективность с точки зрения как фундаментальной теории на стыке психологии и политологии, так и с точки зрения их прикладного использования в ходе электоральных кампаний. Предлагаемые методы не имеют аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.

В современных политических системах, где политика носит все более опосредованный характер, принимаемое гражданином решение о выборе кандидата или партии нередко основано на неполной или даже искаженной информации, лично проверить которую он не в состоянии. В этой ситуации человек вынужден ориентироваться в мире политики по тем образам, которые он получает из СМИ и которые становятся для него маркерами политики, по которым он достраивает недостающие звенья своей политической картины мира. Эти виртуальные образы заменяют реальные политические объекты. Их исследование находится в фокусе внимания политической психологии.

Исследования политического восприятия направлены на изучение образов различных политических объектов в массовом сознании: образов власти и политиков, особенно кандидатов в избирательных кампаниях, образов политических институтов (исполнительной, законодательной и судебной власти), государства в целом, образов политических партий и образов стран.

Одна из главных трудностей таких исследований связана с виртуализацией политики, что ведет к отрыву политических образов от реальных интересов людей и сами образы делает достаточно неустойчивыми и иррациональными. Отсюда появляется необходимость выявления наряду с устоявшимися мнениями людей о политиках, власти и т.п. — неосознаваемых компонентов восприятия ими этих политических объектов. Стандартные количественные методы, в частности, опросы, обычно используемые в электоральных исследованиях, не позволяют выявить этот слой восприятия.

Для получения достоверной и релевантной картины восприятия политики требуются более тонкие психологические инструменты, такие как применение *открытых вопросов* в опросах и *проективные тесты*. Они позволяют получить более целостное и многомерное представление об **образах власти** у граждан.

Для изучения **образов политических лидеров** нами использован несколько иной метод: *метод глубинного интервью* с предъявлением респонденту стимульного материала в виде черно-белых фотографий политиков. Неосознаваемые слои образов политиков мы выявляли с помощью *метода фиксированных ассоциаций*.

Для того чтобы выбрать методы, адекватные объекту и задачам исследования политического восприятия, следует определиться прежде всего с тем, что мы понимаем под этим термином.

Политическое восприятие имеет специфические особенности, отличающие его от других видов восприятия [Wood J., 2007, p. 5; Fiske S., Neuberg S., 1990, p. 1–74].

Если восприятие — это *процесс* отражения в массовом и индивидуальном сознании власти, лидеров, партий, государств и других политических объектов, то основными элементами, «кирпичиками», из которых строится этот процесс, являются *образы*. В психологии под «образом» понимается обобщенная картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей через органы чувств [Granberg J. et al., 1988, p. 29–46; Kristensen N., 2010, p. 21–27].

Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной стороны — отражение реальных характеристик объекта восприятия, т.е. политической власти, личности лидера, особенности той или иной политической партии, страны и т.д. Эти характеристики образа детерминируются *объектными факторами*. Они во многом определяют политическое содержание образа. С другой стороны, образ является проекцией ожиданий субъекта восприятия, т.е. граждан. В образе политической власти отражаются потребности и мотивы, знания и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожидания, эмоции, требования массового сознания к власти. Эти компоненты образа будут определяться *субъектными факторами*. Политические образы будут изменяться с изменением массового сознания. Кроме того, характер образов будет меняться и в соответствии с такими характеристиками субъекта восприятия, как пол, возраст, образование, региональные особенности и т.п. Изменения во времени, которые происходят с политическими образами, определяются *темпоральными факторами*, а различия, связанные с местом проведения исследования, — с региональ-

1.4. Методы исследования политического восприятия в ... политической психологии

ными особенностями, или с *пространственными факторами*. Влияние средств массовой информации на восприятие гражданами власти и лидеров, страны или партии в современном мире весьма существенно, поэтому мы считаем необходимым обязательно учитывать *коммуникативные факторы*, влияющие на политическое восприятие. Таким образом, задача, стоящая перед исследователем политического восприятия, двойка: необходимо описать сами образы (зависимые переменные), а затем проинтерпретировать их, по возможности устанавливая вес каждого в системе факторов (независимые переменные) (рис. 1) [Шестопал Е. Б., 2012].



Рис. 1. Факторы, детерминирующие образ власти

От теории к методологии

Несмотря на то что формирование политического образа в сознании граждан не основано на четкой и полной информации рационального характера, они тем не менее обладают психологически точным инструментом для прочтения политического образа, позволяющим им сделать если не полностью рациональный, то во всяком случае эмоционально приемлемый для них выбор.

Описание методов исследования политического восприятия требует разделения исследования на отдельные операции: сбор, обработку и интерпретацию результатов. Так, полученные на этапе сбора материалы на следующей стадии подвергаются *кодированию* и *шкалированию*, затем обрабатываются количественно с помощью стандартного пакета статистической информации *SPSS*. Однако наряду с количественными процедурами подобные методы требуют качественного анализа конкретных высказываний респондентов, характеризующих тот или иной политический объект. Ответы отдельных респондентов дают неоценимый материал для фиксации разных оттенков эмоциональных характеристик политических образов и их дальнейшей интерпретации.

Наиболее сложная часть работы с названными методами — это *интерпретация* ответов, для чего приходится строить специальную объяснительную модель для каждого объекта восприятия.

Выше мы остановились на тех характеристиках восприятия, которые касаются восприятия всех видов политических объектов. Однако в ходе исследования мы пришли к выводу, что каждый из объектов восприятия — образы власти, государства, парламента, лидеров, политических партий и образы страны — имеет столь важные отличия в своей природе и функционировании, что для их анализа необходимы различные методологические инструменты и приемы. Мы попытаемся описать методологию исследования двух форм восприятия: образов власти и образов политиков.

Методология и методы исследования образов власти

Методы сбора информации. Методология, использованная для указанных целей, включала в себя как **опрос**, особенностью которого было большое число открытых вопросов, так и **глубинные интервью**, а также **метод проективного теста «Рисунок власти»**. Все эти методы были направлены на то, чтобы выявить не только рациональные, но и бессознательные аспекты образов власти. В нашей методологии преобладали качественные методы с элементами использования количественных

методов, в частности, кодирования и шкалирования ответов на открытые вопросы, статистический анализ при обработке данных опроса.

Так, мы прежде всего стремились выявить **эмоциональные** составляющие этих образов, а именно *знак отношения к власти*, различая при этом отношение респондентов к реальной и идеальной власти, к власти нынешней и к власти из недавнего прошлого. Здесь мы фиксировали, прежде всего, эмоциональный знак (плюс, минус либо нейтральные оценки). Мы предположили, что эмоциональный знак в отношении власти времен молодости респондентов будет более позитивным, чем в настоящем, так как люди обычно идеализируют свое прошлое. Гипотеза эта подтвердилась лишь частично. Реальность оказалась намного более сложной, чем можно было представить себе в начале исследования.

Второй важной составляющей является **когнитивный** срез образов власти, который мы операционализировали через такие индикаторы, как:

- *интерес к теме власти;*
- *самостоятельность или стереотипность суждений о власти;*
- *уровень их когнитивной сложности/простоты;*
- *степень ясности/размытости образов;*
- *субъектность власти (наличие или отсутствие субъекта в образе власти).*

Так, в литературе есть данные [Kavanagh, 1982, p. 183], свидетельствующие о том, что политическая активность граждан психологически связана с наличием определенного уровня *интереса* к политике. И, напротив, политический абсентеизм и цинизм сопровождаются полным или практически полным отсутствием интереса к политике, которая находится вне поля зрения граждан. Гражданская зрелость в свою очередь предполагает способность отдельного индивида самостоятельно выносить суждения о власти и принимать осознанные решения в ходе выборов, неподвластные политическим стереотипам.

Когнитивная или интегративная сложность/простота — это важный срез сознания при оценке образов власти. Люди с выраженной когнитивной сложностью дают более зрелые оценки власти, чувствуют нюансы, не склонны к стереотипным оценкам, что связано с уровнем авторитарности личности. Когнитивная простота, напротив, характерна для лиц с черно-белым, закрытым мышлением, ригидной психикой, что сказывается и на их политических оценках.

Не менее важно определить *субъектность* этих образов. Наши данные показывают, что нередко власть воспринимается гражданами как анонимная сила, не имеющая «лица». Власть выступает как некий не-

одушевленный объект, вызывающий тревогу, страх, другие негативные эмоции. Другое дело — когда власть ассоциируется с партиями, институтами, с государством или с конкретными персонами. Нам представляется важным выяснить, *кого или что подразумевают граждане, когда они говорят о власти. С этим вопросом связана и еще одна задача: определить границы власти: где в сознании граждан заканчивается власть и начинается оппозиция, каковы границы полномочий власти т.д.*¹.

И, наконец, **поведенческий** аспект образов власти проявляется не просто в оценках режима или системы, но в готовности делом поддерживать эту власть, участвовать в управлении государством, принимать участие в различных формах политической деятельности. Вопросы об этой готовности содержались в инструментарии опроса и в гайде интервью. Для понимания образов власти много дает сравнительный анализ образов власти у пассивных и активных граждан, у тех, кто готов участвовать в политике только в роли избирателя, и у тех, кто пойдет на забастовку или будет принимать участие в выборах как кандидат.

В исследовании нами были использованы **открытые вопросы** для выявления того, кто именно из представителей власти вызывает у граждан доверие и симпатию, оказывает реальное влияние на политический процесс, за кого они готовы отдать свои голоса (респондентов просили назвать имена конкретных политиков, не давая им подсказки в виде готового списка фамилий). Анализ ответов на эти открытые вопросы позволяет выявить конкретное наполнение образов власти в ее персонафицированном виде. Нас в первую очередь интересовало, насколько власть ассоциируется с публичными политиками, или в ней преобладают «теневые» компоненты, порождающие образ власти-марионетки, за которой скрываются неизвестные публике, а потому особенно опасные «кукловоды».

Поскольку сами образы власти включают в себя и рациональные, и бессознательные компоненты, методология включала в себя инструменты для анализа обеих сторон образа. Данные по **рациональным** компонентам были собраны с помощью закрытых вопросов опроса и глубинных интервью. **Бессознательные** компоненты изучались по большей части с применением *качественных методов или качествен-но-количественных методов*: открытых вопросов анкеты и проективных тестов.

В опроснике наряду с закрытыми вопросами, предполагающими готовые варианты ответа, были широко использованы открытые вопросы, позволяющие получить более богатую и непредвзятую информацию о политических предпочтениях респондентов. Ответы на открытые вопросы обрабатывались методом шкалирования. Каждому ответу

присваивалось определенное значение в соответствии с кодировочным листом, который использовался для занесения ответа в базу данных. Кодировка велась на основании схемы, разработанной авторами для обработки ответов на вопрос об образах власти реальной, идеальной, а также о власти разных временных периодов.

Обработка данных. Мы обрабатывали ответы респондентов для выявления таких параметров образов власти, как

- эмоциональный знак;
- субъектность;
- четкость/размытость;
- когнитивная сложность/простота;
- потребности, стоящие за теми или иными образами власти.

После получения количественных данных их обработка велась стандартным образом с помощью пакета *SPSS*.

Вопросы, содержавшие в качестве ответов имена политиков, которым респонденты доверяют, симпатизируют и считают влиятельными, анализировались качественным образом без кодирования в силу того, что число таких имен носило весьма ограниченный характер. Одновременно составление такого списка само по себе имело смысл, так как в отличие от распространенных в современной политологии и социологии методов составления рейтингов политиков, когда экспертам предлагают оценить степень влиятельности того или иного политика из списка в полторы сотни имен, заранее выбранных исследователями, мы не давали респондентам никаких подсказок. Этот список был составлен исключительно из числа тех политиков, которых вспомнили сами опрошенные. Это говорит о том, что в сознании населения общее число тех политических деятелей, кого они знают, помнят, испытывают к ним определенные чувства и т.д., — весьма невелико. Политический мир в сознании граждан отнюдь не перенаселен.

Качественная часть исследования включала в себя проведение *глубинного интервью, рисуночный тест, использование метода неоконченных предложений и анализ ответов на открытые вопросы*.

Интервью имело полустандартизированный характер, т.е. порядок вопросов определялся интервьюером, но в целом каждый респондент отвечал на одни и те же основные вопросы, которые входили в гайд. Анализ интервью имел исключительно качественный характер и не подвергался количественной обработке.

Еще одним качественным методом исследования был избран метод **«Психологического рисунка власти»**. Данный метод широко применяется в других областях психологии [Мельникова О. Т., 1996; Мельнико-

ва О. Т., Цехоня О., 1996; Фаломеева Т. В., Бартенева О. М., 2000], но в политической психологии он до сих пор практически не использовался. Между тем именно с помощью данной проективной методики можно получить весьма богатый материал об образах власти в визуальной форме, что для исследования образов имеет особое значение. В своих исследованиях мы уделяли внимание

- *смысловым* характеристикам самой власти, раскрывающим взаимоотношения власти и обычных граждан;
- *символическим объектам*, встречающимся в изображении;
- *когнитивным, эмоциональным и поведенческим особенностям* восприятия.

В исследовании анализируются параметры силы, активности, привлекательности образа, а также общий сценарий сюжета на рисунке и использование символов.

Сбор данных. Процедура сбора данных состояла в инструкции респонденту нарисовать власть в своей стране, какой она ему видится, расположив ее свободно на листе бумаги формата А-4. Выборка была сбалансирована по полу, возрасту и образованию.

Для исследования образа власти с помощью рисуночного теста в 2013–2014 гг. было собрано 247 рисунков.

Методология изучения образов политических лидеров

Так же как в исследовании образов власти, а возможно, даже в большей степени, изучение образов реально действующих политиков требует от исследователей поиска методологии, позволяющей обойти подводные камни, связанные с неосознаваемыми пластами восприятия лидеров и деликатностью самого объекта. Здесь мы имеем в виду прежде всего стремление наших респондентов уйти от оценок действующих политиков в тех вопросах, которые социологи называют «прямыми», или «вопросами в лоб». Мы фиксировали случаи, когда респонденты (особенно старшего возраста) неохотно давали комментарии в отношении действующих политиков, особенно тех, кто находится у власти, считая такие прямые вопросы неэтичными. Так, например, мы столкнулись с тем, что в 1998 г. одна наша респондентка, давшая отрицательный ответ о возможности голосования за Жириновского, в конце интервью попросила нас подарить его портрет на память, прижимая к груди его фотографию. Такое поведение свидетельствует о явном расхождении у нее рациональных и бессознательных компонентов образа этого политика².

Методология исследования, которую мы разработали, была направлена прежде всего на возможность улавливания именно этого слоя

неосознаваемых реакций избирателей, многие из которых складываются задолго до выборов.

Инструментарий. Инструментарий исследования представлял собой топик-гайд для глубинного интервью. В соответствии с нашей методологией мы включили в опросник два типа вопросов. Первый был направлен на фиксацию рациональных оценок политиков. К этому типу вопросов относились вопросы, выявляющие узнаваемость лидера, намерение голосовать за него, вопросы о том, что в нем нравится и что не нравится, а также вопрос о том, зачем, по мнению респондента, данному политику нужна власть.

Второй блок вопросов фиксировал ассоциации с животным, цветом, запахом и был нацелен на получение неосознаваемых установок. При этом степень глубины бессознательного в трех этих ассоциациях была различной. Так, ассоциации с животным были наиболее «поверхностными», т.е. в наибольшей степени подвергались воздействию стереотипов, а ассоциации с запахами относятся к наиболее глубинным слоям бессознательного и в наименьшей степени подвергаются рационализации. В качестве стимульного материала использовались черно-белые фотографии политика, выбранные с учетом времени исследования (те, на которых представлен его актуальный образ).

Выборка. Для исследования лидеров мы также применили и количественные, и качественные методы, отдав приоритет качественным. Сразу оговоримся: мы не ставили перед собой задачу получения эмпирических данных, репрезентативных для всей страны. При построении выборки мы исходили из стандартов, принятых для качественных исследований. Так, для получения достаточно надежной информации нам было достаточно получить до 20 интервью по одному политику. Как правило, мы значительно перекрывали эту цифру для надежности. На разных этапах нами было получено разное количество интервью — от 80 до 300. Выборка была при этом сбалансирована по полу, возрасту, образованию, а в ряде исследований и по политическим предпочтениям респондентов (левые—правые). Валидность выборки достигается однородностью позиции в рамках общности респондентов со схожими статусно-ролевыми параметрами.

Процедура исследования представляет собой проведение фокусированных интервью с предъявлением респонденту последовательно трех черно-белых фотографий политиков. Использование визуальных стимулов в отличие от вербальных (когда называется лишь фамилия политика) представляется нам методом, более адекватным для наших задач, так как позволяет получить ответы даже в том случае, если респондент по фотографии не узнал политика, но может ответить на

вопросы о том, что ему в данном человеке нравится или не нравится, и дать ассоциации.

Черно-белый характер изображения диктовался использованием ассоциаций с цветом. Нам необходим был стимульный материал, который не оказывал бы на восприятие дополнительного воздействия.

Использование фокусированного интервью с каждым респондентом по отдельности в отличие от обсуждения в ходе фокус-групповой дискуссии обеспечивало максимально индивидуализированные ответы респондентов, на которых групповое мнение не оказывало давления.

Обработка материалов велась как с помощью шкалирования оценок респондентами личностных качеств лидеров, так и с помощью политико-психологического анализа высказываний отдельных респондентов с последующим выделением рациональных и бессознательных уровней в их оценках властных фигур.

И на рациональном, и на бессознательном уровнях восприятия мы использовали одни и те же основные шкалы восприятия личностных качеств политиков: **привлекательность—непривлекательность, сила—слабость и активность—пассивность**. Следует отметить, что нами неслучайно использовалась двойственная оценка каждого из трех параметров, поскольку в своих ответах респонденты нередко давали весьма амбивалентные оценки. Чтобы выявить интегральную оценку образа политика у разных респондентов и сопоставить его восприятие с восприятием других политиков, такие двойные шкалы оказались весьма удобными.

На рациональном уровне по шкале **привлекательность—непривлекательность** политика мы выявляли повторяемость, знак и соотношение положительных и отрицательных качеств, долю отрицательных и положительных оценок по отношению к общему числу названных качеств. По объекту оценок мы отдельно подсчитывали оценки таких параметров, как:

- *внешность* (одежда, манера поведения);
- *телесные характеристики* (здоровье—болезнь, конституция, полнота—худощавость, вредные привычки, маскулинность—фемининность, возраст, темперамент, физическая привлекательность);
- *морально-психологические особенности* (характер, отдельные черты личности, речевые обороты и этические оценки политика);
- *чисто политические, профессиональные и деловые качества* (политические ориентации, организаторские способности, лидерский потенциал).

По шкале *сила—слабость* нами выявляется доминирующая тенденция приписывания силы и/или слабости в отношении внешности, телесных характеристик, психологических особенностей, моральных качеств, политических и деловых качеств. Так же оцениваются и полученные бессознательные ассоциации.

Шкала *активность—пассивность* имеет отношение к исполнению властных полномочий, к внешним проявлениям, к тем образам, с которыми респонденты ассоциируют политика. Эта шкала применялась по такой же схеме, как и две предыдущих: ответы кодировались и подсчитывалось процентное их отношение к числу всех ответов по данному политику.

После кодирования ответов респондентов и создания базы данных результаты обрабатывались с помощью пакета статистической и социологической информации *SPSS*.

Анализ и интерпретация. Если исходить из того, что образы лидеров изучаются через их отражение в сознании рядовых граждан, то перед исследователями встает вопрос о том, как эти отражения соотносятся с реальными личностями. Здесь возникает две сложности методологического плана. Во-первых, как выявить подлинное, а не декларативное отношение граждан к лидерам. Во-вторых, насколько адекватно и точно соответствует это отражение личности политика его образу в сознании людей?

Ответ на первый вопрос мы видим в том, чтобы помимо собственно рациональных оценок и мнений по возможности учесть бессознательные реакции граждан на личности лидеров. В поиске же адекватных показателей подлинного отношения к лидерам мы исходили из ряда теоретических положений. Так, нас интересовала не личность лидера как таковая во всех ее человеческих проявлениях, а публичная сторона личности политика, т.е. те аспекты поведения лидеров, о которых могут судить и эксперты, и неспециалисты. Это сужает поле исследования до наблюдаемого поведения. Объектом же исследования выступает не столько сам политик, сколько его публичный образ.

Возникает не менее сложная проблема интерпретации, касающаяся природы тех сдвигов, которые наблюдаются в оценках политиков. Проводя такого рода измерения в течение многих лет (с 1993 г. по сей день), мы фиксировали отклонения в количественных значениях тех или иных оценок личности практически у всех ведущих политических деятелей. Социологические опросы также показывают перепады в оценках одного и того же качества у политика в динамике. Совершенно не ясно, как эти сдвиги оценивать. Лишь в редких случаях сами политики давали для этого повод. Отчасти такие необъяснимые перепады

в настроениях респондентов можно объяснить неустойчивым характером массового сознания. Эти колебания носят хаотичный и нерациональный характер по многим вопросам политической жизни, включая вопросы об оценках личности того или иного политика, особенно если политик не слишком известен. То, что социологи называют «мнением», в российских условиях часто просто не сформировано. Скорее можно говорить о ситуативных оценках, настроениях и т.п. Понятно, что искать в их динамике некую логику — напрасный труд. Другая методологическая проблема возникает при взвешивании количественных параметров в качественном исследовании. Использование таких количественных параметров позволяет и исследовать динамику в восприятии одного и того же политика во времени, и сравнивать образы политиков.

В нашу непосредственную задачу входило:

- 1) выявить в «рациональных» ответах содержащиеся в них скрытые сообщения о том, какие качества лидера замечаются респондентами, расцениваются как важные или второстепенные, положительные или отрицательные;
- 2) выявить в «ассоциативных» ответах скрытые сообщения о том, какие качества лидеров неосознанно отмечены респондентами и оценены ими;
- 3) сравнить результаты пп. 1 и 2.

Мы исходим из гипотезы, что в высказываниях респондентов содержится многослойная информация об их отношении к политикам. Верхний слой составляют осознаваемые рациональные характеристики. Для их интерпретации мы используем простые шкалы, исходящие из осгудовской трехчленной структуры личности (Привлекательность—Сила—Активность).

Выявление бессознательных аспектов образов политика требует текстуального анализа высказываний, чтобы заметить скрытые за ними неудовлетворенные потребности, пресуппозиции, идеальные прототипы, с которыми респонденты сопоставляют реального политика. Но помимо этого мы использовали метод фиксированных ассоциаций с животным, цветом и запахом. В отличие от известного метода свободных ассоциаций, предложенных еще З. Фрейдом, мы попытались получить ассоциации, ограниченные нами искусственно этими тремя типами. В психологии известны попытки использования ассоциаций с другими объектами (марками машин, членами семьи, видами деревьев и т.п.) Но в исследовании образов политиков эти инструменты, как нам представляется, больше подходят для фокус-групповой ди-

скуссии, нежели для индивидуальных интервью. Выбор указанных трех типов ассоциаций был апробирован нами и показал свою эффективность. Наибольшая сложность в использовании данного метода состоит в интерпретации полученных результатов.

Метод ассоциации с животными. Процедура состояла в предложении респонденту, посмотрев на фотографию политика, попытаться дать ассоциацию с животным. При этом интервьюер разъяснял, что надо дать первую пришедшую в голову ассоциацию, и не только назвать животное, но и пояснить, почему именно это животное ему кажется похожим на данного политика.

Получив ответы, мы исходили из того, что интерпретации подлежат лишь те ассоциации, которые связаны с метафорическими образами данной культуры. Отсюда, например, такие животные, которые являются экзотическими для данной культуры (носороги, пантеры, жирафы, утконосы и пр.), трактовались как свидетельства неорганичности данного политика доминирующей политической культуре (не из нашего леса).

Анализ данных ассоциаций мы проводили исходя из общей схемы интерпретации, разработанной нами совместно с лингвистом М. В. Новиковой-Грунд [Шестопад Е. Б., Новикова-Грунд М. В., 1996, с. 168–191]. Так, прежде всего нами выявлялись метафорические значения того или иного животного в контексте национального фольклорного ряда.

В политико-психологической части исследования нами были выбраны следующие параметры для интерпретации ассоциаций с животными.

Привлекательность (как внешняя, так и моральная) исходя из существующих в нашей культуре атрибуций данному животному. Так, например, свинья — неприятна, а поросенок — вполне привлекателен. Лошадь — привлекательная, а змея — не симпатична. Это измерение бессознательных оценок позволяет нам сравнить уровень аттрактивности на рациональном уровне с бессознательными реакциями на того же политика.

Агрессивность (мы определяли эту характеристику по травоядному или хищному характеру животного). Агрессивность на бессознательном уровне, на наш взгляд, характеризует уровень активности, сопоставимый с аналогичным показателем на рациональном уровне.

Сила является на бессознательном уровне столь же важным показателем, как и на рациональном уровне. Однако помимо собственного параметра силы в ассоциациях с животными мы выделили **размер животного**, который мы интерпретируем как определенное отражение масштаба личности.

Метод ассоциаций с цветом³. Исходными гипотезами при интерпретации цветовых ассоциаций были следующие.

Воздействие среды вызывает у человека различные ощущения — зрительные, обонятельные, осязательные. Их постоянное воздействие на бессознательное создавало прочные ассоциации этих ощущений с определенными понятиями, и в ходе эволюции эти ассоциации генетически закреплялись в коллективном бессознательном.

Таким образом,

- ощущения и восприятия связаны не только с объектом восприятия, но и между собой (цвет — с запахом);
- существует связь между ощущениями (восприятиями) и типом поведения;
- это означает, что ассоциации с тем или иным объектом могут не только использоваться для интерпретации типа поведения реципиента, но и быть приписаны объекту (в нашем случае — политику).

Цвет имеет 3 физических свойства.

1. Чистота цвета. Чистые цвета — красный, желтый, зеленый, синий. Остальные — смешанные.
2. Яркость или светлость — интенсивность излучения в сравнении с другими.
3. Насыщенность или чистота (количество ахроматических (белого, черного, серого), примешивающихся к основному цвету).

Для нашего исследования важна проблема психологического воздействия цветового спектра, а точнее — *словесное атрибутирование цветовых ассоциаций и их интерпретация важны больше, чем собственно проблема восприятия цвета*.

Однако есть ряд ассоциаций объективного свойства. Они пришли из глубины веков, закрепились в бессознательном человека и передаются генетически из поколения в поколение. Например, связь оранжевого цвета с солнцем, теплом, энергией, синего и голубого — с морем, небом, покоем. Это наложило отпечаток на культуру. Нам трудно себе представить спокойствие красного цвета, сухое — сине-зеленого, а воздушное — коричневого.

Цвет плохо определяется в ситуации неустойчивого сознания: страх, тревога, боль, плохое самочувствие. *В нашем исследовании мы обращали особое внимание на респондентов, которые не могли дать цветовых ассоциаций.*

С темнотой связываются черный и темно-синий цвета. Эта ассоциативная связь вошла в коллективное бессознательное. Эти цвета вызывают чувство страха, неуверенности, угнетенности. Яркие и светлые тона, наоборот, либо веселят, особенно близкие к солнечному — оранжевый и желтый, либо успокаивают — зеленый, голубой.

Светлые оттенки вызывают чувства безопасности и прилив сил, активности, радость.

Тьма — время опасное, ощущение тревоги, неуверенности, загадочности. *Это прямое указание для интерпретации цветowych ассоциаций с политиками, большинство из которых (особенно успешные) связываются в сознании респондентов с темными тонами. Они вызывают либо страх и тревогу, либо кажутся загадочными. Исследование показало, что наиболее светлые и яркие из политиков оказались неэффективными в получении желаемых постов.*

Ахроматические тона внеэмоциональны. Это абстрактные цвета времени и пространства.

Ассоциации с цветом нами анализируются детально применительно к каждому политику в отдельности. Если же попробовать проинтерпретировать обобщенные данные, то выявляются следующие тенденции. Ассоциации с цветом были разделены нами на следующие формальные категории: **светлый-темный, теплый-холодный и яркий-тусклый**. Практически все эффективные российские политики видятся в темной, холодной и тусклой гамме цветов. Общая картина восприятия политиков в цвете оказалась нерадостной, вызывающей ощущение *непривлекательности* политиков, их отчужденности от респондентов. Это скорее коллективный образ власти как таковой, которая воспринимается крайне негативно на бессознательном уровне. Те же исключения, которые вызывают “теплые” и “светлые” чувства, явно не выглядят фаворитами политической борьбы и не вызывают желания перейти от эмоционального притяжения к электоральному поведению.

Метод ассоциаций с запахами. Ассоциации с запахами дают дополнительную информацию о бессознательных реакциях наших респондентов. Прежде всего обращает на себя внимание само наличие или отсутствие запаха. *Отсутствие или неопределенность* запаха свидетельствует о размытости образа, отсутствии его телесной наполненности.

Шкала *привлекательности*, выделенная нами для анализа рациональных ответов респондентов, может использоваться и в отношении ассоциаций с запахами, которые отражают наиболее глубокий слой восприятия.

Другим основанием для классификации запахов была выбрана их дифференциация по *сладо́сти—терпко́сти*. Смысловые оттенки названных запахов свидетельствуют о восприятии «мужественности»—«женственности» того или иного образа. Так, запах конфет или жасмина рисуют иной образ человека, нежели запах хвои, сена, моря или пота. Представляется, что данная категория ассоциаций может обогатить наше представление о *силе и слабости* политиков.

Еще одна типология запахов была использована нами для сравнения политиков.: *естественные и техногенные*. Среди естественных запахов были телесные и природные, съедобные и несъедобные. Техногенные или искусственные запахи включали себя парфюмерные ассоциации (которые были нередкими), запахи, ассоциирующиеся с профессиональными занятиями политика (книги, лекарства, казарма, «запах крови»). У всех политиков естественные, природные запахи превалировали над искусственными, что можно интерпретировать в терминах *привлекательности*.

Наряду с этими шкалами мы выделили «социальные» маркеры в ассоциациях с запахами. Так, запах пыли, чернил, плесени наводит на мысль о связи образа с миром бюрократии, запах крови и солдатских сапог говорит о связи политика с военной профессией. Есть запахи, прямо свидетельствующие о бедности и богатстве. Например, в одном из наших первых исследований один политик ассоциировался с запахом дорогих сигар, коньяка и салями, а другой — с запахом дешевой вареной колбасы.

Все эти параметры дают возможность в анализе образа выделить наиболее существенные аспекты, но, как показывает опыт интерпретации ассоциаций, наиболее важным является параметр маскулинности/фемининности, который оказался среди центральных параметров образа российского политика.

Таким образом, указанные исследовательские инструменты дают возможность не только получить большой объем информации относительно неосознаваемых аспектов политических образов, но и использовать ее для изучения, с одной стороны, самих политических объектов (лидеров, партий, парламента и т.п.), а с другой — состояния общества, которое оценивает эти политические объекты и реагирует на них, что чрезвычайно важно для прогноза политического поведения граждан. Как показал опыт использования указанных методов, они имеют высокий прогностический потенциал, так как позволяют отследить изменения в настроениях общества задолго до того, как эти настроения кристаллизуются в форме общественного мнения.

Примечания

¹ Наши наблюдения показывают, что российские граждане в понятие власти включают не только представителей исполнительной или законодательной власти (при этом начисто игнорируя власть судебную). Они, например, с трудом различают власть и оппозицию. Для них «власть» — это все, кто там — «наверху».

² Этот феномен в отношении Жириновского был зафиксирован и другими исследователями, например в ряде экзитполов, когда число реально голосовавших за него было значительно выше, чем число тех, кто на выходе с участка признался в этом, отвечая на вопросы социологов.. Это говорит о том, что здесь мы сталкиваемся с несовпадением вербальных установок и реального политического поведения, которое обусловлено стремлением граждан подстроиться под социально одобряемые нормы политического поведения.

³ В интерпретации цвета мы во многом основывались на трактовках, подчерпнутых из книги: *Бреслав Г. Э.* Цветопсихология и цветолечение. СПб.: Б&Л, 2000.

Литература

Бокова Н. Б. Политико-психологический анализ образа России в массовом сознании граждан КНР: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2011.

Букреева О. В. Сравнительный анализ рационального и бессознательного компонентов образов власти в современной России: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2013.

Виноградова Н. С. Политико-психологический анализ образа России в англо-американских СМИ (исследование 2008–2009 гг.): Дис. ... канд. полит. наук. М., 2010.

Жестков М. И. Политико-психологический анализ содержания образов власти в современной России: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2013.

Киктева Е. А. Особенности формирования негативного образа регионального политического лидера. Политико-психологический анализ: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2003.

Мельникова О. Т. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач // Введение в практическую социальную психологию. М., 1996.

Нестерова С. В. Политико-психологический анализ восприятия российских политических лидеров (1996–1999 гг.): Дис. ... канд. полит. наук. М., 2001.

Пищева Т. Н. Восприятие кандидатов в президенты: коммуникативные аспекты избирательных кампаний 1996, 2000 и 2004 годов: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2006.

Преснякова Л. А. Влияние авторитарного синдрома на индивидуальное восприятие политической власти в России, 1990-е годы: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2001.

Психология политического восприятия в современной России / Под ред. Е. Б. Шестоपाल. М.: РОССПЭН, 2012.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА: ПОГРАНИЧЬЕ ВЗАИМНОСТИ

Смирнова А. Г. Образ государства как фактор принятия внешнеполитических решений: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2004.

Суслина М. В. Роль семьи в формировании образа политической власти: политико-психологический анализ: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2008.

Фаломеева О., Цехоня О. Проективные методы в исследовании потребительского поведения // Вестник МГУ. 1996. Сер. 14. Психология.

Фаломеева Т. В., Бартенева О. М. Опыт применения проективной методики «Психологический рисунок» в исследовании социальных объектов // Вестник Моск. ун-та. 2000. Сер. 14. Психология. № 2.

Филистович Е. С. Психологические аспекты российского парламентаризма: анализ личностных особенностей депутатов партийных фракций Государственной Думы РФ V созыва; Дис. ... канд. полит. наук. М., 2010.

Цой С. П. Трансформация образа московской власти в поздне-советский и постсоветский периоды (с 1987 по 2003 г.): Дис. ... канд. полит. наук. М., 2004.

Шелекасова Н. П. Неосознаваемые аспекты образа политика в массовом сознании (на материалах исследований региональных избирательных кампаний 2001 и 2003 гг.): Дис. ... канд. полит. наук. М., 2006.

Шестопап Е. Б. Четверть века политических реформ в России с точки зрения психологии // Полис. 2015. № 1. С. 136–150.

Шестопап Е. Б., Новикова-Грунд М. В. Восприятие образов 12 ведущих политиков России (психологический и лингвистический анализ) // Полис. 1996. № 5. С. 168–191.

Шестопап Е. Образы власти в постсоветской России. М.: РОССПЭН, 2004.

Шестопап Е. Образы российской власти: от Ельцина до Путина. М.: РОССПЭН, 2008.

Шестопап Е. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы восприятия // Полис. 2013. № 3. С. 47–57.

Шестопап Е. Психологический анализ политического восприятия. Концептуальная модель. Гл. 1 // Психология политического восприятия в современной России / Под ред. Е. Б. Шестопап. М.: РОССПЭН, 2012.

Fiske S., Neuberg S. N. A continuum of impression formation, from category-based to individuating processes: Influences of information and motivation on attention and interpretation // *Advances in Experimental Social Psychology* / Ed. by M. P. Zanna. N.Y.: Academic Press, 1990. Vol. 23. P. 1–74.

Granberg D., Kasmer J., Nanneman T. An Empirical Examination of Two Theories of Political Perception // *Political Research Quarterly*. 1988. Vol. 41. No 1. P. 29–46.

Kavanagh D. Political Science and Political Behaviour. L., 1983. P. 183.

Kristensen N. N. Perceptions of Power and Democracy: Analytical and Methodological Dilemmas of the Construction of Images // *Qualitative Studies*. 2010. Vol. 1. No 1. P. 21–27.

Wood J. Asymmetric Partisan Biases in Perceptions of Political Parties // The 65th Annual National Conference of the Midwest Political Science Association. Chicago, Illinois. 2007. P. 5.

2

КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС О СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ

2.1. Национальное государство в условиях глобализации

В процессе формирования глобально-информационного общества и трансформации существующей системы международных отношений важной и актуальной задачей становится определение места и роли национального государства в этом процессе, его исторических перспектив.

В западной политической науке можно выделить два направления, укрупненно отражающих основные подходы к изучению данной проблемы. Представители *политического реализма* Х. Булл, Р. Гилпин, Г. Моргентхау, К. Уолц и др.¹ считают государство главным актором на мировой политической арене, хотя при этом признают важность и других «игроков», таких как Всемирный банк и МВФ. Сторонники *либерального интернационализма*, такие как Р. Кохэн, Дж. Най, Дж. Розенау, В. Хантли², высказываются за создание некоего органа международного управления, наделенного соответствующими властными полномочиями и организованного по типу либо мировой федерации (или конфедерации), предполагающей наличие мирового правительства, облеченного наднациональной властью, либо децентрализованной и плюралистической системы международного управления в традициях функционализма³.

В российских гуманитарных науках, в том числе и в политологии, в ряде статей и монографий анализируются отдельные аспекты рассматриваемой проблемы⁴. Однако они не дают окончательного ответа на вопрос о значении национального государства в период формирования глобально-информационного общества и перспективах его даль-

нейшего развития. Не претендуя на исчерпывающее освещение всех аспектов указанной темы, определенный вклад в ее исследование призвана внести данная статья.

Анализ развития глобализации мирового сообщества показывает возрастание роли ТНК. В начале XXI в. в мире действовало 64 тыс. ТНК, контролирующих 830 тыс. иностранных филиалов. Материнские компании расположены главным образом в развитых странах (50,2 тыс.), а большее число филиалов приходится на развивающиеся страны (495 тыс.). На предприятиях ТНК работают 73 млн человек (10% всех занятых в несельскохозяйственном производстве), которые ежегодно производят продукции более чем на 1 трлн долл. С учетом различной инфраструктуры и смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн человек.

Около половины мирового промышленного производства и свыше $\frac{2}{3}$ внешней торговли приходится на ТНК. Они контролируют примерно 80% патентов и лицензий на изобретения, новые технологии и ноу-хау. До половины экспортных операций США осуществляется американскими и зарубежными ТНК, в Великобритании аналогичные операции осуществляют до 80% ТНК, в Сингапуре — до 90%⁵.

Все это позволяет утверждать, что движущей силой глобализации выступают транснациональные корпорации и банки. Под мощным воздействием глобальной экономики и глобальной политики начинает размываться автономность национального государства, его самодостаточность и способность выполнять ряд важных функций. Так, по мнению Дж. Фридмана, «по мере того, как экономика становится все более взаимозависимой на глобальном уровне, тем меньше местные и региональные власти могут с помощью существующих механизмов решить проблемы повседневной жизни своих граждан. Традиционные структуры социального и политического контроля, используемые властями для решения проблем развития, создания рабочих мест и распределения создаваемого богатства, разрушаются под влиянием интернационализации экономики и потоков обмена информацией между мощными акторами, чья деятельность находится вне сферы регулирования государства»⁶. Сторонники гиперглобализма полагают, что в условиях формирования единого мирового экономического пространства государства-нации вообще будут не нужны: они «станут неестественными и даже невозможными коммерческими единицами мировой экономики»⁷.

Действительно, глобализация сопровождается снижением возможности национальных элит контролировать национальные экономики,

а также отчасти сферы политики и культуры. Постепенное смещение центра принятия решений с национального на наднациональный уровень ослабляет степень влияния на принятие решений общегосударственного масштаба как рядовых граждан, так и сформировавшихся групп давления (интересов). Иначе говоря, в условиях глобализации субъекты принятия решений становятся менее доступными, а их решения — менее понятными для общества. Необходимость предварительной тщательной проработки вопросов закономерно приводит к интенсификации контактов между национальными элитами. Проведение многочисленных саммитов и встреч на министерском уровне, форумов региональных ассоциаций и конференций негосударственных объединений стимулирует формирование взаимозависимых элит. Образуется отчетливо осознающая свою автономность транснациональная элита, слабо подотчетная национальным электоратам, а значит, процессы глобализации усиливают политическую власть элит.

В то же время способность политических элит контролировать национальные электораты снижается. Принимаемые на наднациональном уровне решения нередко стимулируют проведение политики, которая входит в противоречие с интересами национальных электоратов. Отсюда — недоверие и подозрительность последних по отношению к своим элитам, которые становятся объектом критики со стороны национальных движений. Опосредованным эффектом процессов глобализации является возвращение элит в состояние неопределенности и высоких рисков, считавшееся нормой в историческом прошлом.

Принятие решений на мировой арене все больше зависит от весьма жестких рамок, которые устанавливают различные наднациональные структуры (например, Мировой валютный фонд, Всемирный банк). Многочисленные международные организации, а также транснациональные промышленные и финансовые корпорации постепенно формируют весьма влиятельную систему наднационального правления, с которой национальным государствам приходится считаться. Происходит своего рода «передислокация» власти, усиление так называемой субполитики, которая действует «вне парламентской системы, не в оппозиции к ней, а просто ее игнорируя»⁸. Роль национальных правительств в ряде важных вопросов становится все более ограниченной и формальной, а традиционные механизмы регулирования общественной жизни оказываются неэффективными.

В то же время во многих странах мирового сообщества (например, в Ирландии, Палестине, Ираке, Афганистане, Индии, Испании, Италии, Бельгии, Великобритании, Канаде, США, России) значительно

усилились этнические конфликты, которые становятся глобальными. Для многих людей в наши дни общенациональная и цивилизационная идентичность утрачивают свое значение, на первый план выходит этническая общность. Это приводит, как справедливо отмечает В. Дресслер-Холохан, к отторжению от «общей» национальной культуры и ее ценностей, а в конечном счете к сегментации общества⁹. Уже в середине 1990-х годов около 90% европейцев отметили, что идентифицируют себя прежде всего со своей национально-этнической общностью и со своим регионом¹⁰.

С. Хантингтон в одной из последних своих работ утверждал, что постоянный приток иммигрантов из Латинской Америки грозит разделением США на два народа, две культуры и два языка¹¹.

Этнический «раскол» угрожает и Европе, так как наряду с сокращением коренного населения в европейских странах количество иммигрантов в них превысило все допустимые нормы. Иммигранты продолжают исповедовать свои религии и соблюдать свои обычаи, часто игнорируя законы и традиции страны проживания. Это усиливает социальную напряженность в Великобритании, Франции, Германии, Италии и других западных обществах, порождает межнациональные и конфессиональные конфликты.

На наш взгляд, возрастание этнической сегментации общества свидетельствует не только о подрыве основ национального государства, но и о попытке перехода его в другое качество. Приобретая ярко выраженный этнический характер, национальное государство будет стремиться сплотить государствообразующую нацию и таким образом противодействовать негативным для себя последствиям глобализации.

Несмотря на распространение в последние десятилетия демократических режимов правления в разных регионах мира и формальное признание демократических ценностей на всех континентах, усиливается недовольство граждан многих государств тем, как функционирует демократическая система, растет недоверие к механизмам и институтам демократии. Скепсис и разочарование по поводу демократии приобретает глобальный характер. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего социологического исследования, проведенного, например, в 2006 г. в 68 странах мира¹² [см.: Voice of the People, 2006]. Отчасти это вызвано проблемами, которые встают перед «новыми демократиями» в развивающихся странах, где сложный период их становления часто сопровождается откатами к авторитаризму.

Кризис демократии проходит также в странах Запада, где она имеет давние и прочные традиции. В 2000-х годах только 43% граждан США

и Канады против 52% сочли, что правление их страной действительно является демократическим, т.е. соответствует воле народа. В странах Евросоюза — 33% против 61%¹³ [Voice of the People, 2002; Voice of the People, 2006; Dulto, 2004]. Граждане этих стран критикуют «закрытость» власти, отсутствие эффективных каналов «обратной связи» между государством и обществом.

Все это заставляет граждан искать новые формы общественного управления, позволяющие реально учитывать их мнение в решении важнейших общественных проблем. Вот почему возрастает интерес социально активных граждан к институтам и структурам гражданского общества, которые помогают в практической реализации их гражданских прав и защищают от негативных действий правящей бюрократии.

Становится все более ограниченным контроль современного государства и над собственной территорией за счет экономического, военного, политического и информационного проникновения других государств (прежде всего мировых и региональных сверхдержав), развития интеграционных процессов и образования различного рода межгосударственных объединений и блоков. Усиливается подчинение государств интересам ТНК и других транснациональных организаций, которые также располагают средствами контроля над территорией (например, правом на использование недр, ресурсов морского шельфа и пр.). Это очень важный момент, связанный как с глобализацией, так и со снижением способности государства конкурировать, выполнять свои функции на надлежащем уровне¹⁴.

По мере нарастания глобализации все большая часть государственного суверенитета перераспределяется между локальными, региональными и всемирными регулирующими институтами по принципу субсидиарности, согласно которому властные полномочия национальных государств делегируются на тот институциональный уровень — надгосударственный либо субгосударственный (региональный, муниципальный), — на котором данная конкретная общественная потребность удовлетворяется наилучшим образом¹⁵.

На современном этапе общественного развития в национальных государствах наблюдается «раскол» политического истеблишмента и деловых кругов на космополитизированные и национально-ориентированные группировки, которые совершенно по-разному понимают общенациональные интересы и оценивают их значимость. Причем этот раскол происходит и на Западе, и на Востоке. «Космополиты» правящей элиты полагают, что политика, определяемая императивами глобализации, — единственно верный способ достижения прогресса,

а не просто неизбежное и не всегда приятное условие существования национальных государств в современном мире. Недовольство такой политикой расценивается исключительно как проявление узости и коsnости сознания «рядового» человека. Новый космополитичный правящий слой, который С. Хантингтон называл «мертвыми душами»¹⁶, все больше утрачивает национальную идентичность и связь со своей национальной почвой.

В то же время во многом справедливо суждение о том, что передачу государством части своих функций на субнациональный уровень можно расценивать не как его слабость, а наоборот, как проявление силы, точного расчета. По линии «национальное государство — суверенитет — глобализация» образовалось фундаментальное противоречие ввиду того, что эти явления находятся в определенном антагонизме из-за разнонаправленности определяющих их суть процессов, векторов развития — центробежных и центростремительных начал. Нивелирование указанного противоречия, с одной стороны, возможно через появление новых форм публично-властной организации современного общества, а с другой — через выстраивание глобальной иерархии государств (в последнем случае может произойти своеобразное «перетекание» суверенитета от одних субъектов к другим)¹⁷.

По нашему мнению, сегодня потенциал национальных государств еще не исчерпан. Национальные государства активизировали свою деятельность на мировом рынке. Усилилась роль их правительств в выработке совместной стратегии регулирования мирового рынка, особенно отдельных его сфер. Это связано с тем, что даже самые могущественные ТНК не в состоянии регулировать стихийные процессы мирового рынка и вынуждены прибегать к помощи государств. Благодаря научно-техническому процессу появились новые средства согласования решений¹⁸.

Особенно заметны действия правительств и центральных банков национальных государств по координации валютно-кредитной и общеэкономической политики в период возникновения критических ситуаций на мировом рынке. Так, во время кризиса 2008 г. Программа антикризисных мер Правительства РФ затрагивала все сферы социально-экономической жизни общества: социальную поддержку населения, обеспечение макроэкономической стабильности, поддержку системообразующих предприятий, создание условий для макроэкономического развития в новых условиях. Особое значение придавалось нормализации функционирования финансового сектора, в первую очередь банковской системы и фондового рынка. Денежная политика предусматривала поддержание равновесного курса рубля, повышение

ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции.

Определенная координация глобализационного процесса осуществляется такими влиятельными, общепризнанными международными организациями, как ООН, ВТО, МВФ, группа Всемирного банка, Лондонским и Парижским клубами кредиторов, региональными интеграционными объединениями, «Большой семеркой», «Группой 20».

В то же время основную нагрузку в борьбе с терроризмом несут национальные государства. Например, ими созданы и активно действуют в борьбе с терроризмом такие организации, как Контртеррористический комитет СБ ООН и Антитеррористический центр СНГ. Именно ведущими государствами мира после 11 сентября 2001 г. была сформирована контртеррористическая коалиция. Россия тогда выступила с инициативой создания Глобальной системы противодействия современным угрозам и вызовам.

В настоящее время наднациональные структуры не способны в одиночку, без активного участия национальных государств решать стоящие перед человечеством глобальные проблемы разоружения, предотвращения новой мировой войны, экологии, демографии, энергетики, сырьевых ресурсов, обеспечения человечества необходимыми продовольственными ресурсами, борьбы с терроризмом, с мировыми экономическими кризисами. Это заставляет национальные государства укреплять свои внутренние основы, гибко чередовать демократические и авторитарные методы управления для решения наиболее важных общественных проблем. Так, например, США для борьбы с терроризмом не остановились перед ограничением некоторых демократических свобод. Кроме того, укрепление национального государства является для правящих национальных элит средством удовлетворения своего экономического интереса, использования идеи нации для извлечения определенной прибыли из трудно контролируемых процессов глобализации.

Обеспечить устойчивое развитие национальных государств в условиях развития процесса глобализации и перехода всего человечества к глобально-информационному обществу возможно только при существенной трансформации всей системы государственного управления. Отсюда особую важность и актуальность приобретает правильный выбор модели реформирования национального государственного управления в новых исторических условиях.

Проявлявшаяся с 80-х годов XX в. общемировая тенденция, ослабления роли национального государства путем передачи его функций либо на надгосударственный, общеевропейский уровень, либо на более

низкий (с агентств, независимых от правительства, до уровня муниципалитетов), после мирового финансово-экономического кризиса начала XXI в. сменилась на тенденцию «возвращения государства». Так, в США (как и в России) усилился государственный аппарат, повысилось влияние государственной администрации на финансовые потоки и структуры.

Однако многие современные исследователи видят решение проблемы реформирования национального государства в условиях бурного развития глобальных мировых процессов не только в отказе от командно-императивных методов государственного управления, но и в превращении координационной функции государства в парадигму всей его деятельности¹⁹.

В чем сущностные черты координационного подхода в государственном управлении?

1. Государство перестает просто владеть собственностью и в этом смысле перестает быть непосредственным агентом действия, а берет на себя роль «трансформатора», т.е. координирует, регулирует экономические отношения, оказывает одним помощь, сдерживая монополизм других, повышая тем самым конкурентоспособность экономики в целом.
2. Среди управленческих функций государства центральной становится функция координации как во внешней среде, по отношению к объектам государственного регулирования, так и во внутренней среде, в системе управленческих отношений по их вертикали и горизонтали.
3. Координация, регулирование, т.е. реализация трансформативных способностей государства, не может не включать когнитивного (соединяющего) компонента. Важнейшими элементами коммуникации становятся контакты, культура, знание, взаимное доверие и взаимная ответственность участников общественных процессов.

В связи с возрастанием значения информационно-сетевых факторов в жизни современного общества повышается роль сетевой координации, которая основывается скорее на лидерстве, чем на формальном руководстве и управлении²⁰. Переход к более гибкому сетевому управлению потребует новых стилей лидерства, полностью чуждых менеджеру-бюрократу. А. Бард и Я. Зодерквист полагают, что в глобально-информационном обществе иерархия власти будет выстраиваться на основе членства в тех или иных сетях во главе с лидерами — кураторами сетей, которые станут не только координировать всю сетевую деятель-

ность, но сосредоточат в своих руках всю полноту власти и влияния. В определении статуса этих лидеров главными будут не деньги и титулы, а знания, контакты, кругозор и другие подобные качества, которые повышают статус сети и делают ее еще более могущественной и конкурентоспособной²¹.

При изменении функций государственного управления в новую эпоху необходимо дать ответ на следующие вопросы. Оставляет ли государство в случае, если функция координации становится основной в его деятельности, за собой основные властные рычаги государственного управления, или они переходят к другим акторам? Если не оставляет, то на каком основании другие акторы современного политического процесса должны признавать за таким государством координирующую роль всех общественных процессов и основного носителя общественных ценностей? На основе взаимного доверия и ответственности? Но это слишком хрупкий фундамент для сколько-нибудь устойчивых договоренностей в реальной политике. Превращение координации в главную функцию государственного управления сможет реализоваться на практике, если основные политические мировые игроки (государство — элиты — гражданское общество) в течение длительного времени будут решать все проблемы переговорным путем. Тогда «доверие и ответственность» станут устойчивой, всеми признаваемой традицией. Но это скорее идеал!

Более вероятен другой вариант: превращение национального государства в координатора, а не управляющего всеми социальными процессами. Лишенное властных рычагов, оно станет играть в странах мирового сообщества такую же роль, как ООН в международных отношениях: будет координировать, а управлять станут другие политические игроки, симбиоз верхушки политических и бизнес-элит — корпоративные элиты, которые станут определять координационную политику нового государства в своих интересах. В этом случае активность гражданского общества будет подавляться корпоративными элитами, использующими для реализации своих целей государство-координатора, являющегося во многом новым изданием старой концепции минимизации государства, «государства — ночного сторожа».

При всех вариантах изменения роли и функций национального государства в современном мире нельзя забывать, что государство — это особый исторически сложившийся политический институт, который в отличие от других институтов характеризуется:

- наличием особой группы людей, осуществляющей верховную власть, делегированную ей большинством общества, и выполняющей функции управления общими делами;

- монополией на принуждение в отношении своих граждан в интересах всего общества;
- правом от имени общества осуществлять внутреннюю и внешнюю политику;
- исключительным правом издания законов и правил, обязательных для всего населения в пределах данной территории, а также правом взимания налогов для собственного содержания и других общественных нужд.

Отказ от этих функций выхолостит сущность института государства и превратит его в никчемную структуру.

Сегодня в мире нет экономики, которая бы в той или иной степени не управлялась государством. Везде, где страна осуществляла быстрый рывок в экономическом развитии, государство не было нейтральным, а оказывало существенное воздействие на технический и экономический прогресс. Наличие в большинстве развитых стран мирового сообщества значительного государственного сектора экономики — факт, говорящий сам за себя. Продолжают играть важнейшую роль социальные функции государства, что придает ему легитимность в глазах большинства граждан. Почти половина населения в ряде стран Западной Европы получает первичные доходы или часть их от государства за счет занятости в общественном секторе либо благодаря выплатам пенсий и пособий из фондов социального страхования.

В эпоху современного научно-технического процесса неизмеримо велика роль государства в области информации. Информационная функция государства стала одной из ведущих. Ее содержание многопланово. Это деятельность информационно-пропагандистская и информационно-управленческая, информационно-производственная и информационно-культурная.

Сегодня государство немислимо без институтов, обеспечивающих общие права человека и систему главнейших социально-политических и правовых ценностей, а также единого языка (или нескольких общих языков) как средства общения. Политическое сообщество людей возможно при наличии единого экономического и культурного пространства. Наконец, любое государство существует не в социальном вакууме, а в рамках мирового сообщества, что определяет его признаки в качестве субъекта этого сообщества.

Анализ развития современной ситуации показывает, что минимизация роли государства осуществляется прежде всего в интересах корпоративных элит, а не гражданского общества, которое сегодня не имеет столько ресурсов и влияния, как корпоративные элиты. Совершенно

справедливо Л. Сморгунув осторожно подходит к проблеме кризиса суверенитета национального государства, полагая, что «остается открытым вопрос, действительно ли государство теряет значение основного политического актора в глобальном мире или происходит модификация суверенитета, и государство продолжается и, что главное, будет продолжать играть основную роль в мировом порядке»²².

Вот почему так важно установить устойчивый баланс в триаде государство — гражданское общество — элиты, как в главных субъектах современного мирового политического процесса (систему сдержек и противовесов), что не даст возможности отказаться от демократического государственного управления и развития мирового политического процесса на демократической основе. Примером здесь может служить предложение о создании в докладе Группы де Ларозьера на уровне ЕС наднациональной структуры — Европейской системы финансового наблюдения, призванной наладить систематический контроль над финансовыми структурами, сохраняя нейтралитет по отношению к национальным органам государственного управления²³.

Роль, положение и сила национальных государств в будущем будут определяться характером их реакции на вызовы глобализации, реальной готовностью к адекватному ответу и способностью мобилизовать необходимые ресурсы для решения глобальных проблем современности. По словам И. Лукашука, особенность названных проблем заключается в том, что они могут быть решены лишь совместными усилиями государств, но для этого «необходим более высокий уровень управления социальными процессами как на национальном, так и на глобальном уровне»²⁴. В управленческих услугах государства будут нуждаться до тех пор, пока затраты общества на них окупаемы, разумны и соразмерны с ожидаемой продуктивностью. Э. Геллнер считает, что отказ от идеи национального государства маловероятен, а проблемы коммуникации будут сглаживаться даже при различии языков, так как высококоразвитый индустриализм порождает глобальную культуру со взаимопонимаемыми смыслами²⁵.

Создание полностью унифицированной системы глобального порядка не представляется возможным в ближайшие десятилетия. Хотя этому будет способствовать дальнейшее сближение правовых систем, что связано с колоссальным многовековым влиянием национальных культур, религий и ценностей на формирование конкретных мегасоциумов и общественных укладов. Не исключено, что процесс тотальной унификации будет остановлен стремлением человечества сохранить конкурентные начала цивилизации в качестве источника прогресса

и развития, эффективного использования «энергии» конфликта и соревновательного потенциала разных систем. Уже сейчас можно наблюдать всплеск противоречий между ценностями западного мира, рожденными в лоне европейской модели цивилизации, и традиционными ценностями мусульманского, конфуцианского и прочих миров. Это глобальный спор между ведущими цивилизациями мира не только по поводу наилучшей модели организации общества, но и относительно сохранения своего права исторической национально-государственной субъектности.

В целом процесс трансформации национального государства в условиях глобализации идет противоречиво. Наряду с наличием явных признаков его ослабления национальное государство в настоящее время имеет значительный потенциал, чтобы претендовать на роль одного из основных акторов глобально-информационного общества. В обозримом будущем оно сохранит свое доминирующее институциональное положение в мировом политическом процессе. Однако для этого сегодня ему необходимо отказаться от излишней регламентации общественной деятельности на своей территории, перераспределить часть своих управленческих функций в пользу структур гражданского общества, делегировать некоторые из них новым наднациональным организациям, имеющим всеми признанный авторитет на международной арене, если последние будут использовать их на благо всего человечества. Объем функций, которые национальное государство станет передавать транснациональным организациям и структурам гражданского общества в условиях глобализации, будет определяться способностью и возможностью последних брать их на себя, изменив тем самым исторически сложившуюся его роль как главного института общественного управления.

Примечания

¹ Булл Х. Теория международных отношений: пример классического подхода // Теория международных отношений: хрестоматия / Х. Булл; сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. М.: Гардарики, 2002; *Gilpin R. A realist perspective on international governance // Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance / D. Held, A. McGrew (eds). Polity Press, 2002; Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. 2nd ed. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1955; Waltz K. Man, the State and War: A Theoretical Analysis. N.Y.: Columbia University Press, 1959.*

² Най Дж. С., Кохэн Р. О. Транснациональные отношения и мировая политика // Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П. А. Цыганкова. М., 2002; *Rosenau J. Globalization, Security, and the*

Nation State. Paradigms in transition / Ed. by E. Aydinli and J. N. Rosenau. Published by State University of New York Press, Albany, 2005; *Huntley W.* Kant's Third Image: Systematic Sources of the Liberal Peace // *International Studies Quarterly*. March 1996. Vol. 40. Number 1.

³ О данных направлениях подробнее см.: *McGrew A.* Liberal internationalism: between realism and cosmopolitanism // *Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance* / D. Held, A. McGrew (eds). Polity Press, 2002; *Барabanов О. Н.* Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы // *Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика*. 2009. № 2 (24).

⁴ *Баграмов Э. А.* Национальная проблематика: в поисках новых концептуальных подходов // *Вопросы философии*. 2010. № 2; *Беспалов М. В.* Национальное государство как субъект глобализации в условиях трансформации социально-экономической системы. Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. Тамбов, 2006; *Блинов А.* Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: МАКС Пресс, 2003; *Дробижьева Л. М.* Возможность либерального этнонационализма // *Реальность этнических мифов* / Под ред. А. Малащенко и М. Б. Олкотт; Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2000. Аналитическая серия. Вып. 3; *Ильин М. В.* Новая жизнь традиционных укладов // *Мегатренды мирового развития* / Отв. ред. М. В. Ильин, В. Л. Иноземцев; Центр исследований постиндустриального общества. М.: Экономика, 2001; *Ильин М. В.* Стабилизация развития // *Мегатренды мирового развития* / Отв. ред. М. В. Ильин, В. Л. Иноземцев; Центр исследований постиндустриального общества. М.: Экономика, 2001; *Ильин М. В.* Россия и вызовы XXI века // Доклад на пленарном заседании II Всероссийского конгресса политологов «Россия. Политические вызовы XXI века». Москва, 21 апреля 2000 г.; *Кортунов С. В.* Национальные интересы России в мире. М.: Аспект Пресс, 2009; *Лукашук И. И.* Взаимодействие международного и внутрисударственного права в условиях глобализации // *Журнал российского права*. 2002. № 3; *Салмин А. М.* Новая система мира. Belle еpoque возвращается? // *НГ-Сценарии*. 2001. 10 июня.

⁵ См.: *Кочетков А. П.* Корпоративные элиты. М.: РОССПЭН, 2012. С. 53, 54.

⁶ *Friedmann J.* Where We Stand: A Decade of World City Research // *World Cities in a World World-system* / Ed. by P. Knox, P. Taylor. N.Y., 1995. P. 95.

⁷ *Хелд Д.* и др. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. М.: Праксис, 2004. С. 3.

⁸ *Beck U.* Risk Society: Towards a New Modernity. L.: Sage, 1992. P. 223. См. Также: *Beck U.* World Risk Society as Cosmopolitan Society? // *Theory, Culture and Society*. 1996. No 13.

⁹ *Дресслер-Холохан В.* Национальные движения, интернационализация протеста, идеология и утопия // *Этничность. Национальные движения. Социальная практика*. СПб., 1995. С. 26–50.

¹⁰ *Костина А. В.* Этнокультурный ренессанс начала XXI века // *Культура на рубеже XX–XXI веков: Глобализационные процессы*. М., 2005. С. 125.

¹¹ *Huntington S.* Who we are? The Challenges to America's National Identity. New Delhi, 2004.

¹² См.: Voice of the People. What the World Thinks on Today's Global Issues. A Gallup International Survey, 2006.

¹³ Voice of the People. What the World Thinks on Today's Global Issues. A Gallup International Survey, 2002; Voice of the People. What the World Thinks on Today's Global Issues. A Gallup International Survey, 2006; *Dulto K.* Democratic Challenges — Democratic Choices. The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies. Oxford; N.Y., 2004.

¹⁴ *Блинов А.* Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: МАКС Пресс, 2003. С. 84.

¹⁵ *Шишков Ю.* Внешнеэкономические связи в XX в. — от упадка к глобализации // Международная экономика и международные отношения. 2001. № 8.

¹⁶ *Huntington S.* Who we are? The Challenges to America's National Identity. New Delhi, 2004. P. 9.

¹⁷ *Блинов А.* Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: МАКС Пресс, 2003. С. 84–85.

¹⁸ *Нечай А.* Глобализация мировой экономики и роль государства // Журнал международного права и международных отношений. 2010. № 4.

¹⁹ См. напр.: Varieties of Capitalism — The Institutional Foundations of Comparative Advantages // Ed. by P. Hall, D. Soskic. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; *O'Flynn J.* From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications // The Australian Journal of Public Administration. 2007. Vol. 66; *Меркулов В. М.* Координация в политике и управлении // Государственная политика и управление: В 2 ч. Ч. 2: Уровни, технологии и зарубежный опыт государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007.

²⁰ *Сморгунов Л. В.* В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного управления в XXI веке. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2012. С. 68.

²¹ *Бард А., Зюдерквист Я.* Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004.

²² *Сморгунова Л. В.* В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного управления в XXI веке. С. 333.

²³ *Клинова М.* «Возвращение» государства: «скорая помощь» в кризисе или устойчивая тенденция? // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 5. С. 22.

²⁴ *Лукашук И. И.* Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк, 2000. С. 232.

²⁵ *Геллнер Э.* Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М.: Ad Marginem, 1995; *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. / Пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. М.: Практикс, 2002.

2.2. Государство XXI века: пределы эффективности

Сегодня становится все более очевидным, что мироустройство, возникшее после «второго глобального передела» и закрепленное в 1945 г. в Ялте и Потсдаме лидерами «Большой тройки» — СССР, США и Великобритании, — исчерпало себя. Начало его деградации было положено в 1990 г. — с распадом СССР, Югославии, Чехословакии. С 2003 г. не прекращается гражданская война в Ираке. В 2008 г. Грузия утрачивает контроль над Абхазией и Южной Осетией. «Арабская весна» начала 2010-х завершилась гражданской войной и упадком целого ряда государств на севере Африки. В 2014 г. Украина утрачивает контроль над частью своей территории, под вопросом ее территориальная целостность.

Можно объяснять эту череду драматических событий внешним вмешательством, но лишь будучи помноженными на внутренние слабости, внешние факторы способны привести к летальному для государства исходу. Об этом, в частности, наглядно свидетельствует пример Советского Союза: устояв под натиском прямой внешней агрессии во Второй мировой войне, он неожиданно обрушился в куда менее неблагоприятных для него внешних условиях в конце 1980-х. Даже З. Бжезинский, — авторитетный на Западе аналитик, превосходно осведомленный о положении дел в нашей стране, — при всей своей идеологической предвзятости, всего за два года до беловежского соглашения считал распад СССР наименее вероятным сценарием завершения «перестройки»¹. Кто сегодня поручится, что через какое-то время внешняя устойчивость западных политических конструкций окажется менее иллюзорной? Ведь призрак сепаратизма бродит уже по благополучной Европе и дает о себе знать даже в США.

Проблема неустойчивости современных государств напрямую связана с их неспособностью эффективно отвечать на вызовы времени. Не случайно за последнюю четверть века появилось столько работ, авторы которых скептически оценивают перспективы национального государства. Ученые разных стран уже давно обеспокоены судьбой либеральных ценностей, демократических идеалов, западной цивилизации в целом², занимающей пока господствующее положение в мире. «Мы не знаем, какой тип исторической системы придет на смену ныне существующему, — считает, например, известный американский социолог И. Валлерстайн. — Но мы наверняка знаем, что та своеобразная система, современниками которой мы являемся, система, в которой государства играли ключевую роль в обеспечении безграничного на-

копления капитала, не способна более функционировать»³. В новых условиях, рассуждает он, государство не может обеспечить выполнение своего предназначения по поддержке капиталистического уклада, или «современной миросистемы».

Мировой экономический и финансовый кризис, которым «отметилось» второе тысячелетие нашей эры и который, по всей видимости, еще не сказал своего последнего слова, дал еще один серьезный повод усомниться в способности современного человечества обеспечить контроль над финансовыми и экономическими процессами.

Можно не соглашаться с И. Валлерстайном и некоторыми из его доводов, но XXI столетие действительно несет несомненные вызовы государству, по крайней мере в его современном виде. Необходимо констатировать, что одной из примет последних десятилетий стала всеобщая неудовлетворенность существующими системами государственного управления, свидетельствующая о снижении его эффективности. К числу главных его причин следует отнести глобализацию, кардинальный рост степени разнообразия общественных систем, конфликт цивилизаций, кризис идентичности, информационное отчуждение.

Начавшийся в 2008 г. экономический кризис, названный «великой рецессией», обнажил *одно из ключевых противоречий современного мира: между государственным суверенитетом и глобальными масштабами современных проблем*. Сформировавшаяся в настоящее время глобальная экономика принципиально отличается от существовавшей фактически с XVI–XVII вв. мировой экономики. Сегодня около половины мирового промышленного производства и две трети внешней торговли приходится на долю транснациональных корпораций. Это с неизбежностью все более ограничивает способность современных государств влиять на экономику, их суверенитет и эффективность поставлены под вопрос.

Опыт Великой депрессии 30-х годов XX столетия, затронувшей все развитые страны, выявил два механизма, способных остановить деградацию мировой экономики в подобных условиях: государственное регулирование и большая война.

Очевидно, что **второй путь** был бы сегодня для человечества не менее губителен, чем полная остановка производства. Казалось бы, с развалом СССР и возникновением однополярного мира устранен к тому же один из главных источников международных конфликтов. Но с каждым годом человечество все больше втягивается в новые противостояния. Причина известна: истощение природных ресурсов. Мир вступил в новую эпоху борьбы, целью которой является завоевание группой стран и крупнейших компаний контроля над источника-

ми энергии, питания, пресной воды и других жизненно необходимых ресурсов. В нынешних условиях никакое национальное государство, включая наиболее развитые экономики, не способно более удовлетворять потребности своих граждан исключительно за счет внутренних ресурсов, проблема исчерпания которых приобрела глобальный характер. Естественно, что сильные государства обращают свои взоры на ресурсы более слабых, суверенитет которых оказывается под угрозой. Вероятность глобального вооруженного конфликта на этой почве представляется пока, к счастью, маловероятной, хотя мир не застрахован от случайностей. Важно, однако, что неуверенность граждан в надежности защиты со стороны собственного государства не добавляет ему устойчивости.

Первый путь, государственное регулирование экономики, как показала практика, также не даст теперь желаемого эффекта в силу ее глобализации. Сегодня она перестала быть исключительно национальной и вышла из-под контроля национальных государств. Недаром и в самые острые моменты «великой рецессии» полностью согласовать антикризисные меры не удавалось ни в рамках «Большой восьмерки», ни на заседаниях G20. Уже 2010-й год принес обострение межгосударственного конфликта вокруг валютных курсов. А теперь испытывается на прочность не только экономика, но и государственно-политическое устройство европейских государств, а также механизмы европейской интеграции.

Дело конечно же отнюдь не сводится к ресурсам и экономике. Международных усилий, скоординированных действий государств требуют сегодня глобальные экологические проблемы, последствия изменения климата, наркоторговля, терроризм, эпидемии и пандемии, усугубляющееся международное имущественное неравенство. И всякий раз эффективное решение этих проблем требует передачи части суверенитета отдельных государств международным и межгосударственным организациям, порождая противоречия и ставя под вопрос основной атрибут всякого государства. Глобальные проблемы множатся, их острота нарастает, усугубляя противоречие между глобализацией и государственным суверенитетом. Решение любой из них не под силу ни одному отдельно взятому национальному государству. Международные организации тоже демонстрируют слабую способность их решения в силу ответственности прежде всего государств перед собственными народами и их естественного нежелания поступиться интересами собственных граждан ради глобального блага.

Казалось бы, процесс глобализации ставит в повестку дня вопрос о создании мирового правительства⁴. Однако современная экономика,

сделавшая актуальным этот вопрос, одновременно поставила на пути его решения непреодолимое препятствие: *кардинальный рост степени разнообразия общественных систем, сопутствующий современному пост-индустриальному производству⁵, превращает идею мирового правительства в мираж.*

Проблему разнообразия применительно к управлению еще в середине прошлого столетия поставил один из родоначальников кибернетики У.Эшби, сформулировавший принцип необходимого разнообразия, который можно перефразировать, переведя с языка теории игр, следующим образом: чтобы иметь возможность управлять, управляющая система должна обладать не меньшей степенью разнообразия, чем управляемая⁶. История постсоветской России наглядно подтверждает действие этого принципа. На первом этапе реформ, пришедшемся на 1990-е годы, преобладали действия, имевшие непосредственным следствием усложнение общества, повышение степени его разнообразия, — экономического, политического, идеологического. В отсутствие адекватных мер по реорганизации государственного управления его эффективность резко снизилась. Проголосовав в 2000-е годы за партию чиновников, вверив свою судьбу выходцу из силовых структур, общество фактически дало им мандат на наведение порядка, что равносильно снижению степени его разнообразия.

Путь этот имеет свои пределы. В разнообразии заложен потенциал развития, и носителем его является гражданское общество. Слабость общественной самоорганизации как неизбежное следствие унификации общественной системы рано или поздно порождает ее стагнацию и становится фактором неустойчивости. Здесь коренится одна из фундаментальных причин неэффективности государственного управления в современной России.

С другой стороны, существует и фундаментальный предел повышения степени разнообразия всякой управляющей системы — так называемый «принцип хрупкости хорошего», известный в функциональном анализе как «теорема конечности», доказанная советским ученым Л. Левантовским⁷. Чем сложнее организация системы, тем более вероятна потеря ее устойчивости. Действие совокупности двух названных принципов — «необходимого разнообразия» У. Эшби и «хрупкости хорошего» Л. Левантовского — ставит эффективному управлению вполне конкретные границы.

Смысл одного из вызовов, с которыми столкнулось современное человечество, видится в том, что степень разнообразия общественных систем неумолимо возрастает, оставляя государствам все меньше ма-

невра для сохранения собственной эффективности. Перенос же центра управления на глобальный уровень, создание «мирового правительства» заведомо обречены на неудачу в силу несопоставимо более высокой степени разнообразия мирового сообщества в сравнении с любой из существующих национальных общественных систем. И уж тем более иллюзорны сегодня возможности формирование «однополярной» мировой конструкции, где управление осуществлялось бы силами одного, сколь угодно сильного, национального государства.

Единственный надежный способ решения проблемы соотношения разнообразий современным государством — упрощение управляемой системы за счет сокращения сферы его ответственности. Это возможно двумя путями:

- сегментация государственного суверенитета, тенденция которой проявляется в усиливающихся в ряде стран на фоне глобализации центробежных явлениях, в стремлении их частей к автономизации, федерализации, в сепаратизме;
- передача все большей части функций политико-государственного управления в сферу самоорганизации, структурам гражданского общества, которое со своей стороны должно быть готово взять эти функции на себя.

Развитие гражданского общества становится, таким образом, одной из главных политических задач государства, условием его эффективности и единственной альтернативой деградации и распаду. Примечательно, что сокращение государственных функций является одной из стержневых положений как либеральной, так и коммунистической идеологии⁸. Противоположности, как это часто бывает, сходятся — в данном случае в отношении направления вектора истории.

Рост социального разнообразия и его дестабилизирующего влияния усугубляется еще одним обстоятельством, являющимся следствием глобализации экономики, — взаимным проникновением различных культур. Сегодня, как верно отмечает С. Хантингтон, на смену межгосударственным столкновениям на первый план выходит конфликт между цивилизациями⁹. Многими экспертами значимость и даже само наличие этого конфликта подвергается сомнению¹⁰. Но теперь трудно уже не замечать, что принадлежащие одному ментальному основанию культуры не только служат объединению народов одной цивилизации, но и противопоставляют их носителям других цивилизационных кодов.

И дело не только в конфликте, порождаемом высокомерием представителей якобы «высших» цивилизаций, достигших в послевоен-

ные годы существенного технологического прогресса, и стремлением «мировой деревни» к реваншу. Опыт Японии, Сингапура, а теперь уже Индии и Китая показывает, сколь необоснованны притензии «золотого миллиарда» на верховенство по основанию превосходства культуры. Нет цивилизаций «высших» и «низших»: они просто разные. И это различие является существенным фактором разделения народов на «своих» и «чужих». Естественно, противостояние не может не обостряться под влиянием других глобальных факторов — по мере роста численности населения Земли и истощения природных ресурсов.

Для эффективности государственного управления важен, однако, не только и даже не столько планетарный масштаб межцивилизационного противоречия. Для эффективного отправления своих функций главная проблема современного государства заключается в том, что в условиях глобальной коммуникации становится неизбежной взаимная диффузия цивилизаций сквозь государственные границы. Теперь уже и на бытовом уровне мы можем судить о трудности выстраивания отношений между представителями разных культур.

Преобладающее направление этой диффузии определяется разностью экономических потенциалов: население естественным образом мигрирует в направлении максимальной концентрации материальных ценностей. По данным ООН, за десять последних лет второго тысячелетия общая численность мигрантов на планете выросла в среднем на 13,5% и составила около 175 млн человек, при этом в более развитых регионах — на 27,9% (около 104 млн), в том числе в Северной Америке — 48% (около 41 млн). В наименее же развитых странах число мигрантов, наоборот, сократилось на 2,6% и составило всего около 10,5 млн человек¹¹. При этом оказываются заинтересованными обе стороны: работодатель в развитых странах получает дешевую рабочую силу, мигранты из «мировой деревни» — возможность выжить и поддержать близких. Так что никакими административными мерами этот процесс не остановить. Около 3 млрд человек на планете, почти половина человечества, живет на 2 долл. в день, и мировое имущественное неравенство продолжает углубляться. Соотношение среднего дохода жителей богатейших стран мира и самых бедных возросло с 9:1 в конце XIX в. до 60:1 к концу XX в.¹².

«Столкновение цивилизаций» перемещается сегодня на территории развитых стран и превращается из внешнеполитической проблемы в проблему их государственного управления и внутренней политики. Арабские бунты, охватившие благополучную Францию во второй половине «нулевых», рост протестных выступлений мигрантов в Италии и в других странах Западной Европы свидетельствуют о том, что

европейская политика в отношении нелегальной и легальной миграции заходит в тупик. Крах политики «мультикультурализма» в Европе признан ее ведущими политиками. Традиционный образ США, еще не так давно характеризовавшийся метафорой «плавильного котла», все больше напоминает самим американским экспертам «миску салатов».

По сути дела, речь идет о кардинальном повышении степени разнообразия общественных систем, прежде всего систем современного западного типа, за счет образования новых этноконфессиональных групп, не склонных к ассимиляции. Наряду с глобализацией рынка, ростом влияния транснациональных корпораций и негосударственных организаций межцивилизационное противостояние становится существенным фактором снижения эффективности государств-наций в их сложившейся форме.

Проблемы эти не могли не затронуть и Россию. Межэтнические и межконфессиональные конфликты становятся привычными элементами отечественной повседневности. Разумеется, полиэтническая и многоконфессиональная Россия имеет перед Западом преимущество многовекового опыта сосуществования цивилизаций и толерантности славянских народов. Но для своей реализации преимущества эти требуют своего воплощения в политическом устройстве общества, в модели и практике государственного управления. Возникшему с крушением унифицированного советского строя разнообразию экономических, политических, идеологических форм, помноженному на растущее этническое и конфессиональное разнообразие, должна соответствовать модель государственного управления, отвечающая особенностям много составного общества.

Классические западные образцы, демонстрирующие снижение эффективности даже в собственных странах, для этого мало подходят. Исключение может составить разве что опыт общественных демократий, позволяющих учесть интересы и специфику различных этноконфессиональных групп¹³. Однако в европейских странах, например, тоже не являющихся моноэтническими, проблема эта не столь остра. Вряд ли можно найти еще одно государство, которое, как российское, имело бы дело с более чем ста народностями, сформировавшимися на его территории и говорящими на 240 языках. Поэтому разрушение советской модели регулирования межэтнических отношений (в частности, через верхнюю палату советского парламента, совет национальностей) и традиционных форм организации общественной жизни различных народностей выглядит поспешным, лишает общество апробированного механизма сглаживания конфликтов в этой чувствительной сфере.

Взаимпроникновение конфликтующих цивилизаций стало также одним из значимых факторов усиления кризиса национальной идентичности. Та же американская «миска салатов» представляет сегодня полиэтническое пространство, в котором присутствуют и латиноамериканцы, и выходцы из Юго-Восточной Азии, и «новые русские», живущие относительно замкнутыми общинами, хранящие стереотипы своей «прародины», с трудом говорящие по-английски и не спешащие «стать американцами». Во многих случаях этнические группы не только взаимодействуют между собой, но и оказывают влияние на государственную политику. Немало исследований посвящено этническому лобби в США¹⁴. Многие публицисты связывают активное участие Канады в антироссийских санкциях в связи с событиями на Украине с влиянием местного украинского лобби. Представляется непреложным, хотя и мало исследованным фактом лоббистская деятельность этнических диаспор в России, слабо освоенные просторы и богатые природные ресурсы которой служат объектом вождения и целенаправленной миграционной политики ряда влиятельных государств.

Проблема идентичности усугубляется влиянием других тенденций, в числе которых — лавинообразное нарастание информационных потоков и ускорение хода истории. Коренное изменение технологического уклада происходит сегодня за отрезок времени, сопоставимый со временем активной жизнедеятельности поколения. Человеку остается все меньше времени на соотнесение новых реалий с устоявшимися нравственными нормами и социальными ценностями, опыт старшего поколения все меньше согласуется с миром, в который вступает молодежь. Между тем, как верно отмечает С. П. Капица, через механизм культурного наследования «...реализуется единственный, специфический для человека способ развития человечества, ведущий к организации и самоорганизации общества»¹⁵. Ведь в сфере культуры лежат основы политического и экономического поведения человека. Разрушительное влияние резкой смены социально-технологического уклада, помноженное на попытки выбросить из «исторической памяти» народа опыт нескольких поколений «строителей коммунизма» мы наблюдаем сегодня в политической и экономической практике России.

Утрата «связи времен» и, как следствие, идентичности влечет за собой разрушение социальных связей, препятствует реализации одной из основных функций политической власти — интегрирующей. Частичная утрата национальной идентичности замещается идентичностью с группами более низкого порядка: этническими, конфессиональными, корпоративными, клановыми, местечковыми. Кризис идентично-

сти чреват разрушением социальных связей, нарушением социальной интеграции и кризисом личности¹⁶. Нарушается социально-психологический механизм национального лидерства, основанный на идентификации лидера и государства, нации, убедительно раскрытый П. Бурдьё как «тайна министерства»¹⁷. Нация утрачивает стимул к повиновению, а лидеры начинают все в большей степени обслуживать узкогрупповые интересы.

С появлением каналов практически неограниченного информационного обмена, преодолевающего государственные границы, стало возможным и целенаправленное разрушение «исторической памяти» через продвижение чуждых ей ценностей. Влиятельный американский политик и политолог Дж. Най¹⁸ апеллирует к «мягкой власти», основанной на принятии другими сторонами ценностей властвующего субъекта¹⁹, что равнозначно упрощению объекта за счет его отказа от ценностей собственной культуры. Но власть, независимо от способов ее реализации, остается, по определению самого Дж. Наея, властью, способностью «влиять на поведение других с целью достижения результатов, которые желает получить тот, кто владеет властью»²⁰.

Мировая практика последних десятилетий показывает, однако, что надежды на унификацию населяющих Землю народов наталкиваются на их нежелание жить по чужим правилам. Будучи же реализованной, унификация эта была бы равносильна снижению степени разнообразия человечества, а значит, ослаблению его адаптационных возможностей и способности к выживанию и развитию, потребность в которой возрастает от года к году. Более того, ценности иной для данного народа культуры, будучи имплантированными в его сознание, нередко вступают в противоречие с его собственными ценностями и разрушают ценностный базис, на котором, собственно, и покоится то, что делает население народом, а государство легитимным. Так стратегия «мягкой силы» (*Soft power*) в сочетании со стратегией «твердой силы» (*Hard power*) получает завершение в доктрине «управляемого хаоса» (*Controlled chaos*). Возникает пока научно не отрефлексированная проблема сочетания свободы слова и права на информацию с устойчивостью государства.

Кризис национальной идентичности, отчетливо проявившийся и в России, предъявляет новые требования к политической социализации граждан, системе образования, механизмам политического рекрутирования и формирования политических элит.

Одной из причин современного кризиса идентичности, подтачивающего основы современного государства, является также информационное

отчуждение личности. Информационное общество, предоставившее человеку невиданные возможности коммуникации, порождает и новое противоречие между обществом, производящим информацию, и потребляющим ее человеком, теряющим возможность полноценно соотноситься с окружающей средой. Особенностью личности постмодерна, открытой для избыточной информации, становится неглубокое проникновение в суть происходящего, в том числе в политической сфере, реальный мир все больше вытесняется разрастающимся миром искусственных образований, симулякров социального бытия²¹. Казалось бы, парадокс: невиданные ранее возможности распространения информации и доступа к ней становятся препятствием реальному информационному обмену.

Дело, однако, не только в объеме информации. Одной из особенностей производства в завершающей стадии индустриального общества и одной из причин, заставляющих говорить о наступлении новой эпохи — эпохи постмодерна, — является рост удельного веса информации в «товарной массе» валового продукта, вытеснение ею продукта материального. Как отмечал американский социолог Д. Белл, «если капитал и труд — главные структурные элементы индустриального социума, то информация и знание — основа общества постиндустриального»²². Не вдаваясь в обсуждение точности этой формулировки, а также специфики информации как товара, отметим, думается, очевидное: в той же мере, в которой индустриальное общество порождает неравенство отношений собственности и, как следствие, отчуждение труда, постиндустриальное общество порождает информационное отчуждение как следствие неравенства информационного. Проблема эта становится все более актуальной, о чем можно судить по ее проекции на сферу политики. Сегодня так называемые партии пиратов, выступающие за отмену интеллектуальной собственности, в том числе патентов и копирайта, зарегистрированы во многих европейских странах, США и Канаде, имеют представителей в Европарламенте. Партия пиратов Германии, как свидетельствуют опросы, по уровню популярности выходит на третье место после ХДС и СДПГ.

В меру обладания материальным и административным ресурсом одна из сторон политического противоборства получает преимущество в формировании информационной «повестки дня», содержательном наполнении информационных потоков, в масштабах информационного воздействия. А это в свою очередь порождает возможность навязывать индивидуальному и массовому сознанию виртуальные сущности, не имеющие прообраза в реальном мире. Информационное отчужде-

ние предстает, таким образом, как отчуждение информационного пространства от реального мира, как отчуждение человека от объективной информации и как следствие — его отчуждение от самой реальности.

В результате утрачивают смысл механизмы представительной демократии, использование которых все более становится средством манипулирования. Утрачивают эффективность созданные и оправдавшие себя институты и механизмы политической обратной связи, обеспечивавшие в последние десятилетия эффективность западных демократий, — партии, группы давления, выборы, референдумы и т.п. В совокупности с отмеченной тенденцией глобализации экономики и связанным с ней ростом влияния транснациональных корпораций на политику национальных государств снижение эффективности демократических механизмов ставит под сомнение основную формулу современной демократии — что «источником власти является народ».

Нарастающее блокирование каналов политической обратной связи влечет за собой накопление ошибок государственного управления, становится еще одним фактором снижения его эффективности. В свою очередь политическая элита частично погружается в мир ею же порождаемых иллюзий, утрачивает чувство реальности.

Вряд ли «демократии симулякров» можно противопоставить что-либо помимо механизмов непосредственного, минуя Интернет и СМИ, политического участия граждан. Это делает принципиально важными развитие форм прямого общественного контроля, перенос центра принятия решений по возможности на максимально низкий, муниципальный уровень управленческой иерархии. В этой связи представляется возможной актуализация одного из ключевых элементов модели социалистической демократии Маркса — многоступенчатая выборность органов государственного управления «снизу доверху», при которой избирающие имеют возможность прямого общения с избираемыми.

* * *

Постиндустриальная эпоха бросает вызов стабильности мира, основанного на либеральных ценностях и формуле представительной демократии. Современные демократии утрачивают эффективность. С другой стороны, авторитарные модели уже не соответствуют степени разнообразия современного общества, обрекают его на деградацию, а сами обречены на неустойчивость. Одна из наиболее актуальных задач отечественной политологии и политического класса видится в поиске решения этой проблемы для России с учетом как ее специфики, так и уроков западного пути.

Примечания

¹ См.: *Бжезинский З.* Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке. N.Y., 1989. С. 229.

² См., например: *Бьюкенен П. Дж.* Смерть Запада. М., 2003; *Валлерстайн И.* После либерализма. М., 2003; *Тоффлер Э.* Третья волна. М., 1999; *Фукуяма Ф.* Наше постчеловеческое будущее. М., 2004; *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М., 2003.

³ *Валлерстайн К.* Конец знакомого мира: Социология XXI века. М., 2004. С. 104.

⁴ См., напр.: *Остхоф-Мюнникс Г.* Мировое правительство: потребности и реальность // Век глобализации. 2013. №1.

⁵ См.: *Тоффлер Э.* Третья волна. М., 1999.

⁶ См.: *Эйби У.Р.* Введение в кибернетику. М., 1959. С. 294.

⁷ См.: *Левантовский Л. В.* Особенности границы области устойчивости // Функциональный анализ и его приложения. 1982. Т. 16. Вып. 1.

⁸ Последняя, о чем вслед за И. Сталиным забывают российские коммунисты, предполагает, по К. Марксу и В. Ленину, отмирание государства как политического института по мере продвижения к полному коммунизму.

⁹ См.: *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М., 2003.

¹⁰ См., напр.: *Гаджиев К. С.* Введение в геополитику. М., 2000.

¹¹ См.: Доклад о международной миграции за 2002 год: общий обзор. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.un.org/russian/whatnew/docs/migration.htm>.

¹² См.: *Nancy Birdsall.* Life is Unfair: Inequality in the World // Foreign Policy. Summer 1998. No 111.

¹³ См., напр.: *Лейнхарт А.* Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М., 1997.

¹⁴ См., напр.: *Черногорцева С. В.* Влияние этнополитического лоббизма на внешнюю политику США. Дисс. ... канд. полит. наук. М., 2007.

¹⁵ *Капица С. П.* Глобальная демографическая революция и будущее человечества // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 46.

¹⁶ См.: *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М., 2003.

¹⁷ *Бурдые П.* Социология политики. М., 1993. С. 88–89.

¹⁸ Дж. С. Най — декан Школы управления им. Дж. Кеннеди в Гарвардском университете, был председателем Национального совета по разведке и заместителем министра обороны США в администрации Б. Клинтона.

¹⁹ См.: *Най Дж. С.* Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике. Н., 2006. С. 31.

²⁰ Там же. С. 26.

²¹ См., напр.: *Бодрийар Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2000.

²² *Белл. Д.* Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. С. СLI.

2.3. Государство как пространство принятия решений

Принятие государственных решений, задающих направления и характер распределения важнейших общественных ресурсов, несмотря на сложившиеся в науке представления, постоянно дает импульсы для новых исследовательских идей. И это неслучайно, поскольку, несмотря на то что современный научный дискурс вмещает в себя весьма широкий круг представлений, постоянные изменения в конфигурации целеполагания побуждают ученых предлагать новые руководящие идеи, стремящиеся не только отразить актуальный опыт, но и соединить имеющиеся подходы и современные практики. Как правило, основания новых концептов чаще всего вырастают из общеуправленческих подходов и организационных идей, социологических и политологических конструкций, психологических, культурологических и антропологических парадигм. Свою роль в трансформацию представлений о принятии государственных решений вносят и многообразные воззрения о динамике современного государства в условиях глобализации, непрерывность дискурса о субстантивных параметрах политики и многие другие интерпретации ключевых категорий социальных наук.

Однако, несмотря на обилие теоретических идей, все они, как правило, предлагают весьма избирательные картины сложной комбинаторики государственного целеполагания, демонстрируя тем самым, что существующие аналитические модели пока еще недостаточны для аутентичного толкования этого процесса (с учетом его структурных, темпоральных, топологических и прочих параметров). Представляется, что такое положение вызвано объективным содержанием целеполагания, включающим в себя целый ряд функциональных диспозиций, обладающих ролевой поливариативностью. При этом смысловые границы всевозможных аналитических схем, как правило, располагаются в диапазоне между пониманием принятия государственных решений как искусства управляющих и как институционально закрепленной формы взаимодействия лиц, уполномоченных действовать от лица государства. Такая когнитивная ситуация в конечном счете порождает основное противоречие между теориями, одни из которых ориентированы на формальные нормы и правила разработки стратегий и целей (предполагающие доминирование законов и регламентов, устанавливающих рамки принятия решений), а другие — на сочетание рациональных и экстраординарных мотивов и действий ЛПР, выстраивающих в государстве многочисленные цепочки деловых, но одновременно и человеческих коммуникаций.

Причем и в том, и в другом случае немало теоретических конструкций содержат подходы и оценки, условно говоря, редукционистского типа, утверждающие, к примеру, статус государства как исключительно публичного политического института (игнорируя при этом и интегративный характер этой формы организации социального порядка, и наличие многочисленных латентных форм целеполагания) или его позиционирование как гражданского антрепренера (не принимая во внимание возможность управленческих институтов перестраивать его структуры с общественных на корпоративные и партикулярные интересы) и т.д. Достаточно очевидными являются и издержки сугубо рационального объяснения сущности и особенностей государственного целеполагания (что неизбежно — по мере углубления анализа — ведет к нарастанию логических допущений, не проясняющих, а катастрофически увеличивающих неопределенность данного процесса).

Не вовлекаясь в дискуссию относительно природы государственных решений, отметим лишь предпочтительность подхода, в рамках которого этот тип целеполагания рассматривается как *открытый* социальный процесс. То есть как та форма кооперации статусных и гражданских акторов, которая отражает динамику противоречивого сочетания их позиций, демонстрируя тем самым подвижность их деловых коммуникаций и даже относительность ориентации государства на цели общества (вплоть до утраты им своих качеств гражданского антрепренера). Думается, что такой профиль анализа и дает возможность более полноценно «объяснить процесс, посредством которого правительства принимают новые программы», или, другими словами, более полно отобразить механизм принятия государственных решений¹.

В то же время реализация такого подхода неразрывно связана с тремя аналитическими принципами. Во-первых, специфика любой разновидности целеполагания непременно обусловлена особыми чертами проектировщика решений, в нашем случае — государства (так как содержание любого целеполагания определяется особенностями актора, по-своему оценивающего проблемы, обладающего специфическими ресурсами для их решения, особенностями кооперации со своими стейкхолдерами и т.д.). Во-вторых, взаимодействие акторов в процессе целеполагания не может регулироваться исключительно формальными или нормативным источниками (порождающими неизбывный романтизм по отношению к государству, в каждом решении которого видится неперенное воплощение «общественного блага», а, стало быть, и его ориентация на «взаимное доверие» и «общее согласие» элитарных и неэлитарных слоев, в то время как негативные практики рассматри-

2.3. Государство как пространство принятия решений

ваются как незначительные отклонения и по сути исключаются из анализа). В-третьих, выработка вразумительной логики, позволяющей разгадать «тайны» принятия государственных решений, должна быть связана с теоретическими «упрощениями» этого процесса².

Представляется очевидным, что и определение характера взаимодействия институциональных и неинституциональных источников целеполагания, и степень «упрощения» этой картинки в конечном счете обусловлены спецификой государства как *особого актора*, обладающего собственным подходом к общественным проблемам³ и производящего (в качестве управленческой продукции) решения при использовании широкого набора (политических, экономических, административных, правовых, морально-этических и др.) инструментов для выработки повестки дня, прогнозирования, имплементации целей, оценки результатов и т.д.

Говоря предельно коротко, государство как проектировщик и производитель решений представляет собой политико-административную структуру, функционирующую за счет взаимодействия профессионального аппарата управления и различных гражданских стейкхолдеров. При этом содержательный массив соответствующих процедур, механизмов и коммуникаций такого кооперативного взаимодействия обусловлен внутренним строением данного института, в частности, его трехзвенной организационной структурой, соединяющей иерархические, сетевые и рыночные компоненты. В рамках этой организационной формы складываются условия для многоуровневой и полицентрической организации власти, предполагающей не только скоординированные, но и относительно автономные действия административных и неформальных, отраслевых и региональных, публичных и латентных центров влияния и власти, нередко выражающиеся в их «полувраждебной» «интерконкуренции» (Дж. Андерсон, А. Пшеворский), отражающей перманентную борьбу министерств, войны спецслужб, конфликты влиятельных фигур высшего уровня и прочие аналогичные факты⁴.

Различный тип решаемых задач (вкуче с соответствующими формами ответственности органов власти) и взаимоотношения государства (госадминистраторов) со множественными стейкхолдерами (представителями бизнеса, международными контрагентами, гражданскими структурами, теневыми общественными администраторами и др.) обуславливают не только различные уровни целеполагания (демонстрирующие неидентичный характер рассмотрения одних и тех же проблем), но и постоянное воспроизводство фактических («трансъачеистых») коммуникаций, непрерывно надстраивающихся над формальными связя-

ми и демонстрирующих реальные возможности госструктур по выдвиганию и реализации государственных целей⁵.

Однако следует видеть, что все специфические параметры государства по мере его вовлечения в разнообразные контакты с обществом (и его структурами) образуют весьма различные взаимозависимости всех — внутренних и внешних — участников принятия решений. На базе этих зависимостей (демонстрирующих соотношенность позиций акторов, их возможности вступления в коммуникацию, степень фактического влияния на разработку и реализацию целей и т.д.) в государстве формируется ряд особых политико-административных *пространств* (зон, арен, площадок), демонстрирующих специфические конфигурации во взаимодействии государственных органов и их контрагентов.

Попутно заметим, что в науке — в частности, в теории потоков Дж. Кингдона — уже апробирована идея относительной автономности разнокачественных форм *суммарной активности акторов* (потоков), образующихся при принятии политических решений. Эта же интенция содержится и в предлагаемой дифференциации политико-административного пространства, где в отдельных зонах государства складывается особая комбинаторика отношений агентов и контрагентов и где создаются специфические возможности и ограничения для выработки общих целей.

Такая политико-административная топология аттестует государство как набор внутренне взаимосвязанных (но при этом сохраняющих свою автономность) площадок, каждая из которых демонстрирует свой набор публичных и латентных, статусных и неформальных акций и интеракций. В каждом из этих континуумов складывается собственная архитектура кооперативных действий, происходит специфическая обработка данных, расчет времени и оценка рисков, расширяются (сужаются) каналы обратной связи, активируются общественные или корпоративные приоритеты в повестке дня и т.д. Эти арены по-разному включены в совокупный процесс целеполагания, с проявлением собственной ритмики и циклов взаимодействия с ведущими центрами принятия решений, поддержания (игнорирования) общественных приоритетов. В силу непрерывной конкуренции (за цели и приоритеты государственных решений) в рамках этих арен участники целеполагания (демонстрирующие различные формы продвижения интересов) способны осуществлять/терять контроль за значимой информацией и ресурсами; укреплять/ утрачивать свои позиции в деле влияния на центры решений (и даже изменять свое функционально-ролевое назначение); обретать/ терять статус «победителя» этого политического соревнования.

Принимая во внимание модель «социальных арен» С. Хилгартнера и Ч. Боска⁶, можно говорить и о том, что каждая из этих зон обладает своей «пропускной способностью», т.е. умением поддерживать внимание к различным аспектам сложившейся ситуации. Эти свойства арен отражаются на интенсивности применения специфических принципов отбора проблем, влиянии на этот процесс культурных или идеологических фильтров, способностей драматизировать или дедраматизировать ситуацию, поддерживать коммуникации с узким или широким набором различных игроков, активировать внутренние источники энергии, побуждающие инновации или способности отдельных акторов сопровождать решение на всех уровнях и стадиях целеполагания и т.д.

Коротко говоря, каждая из арен целеполагания способна снижать/усиливать роль различных (административных, политических, экономических, правовых) технологий, изменять соотношение рациональных и экстраординарных действий, органично/неорганично сочетать групповые и общественные интересы, активировать/деактивировать механизмы *on line* и *off line* политики. В силу разнообразия всех этих вариантов фактической активности разнообразных участников принятия решений данные зоны — несмотря на свою внутреннюю взаимосвязь и даже известную встроенность друг в друга — не всегда функционально стыкуются, и потому их институциональные и неформальные точки соприкосновения постоянно порождают «полые пространства», чреватые рассогласованностью, разнонаправленностью и даже взаимной блокировкой действий госорганов и их контрагентов.

По сути, эта «матрешка» внутренних (однородных, но разнокачественных) подпространств принятия решений носит асимметричный характер, поскольку отражает вовлеченность государства в различные формы социального взаимодействия. В то же время степень взаимосогласованности арен (отражающая целостность государства как субъекта целеполагания) зависит от стремления властей упорядочить контакты институтов и граждан, придать их коммуникациям нормативный характер, переплавив хаотичность их взаимодействия в целевые, общественно ориентированные формы активности официальных структур.

Учитывая принципиальную разницу в местоположении гражданских структур по отношению к официальным органам власти (детализирующую отношения элитарных и неэлитарных слоев), имеет смысл говорить о четырех особых зонах (аренах, подпространствах) принятия государственных решений: *политической системе, системе государственного управления, правящем режиме и режиме регулирования* (рис. 1).

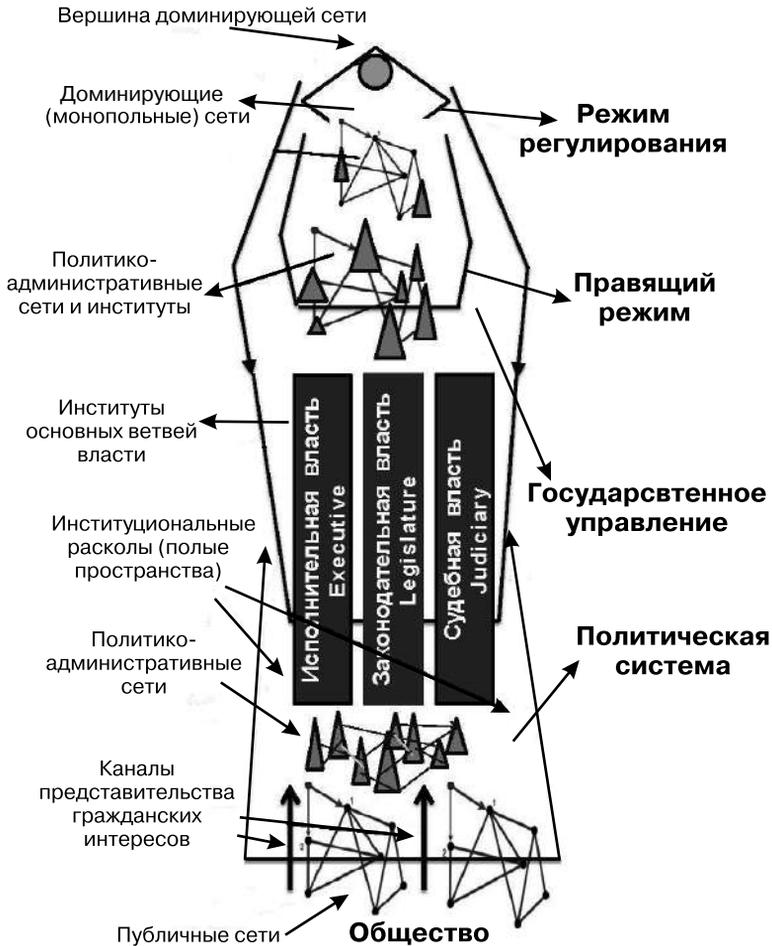


Рис. 1. Политико-административные арены принятия государственных решений

В своей совокупности эти топологические характеристики аттестуют государство как особое пространство принятия решений. Перекрещиваясь между собой, данные арены образуют единый континуум кооперации государственных агентов и их контрагентов, демонстрирующий многосоставную, комбинированную логику целеполагания. И хотя между этими пространствами складываются многочисленные

2.3. Государство как пространство принятия решений

внутренние противоречия, их композиция создает хотя и диверсифицированное, но все же единое пространство постановки и реализации государственных целей.

В конечном счете эти специфические арены целеполагания раскрывают взаимосвязь государства и общества через призму (различных по плотности, интенсивности и эффективности) коммуникаций профессиональных (политико-административных) и гражданских структур, с точки зрения как выработки управленческих приоритетов, так и соотношения фактических возможностей сторон в формулировке и достижении конкретных целей. Характер взаимосвязи этих арен позволяет властям либо осуществлять стратегию представительства социальных интересов (предполагающую последовательную артикуляцию и агрегацию групповых потребностей), либо опираться на интересы преобладающей (отраслевой, региональной, организационной) «корпорации», контролирующей те или иные ключевые ресурсы общества, либо замещать массовые и групповые ориентиры персональными и узкогрупповыми приоритетами (исключающими кооперацию участников и предоставляющими лидеру исключительное право на формулировку целей).

В рамках этой топологической «матрешки» базовое значение принадлежит **политической системе**, которая формирует механизмы превращения общественной власти во власть государственную, закладывая тем самым общегражданские основания для принятия решений. С нормативной точки зрения ее структуры и механизмы трансформируют политическое волеизъявление граждан в энергию представителей профессионального аппарата управления (переплавляя противоречия властвующих/подвластных в диспозиции управляющих/управляемых). Причем структуры и институты политической системы формируются по относительно автономной логике, не повторяющей механически динамику социально-экономических отношений (создавая тем самым возможность конфликтов между населением и органами управления, конструирующими собственные представления об интересах целевых групп)⁷. Таким образом, политическая система, с одной стороны, стремится обеспечить доступ граждан к механизмам отправления государственной власти, а с другой — обозначает возможности и ограничения для действий чиновников в части исполнения ими государственных полномочий.

В технологическом плане такой способ влияния граждан на выработку решений в основном осуществляется через механизмы непосредственного волеизъявления (в виде манифестаций, давления общест-

венных движений, лоббирования, влияния публичных сетей и проч.), через формирование публичных ценностей, развитие гражданского дискурса, а также каналы партийного и электорального представительства. В зависимости от степени репрезентативности эти инструменты стимулируют различные по интенсивности потоки гражданской активности. При этом одновременно они формируют коридор легитимированных возможностей для бюрократического рекрутинга и исполнения чиновниками своих функций (служебных норм и административно-правовых санкций, ограничивающих/стимулирующих применение насилия, а также контролирующих рентоориентированное поведение чиновников, возможности уклонения от ответственности и т.д.).

В целом политическая система выполняет двоякую роль: во-первых, утверждает единые принципы гражданства (равенства прав и обязанностей перед законом, участия, справедливости, подотчетности госаппарата и др.) и его институты, стимулирующие/дестимулирующие население использовать свои права для участия в принятии решений, а во-вторых, формирует структуры и механизмы для выработки общественно ориентированных целей. При этом решающее значение здесь имеют законодательно закрепленные публичные коммуникации государства и общества, отражающие тот нормативный порядок, который фиксирует права и возможности граждан презентовать свои интересы, влиять на государственных администраторов и контролировать их (в плане выполнения ими своих обязанностей, а также с точки зрения реализации народных чаяний).

Коротко говоря, политическая система как пространство принятия государственных решений формирует каналы и механизмы влияния граждан на постановку целей; публичные ценности (легитимирующие власть и являющиеся источником социального капитала государственной власти); а также профессиональные институты применения государственной власти (независимо от наличия или отсутствия обратной связи власти с населением). В этом смысле институты политической системы способствуют политическому «самоосвобождению граждан» (П. Фрейрс), т.е. позиционированию общества в качестве соучастника принятия государственных решений⁸.

Однако позиционируя общество как специфического участника целеполагания, политическая система создает всего лишь условия, предпосылки участия граждан в принятии решений. Как показал опыт, не всегда интенсивность влияния граждан способна оказать воздействие на целевые показатели государственных органов. Потому и массовый дискурс, и даже выборы не всегда учитываются в процессе принятия

2.3. Государство как пространство принятия решений

решений⁹. При этом далеко не все социальные группы вообще стремятся использовать имеющиеся возможности для оказания влияния на структуры власти и управления. А непосредственное воздействие заинтересованных сообществ на цели государства проявляется через такие (дискурсивные, представительские, сетевые) каналы и при таких условиях, которые в решающей степени формируются представителями правящего класса.

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев социальная энергия граждан становится лишь одним — и далеко не всегда решающим — источником влияния на позиции политико-административных акторов. В этом смысле политическая система сохраняет доминирующую роль различных структур правящего класса, позволяя ему от имени общества формулировать и определять как содержание «общественных благ», так и конкретные цели государства.

По сути, публичные механизмы политической системы являются для властей индикатором проблем, на которые так или иначе следует реагировать. Но это не предполагает обязательности установки на вовлечение людей в принятие решений. Поэтому правящий класс в основном использует публичную сферу для легитимации власти, корректировки конкурентных отношений, соотнесения интересов населения со своими планами и приоритетами.

Принципиально важно, что в публичном пространстве политическая система, трансформирующая общественную власть во власть государственную, наделяет правящие круги правом на инструментальное преобразование «народного суверенитета» в формы политического самовоплощения:

Иными словами, в рамках политической системы общество представляет собой символическую фигуру принятия решений, олицетворяющую «суверенитет народа», но используемую элитарными группировками для формирования государственных стратегий и целей в соответствии с собственным пониманием ситуации и перспектив социального развития.

Сказанное показывает, что публичные каналы политической системы обладают незначительным потенциалом в плане привлечения граждан к принятию решений, демонстрируя, что общество выполняет в этом процессе *вспомогательно-техническую и символическую* роль. Сохранению такой позиции общества способствует и слабость институциональной композиции его политического капитала, и множество институциональных впадин в публичном пространстве, сохраняющих существенные возможности для правящей элиты самостоятельно решать вопрос о направленности политических процессов.

Так что соревновательная политика или массовые формы дискурса в политической системе в основном лишь «разогревают» общественное мнение, возбуждая те или иные надежды населения. А вот влиять на решения и тем более изменить организацию центров принятия решений они не в состоянии. Конечно, в ряде случаев давление общественности может подвинуть структуры госуправления к неким связанным с решениями действиям (прежде всего при осуществлении так называемой регулятивной политики государства, связанной с попытками властей изменить местоположение тех или иных социальных групп). Однако даже такие формы влияния не дают гарантий, что планируемые решения все же состоятся и не будут погребены под хитросплетениями управленческих коммуникаций. Тем более что иерархические структуры управления (формально ответственные за принимаемые решения) подвержены весьма несовершенному контролю со стороны общества.

Иначе говоря, политическая система способна активизировать коммуникативный потенциал власти и общества, повысить морально-этический статус проблемы, гражданская активность сама по себе не является гарантией адекватной конверсии общественных ожиданий в принятые решения. В любом случае очевидно, что *политическая система — это не то пространство, где осуществляется реальное управление и распределение ресурсов*. Поэтому не стоит рассматривать в качестве панацеи ни «демократизацию демократии» (К. Пэйтмен), ни «мониторинговую демократию», ни стратегию *empowerment*¹⁰, направленные на усиление роли гражданских ассоциаций в формировании и отправлении государственной власти. Поскольку же в политической системе цели государства, как правило, отображаются в абстрактных идеологических (мифологических, доктринальных и иных аналогичных) формах, то основным инструментом влияния на государство со стороны активных граждан может быть только символическое давление. Однако символические инструменты использует и сама власть, чье искусство доходит до того, что люди — по мысли М. Эдельмана — испытывают удовлетворение от самого факта принятия решений, в том числе и тогда, когда они ничего не меняют, т.е. от «достижения неосязаемых благ»¹¹.

Так что неважно, «разогревает» или «охлаждает» политическая система гражданский активизм, ибо — за исключением острых кризисов легитимации — она остается всего лишь предварительной площадкой для разработки государственных целей. И потому активность гражданских структур и даже обилие контактов государства и общества выступают лишь одной — и отнюдь не обязательной — предпосылкой принятия государственных решений.

Иные возможности для принятия решений предлагает система **государственного управления**, где политическое волеизъявление граждан институционально соединяется с административными структурами, выполняющими профессиональные функции по управлению государством.

Стремясь вобрать в свои институциональные рамки весь комплекс взаимодействий государства и общества, это подпространство вводит в процесс целеполагания официальные нормы и ограничения, которые преобразуют баланс политических сил в рамки отношений официальных структур и их служебных коммуникаций. Тем самым в процедуру принятия решений встраивается нормативно заданный и юридически закреплённый комплекс официальных органов власти и управления, которые, упорядочивая контакты населения с административными структурами, ещё более сужают его непосредственные возможности в вопросах принятия решений.

Институализация и профессионализация представительства гражданских интересов ведет к смещению приоритетов государства с символической на содержательную сторону целеполагания, предполагая управленческое конструирование «общественных благ» и выработку политических предпочтений для групп, «ожидающих получения эффектов от принимаемых решений»¹². Однако законы, нормы и регламенты создают лишь самую общую рамку целеполагания, не гарантируя нормативно заданную коммуникацию гражданских и статусных агентов. В частности, в формате повседневного функционирования органы государственного управления существенно перестраивают свои официальные отношения, а сочетание ведомственных и общегосударственных циклов целеполагания, зависимости отраслевых и региональных администраций от федеральных политических структур (с учетом неформальных отношений) существенно изменяет официальный расклад, порождает множество девиаций и форм оппортунистической активности государственных институтов.

Возникающая несогласованность функций, а равно изъяны в законодательстве, слабость административного контроля и другие веские причины обуславливают структурные противоречия между формальными требованиями и фактическими позициями акторов, которые при принятии решений нередко выходят за рамки официальных норм. Причем возникающие в таких случаях институциональные трения, конфликты формальных и неформальных структур, по сути, создают новую конфигурацию отношений, где действия госадминистрации зачастую составляет лишь фон реального целеполагания. Не случайно,

как показывает опыт, на арене государственного управления институты и инкубенты нередко оказываются лишь *структурными предпосылками*, уступая место в принятии решений различным деловым ассоциациям (лобби, группам интересов, коалициям правящего класса) и влиятельным политическим фигурам. Под воздействием этих игроков (на фоне различной компетентности госчиновников и их способности выполнять служебные функции) начинают стремительно расходиться формальные и реальные позиции участвующих в принятии решений акторов. И хотя публичные структуры и институты все еще сохраняют определенное влияние, однако главными закоперщиками решений оказываются политико-административные сети, дополняющие и замещающие своей активностью институциональные и межинституциональные контакты.

Конкретные формы разрешения противоречий между формализованными и фактическими формами влияния акторов на выработку государственных целей создает **правящий режим**. Эта площадка функционирует за счет опоры центров принятия решений на (являющиеся их социальной базой) наиболее ресурсно оснащенные группы. Строго говоря, под таким *режимом* следует понимать пространство действия тех игроков, которые «извлекают выгоду от административных игр и переговоров»¹³.

На этой арене институциональные, официальные структуры государства окончательно срастаются с сетевыми формами активности правящего класса, порождая фактическую конфигурацию игроков (демонстрирующих реальное соотношение сил), способных оказывать влияние на принимаемые в государстве решения. Причем как в общегосударственном (федеральном), так и в региональном форматах.

Но и в этом формате целеполагания приоритетом обладают не любые группировки, имеющие необходимые ресурсы для решения той или иной задачи. Выигрывают те из них, которые проявляют большую заинтересованность в участии в проекте и при этом обладают внутренней сплоченностью и устойчивостью в борьбе с конкурентами, а также способны использовать каналы фактического доступа к центрам принятия решений. Понятно, что чаще всего наиболее влиятельные для государства ассоциации создает финансово-экономический капитал, который стремится к минимизации формальных и публичных механизмов государственного управления.

Формирующиеся в этой зоне групповые и сетевые инициативы обладают узкопредметным характером, подчиняющим себе формальные и неформальные договоренности и нормы участников целепола-

2.3. Государство как пространство принятия решений

гания. Однако если в рамках политической системы, регулирующей государственно-гражданский диалог, складываются сети (*policy networks* и *political networks*), которые в основном направлены на снижение транзакционных издержек и преодоление недостатков иерархических структур, то здесь в основном формируются политико-управленческие ассоциации (*public governance networks*), которые зачастую представляют интересы только собственного объединения. И в этом смысле они уже противостоят (конкурируют) как официальным институтам, так и политическим объединениям (лицам), которые выполняют посреднические (по отношению к обществу) функции.

Именно эти сети способствуют привлечению или «отвлечению внимания» государства «от конкретных вопросов», определяя, какие вопросы попадают или не попадают «в верхние строчки» политической повестки дня¹⁴. И хотя их влияние на государственную политику зависит от уровня гражданского контроля и качества институтов, опыт дает основание утверждать, что в повседневном режиме именно эти сети контролируют «вопросы на уровне государства» и доминируют при решении конкретных проблем¹⁵. И именно под их влиянием централизованные иерархические структуры власти и управления становятся «фикцией, не связанной с реальным принятием решений»¹⁶.

Коротко говоря, в этой зоне под влиянием сетей государственные институты могут выступать как в своем первородном (общегражданском) статусе, так и в виде переговорных площадок для сетевых участников (ограничивающих, а временами и разрушающих их суверенитет). Таким образом, правящий режим превращает сети в некие «переплетенные институты» (Н. Лауманн и У. Кноке), которые охватывают сегменты правящего класса, действующие в латентной форме и активизирующие неформальные механизмы участия (причем там, где легализована деятельность лобби, влияние сетей ограничено, что, однако, не меняет приоритеты правящего класса).

Политико-административные сети, как правило, «выигрывают» конкуренцию с институтами, качественно минимизируя значение формально-правовых регуляторов и демонстрируя приоритет неформальных связей и объединений, определяющих формы и характер функционирования государственных структур¹⁷. Причем контролируя «вопросы на уровне государства» и доминируя при решении многих конкретных проблем, эти «невидимые обществу» коалиции нередко функционируют «с минимальным участием политиков и высших государственных управленцев»¹⁸. При этом институционально-сетевая конкуренция за реальные ресурсы расширяет «серое» пространство

принятия решений, в котором сполна проявляют себя и коррупционные дыры в законодательстве, и коридоры рентоориентированного поведения чиновников, которые утверждают приоритет неформальных договоренностей и создают возможности для разрушения системы подотчетности вплоть до утраты институтами функций представительства гражданских интересов.

В то же время под влиянием иерархических форм организации государства здесь складывается такая форма политико-административного эквилибриума, которая в конечном счете способствует выделению и закреплению возможностей того актора, который задает общий вектор государственного развития, характер функционирования госинститутов и исполнения ими повседневных функций. Этот, условно говоря, «командный пул» сочетает в себе статусные и сетевые основания деятельности, по факту обретая возможности наложения реальных санкций на тех игроков, которые не следуют его рекомендациям¹⁹. Благодаря такой форме доминирования правящие круги могут не только противодействовать коллективным формам оценивания общественных проблем, но и предавать неудобные для себя вопросы «политически обеспечиваемому забвению»²⁰.

В рамках этого подпространства публичные формы согласования позиций, все инструменты определения целей правительственных программ и стратегий (идеологии, доктрины, имиджевые конструкции, политические бренды и т.д.) сменяются на тихие партнерские договоренности (которые никогда не выходят наружу), временные сделки и иные формы внутриэлитарных контактов²¹.

Таким образом, в пространстве правящего режима приоритетом становятся неформальные способы согласования и пакетные соглашения различных коалиций правящей элиты, публичность же обретает сугубо формальный характер. А перед гражданскими структурами возникают еще более высокие, практически непреодолимые барьеры для участия в принятии решений²².

Трансформации внутреннего пространства государства под сетевым давлением еще больше сужают возможности граждан, создавая арену противоборства влиятельных элитарных коалиций, в которых полностью утрачивается разница между статусными и гражданскими антрепренерами и где в основном функционируют латентные ассоциации²³. Это постепенное сужение политико-административного пространства создает преимущество весьма узкому кругу ассоциаций, тем представителям правящего класса, которые используют не только политические, но и психологические и социокультурные инструмен-

ты для обретения преимуществ при постановке и реализации своих целей²⁴.

Однако ни командный пул, ни многие иные влиятельные игроки, действующие в правящем режиме, не способны контролировать часть управленческого пространства, которая находится под контролем доминирующих (монопольных) сетей. Эта арена, или, условно говоря, **режим регулирования**, демонстрирует решающую роль таких ассоциаций правящего класса, которые осуществляют *фактическое* распределение (перераспределение) ключевых общественных ресурсов. По сути, это самая закрытая зона принятия решений, информационно охраняемая не только от публичной сферы, но и от более низких этажей власти и других сетевых коалиций элиты.

Это зона латентных контактов наиболее влиятельных фигур и группировок правящего класса, где не просто переплетены, а *выровнены* статусные и неформальные позиции теневых и публичных игроков, где теряются различия между национальными и международными акторами. И в силу этого режим регулирования представляет собой пространство сетевого могущества тех узких группировок элиты, которые — порой на протяжении многих десятилетий — не выпускают из своих рук рычаги «попечительской» власти. По сути же в этом пространстве доминирующие (монопольные) «сети создают новую форму власти»²⁵, которая в известной степени «противостоит государственному управлению»²⁶.

Внешним проявлением таких доминирующих элитарных сетей является ближнее окружение первых лиц (основу которого составляют представители наиболее ресурсно оснащенных групп), хотя с содержательной точки зрения ядром этих сетевых коалиций является «связанная группа», т.е. альянс наиболее доверенных и близких к лидеру фигур, у которых существуют с ним тесные неформальные связи.

В этой зоне государства целеполагание способно не только вымывать общественное содержание из поставленных государством целей, но и превращать носителей властных функций (как представителей общества) в *заказчиков* и *бенефициариев* конкретных проектов, для которых не существует понятий срединности или представительства чьих-то иных интересов. Они не действуют как «опосредующие власти» или «промежуточные тела» между государством и обществом (Ш. Монтескье), функционируя исключительно как группы, придерживающиеся «кодекса товарищества» и законов делового «братства», направляющих свою активность против «чужаков» и «конкурентов»²⁷. Излишне говорить, что такое положение в ряде случаев превращает разработку госу-

дарственной политики в совокупность конкурирующих сетевых проектов, курируемых влиятельными лицами.

Контролируя различные (отраслевые, региональные) площадки, осваивая дополнительные методы борьбы за ренту, защищаясь от контроля гражданских структур и институтов, эти сети формируют собственные цепочки административного рекрутинга, ограничивают политические позиции для представителей «чуждых» им интересов, обретают персональный доступ к силовым структурам и институтам правосудия, выступают проектировщиками необходимых законов и т.д. При этом в авторитарных политиях характер государственных решений в решающей степени зависит от того, как он единолично трактует общественные интересы, замещает или частично агрегирует мнения других коалиций, определяет условия допуска к ренте. От предлагаемого порядка зависит и то, способны ли доминирующие сети превращаться в инструмент *внешнего* контроля за представительством гражданских интересов²⁸.

Одним словом, режим регулирования — это зона преобразования институциональных форм государственной власти в фактическую власть доминирующих сетей, зона превращения ассоциаций правящего класса из *эпифеноменальных в решающие* структуры принятия государственных решений. При этом функциональная и информационная закрытость режима регулирования снижает эффективность гражданского контроля, усугубляя их способность направлять активность государственных структур на корпоративные и партикулярные цели.

В этих условиях официальные институты выступают переговорными площадками сетевых агентов, чья ответственность по этим причинам размывается, а сети обретают способность отказаться от координации с ними по общественно важным вопросам, переходя к самостоятельному перераспределению ресурсов. Ну а в крайних случаях логика сетевого активизма способна поставить под сомнение статус государства как гражданского антрепренера.

Но даже исключая крайние варианты, можно констатировать, что режим регулирования — это *способ организации внутреннего пространства важнейших центров принятия решений*, де-факто применяющих конкретные схемы получения и распределения (перераспределения) ресурсов и статусов определенными адресными (целевыми) группами. Сети, поддерживая определенные *проекты* (и адаптированные к ним внутренние *контракты* своих членов), в рамках этой зоны принятия решений в основном озабочены определением *средств получения искомого результата* (предоставляемых в границах их коридора возможностей).

2.3. Государство как пространство принятия решений

В силу этого принципы и установки доминирующих сетей в большей степени сориентированы не на понимание того, *что* им (а следовательно, и государству) необходимо делать, а на то, *как* достичь собственных интересов наиболее оптимальным и безопасным для себя образом.

Излишне говорить, что при таком положении дел в этом пространстве принятия решений снижается роль партийных и идеологических требований, чьи символы в основном используются для прикрытия сетевых проектов в публичной сфере. А вот подлинным двигателем принятия решений здесь становятся конфликты между сетями правящего класса. Этот специфический вид энергетики способен породить расколы, чреватые полным разрушением кооперативного характера целеполагания²⁹.

Главные угрозы для режима регулирования представляют те факторы, которые меняют композицию сетевого ландшафта. В этом случае нарастание транзакционных издержек ведет к резкому снижению возможностей доминирующих сетей в принятии решений.

* * *

Итак, суммируя сказанное, можно заключить, что совокупность обозначенных выше арен придает процессу принятия государственных решений гибридную форму, не только соединяющую разнородных игроков, но и сохраняющую для них возможность использования самых разнообразных инструментов выработки и реализации целей. Учитывая сложность и подвижность этой конфигурации, можно сказать, что государство, производящее решения, представляет собой особую гибридную форму, некий **гетерозис**, совмещающий цели и свойства разных игроков и их интересов, но чья окончательная конфигурация выстраивается каждый раз заново в связи с тем или иным (особенно крупным политическим) управленческим проектом. Собственно, один этот факт показывает невозможность нахождения единой теоретической модели принятия государственных решений.

В этом смысле типологическое единство внутренних арен государства — это залог гражданской ориентации принимаемых решений и вырабатываемых стратегий. И наоборот, усиление автономности и разнородности данных площадок (что одновременно означает снижение роли гражданского контроля, устранение подотчетности и снижение качества институтов) ведет к противоположным результатам. В этом случае центры принятия государственных решений (в основном в авторитарных системах), попадая под контроль доминирующих элитарных сетей, замещают общественные цели корпоративно-партикулярными

ориентирами, неизбежно ведущими к необоснованно асимметричному перераспределению ресурсов и перекладыванию издержек государственного управления на общество.

Примечания

¹ *Berry F. S., Berry W. D. Innovation and Diffusion Models in Policy Research // Theories of the Policy Process / Ed. by P. A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis: Westview Press, 2007. P. 223*

² *Theories of the Policy Process / Ed. by P. A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis: Westview Press. 2007. P. 8.*

³ Поскольку социальные проблемы не являются какими-то объективно заданными, носящими нейтральный характер явлениями, то их интерпретация (проблемное содержание) может многократно переопределяться в зависимости от интересов и позиций различных акторов. Оценка общественных проблем государством в содержательном плане предполагает распределение выгод и ограничений для социальных групп, изменение поведения последних, регулирование уровня их активности и т.д. По форме такие решения носят обязывающий для властей характер и предполагают легализацию и информационно-символическое обеспечение целей и средств их достижения.

⁴ Такие формы межведомственной конкуренции (особенно в складывающихся и переходных государствах) предполагают выстраивание официальных контактов при помощи дискредитации партнеров, использования манипуляции, фальсификата и прочих неправомερных доказательств для защиты своих позиций. Эти приемы, используемые в конечном счете для получения бюджетных, статусных и прочих преимуществ, постоянно искажают существо решаемых государством проблем, чреваты нерациональным распределением ресурсов, нарушением этических норм во взаимоотношениях государственных структур.

⁵ См.: *Соловьев А. И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 2014.*

⁶ См.: *Hilgartner S., Bosk Ch. L. The rise and fall of social problems: a public arenas model // American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. No 1. P. 53–78.*

⁷ *Collier P. The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It. N.Y.: Oxford University Press, 2007; Grindle M. S. Good Enough Governance Revisited // Development Policy Review. 2007. Vol. 25. No 5*

⁸ Практика, однако, показала, что давление граждан на власть связано далеко не с каждым государственным решением и тем более не предполагает ни повышения эффективности правительственных стратегий, ни их качества. Причем политическая система неизбежно создает институциональные дистанции между рядовыми гражданами (носителями прав, участниками обсуждений и т.д.) и официальными структурами, формируя зачастую непроходимые «стеклянные потолки и стены» для выражения и согласования интересов. Такие препятствия исключают гарантии неперемнного влияния граждан на содержание будущих решений. Но поскольку главным источником — и в определенной

2.3. Государство как пространство принятия решений

мере регулятором — такого воздействия является баланс политических сил, то эти барьеры не становятся препятствием для того, чтобы по отдельным вопросам государственные решения принимались в штабных подразделениях крупных бизнес-корпораций, международных центрах и даже других государствах, продавливающих официальные институты госадминистрации (как, например, в нынешней украинской ситуации).

⁹ Собственно, общемировой кризис представительной демократии и является наглядным показателем ограниченной способности партийных и дискурсивных механизмов реально включить гражданские структуры в принятие решений. Причем в ряде стран даже правящие партии, оказывая воздействие на повестку дня, не попадают в число акторов, фактически «решающих» общественные проблемы. И хотя демократическая риторика только разогревает желание людей управлять, гражданские структуры — даже в условиях демократии — не всегда способны повлиять на многие, в том числе принципиальные решения государства. И это неудивительно, поскольку в рамках пространства принятия решений политическая подотчетность государственных структур либо необязательна, либо ограничивается сферой символического дискурса.

¹⁰ См. напр.: *Перегудов С. П.* Мониторинговая демократия как форма гражданского участия // Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования / Редколлегия И. С. Семененко (отв. ред.), В. В. Лапкин, В. И. Пантин. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 113–124; *Айвазова С. Г.* «Эмпаэрмент» как признак и проблема современной массовой политики // Политическая наука. 2015. № 4.

¹¹ Цит. по: *Малинова О. Ю.* Символическая политика. Контуры проблемного поля. // Символическая политика. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. Вып. 1. М.: Издательство ИНИОН, 2014. С. 195–196.

¹² *Ingram H., Schneider A. L., de Leon P.* Social Construction and Policy Design // Theories of the Policy Process / Ed. by P. A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis: Westview Press, 2007. P. 95.

¹³ *Edelman M.* The symbolic uses of politics. 5th ed. Urbana, Chicago, L.: University of Illinois Press, 1972. P. 16.

¹⁴ *Cairney P.* Understanding Public Policy. Theories and Issues. L.: Palgrave Macmillan. 2012. P. 8.

¹⁵ Ibid. P. 12.

¹⁶ *Silke A. and Kreisi H.* The Network Approach // Theories of the Policy Process / Ed. by P. A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis: Westview Press, 2007. P. 132.

Такие факты одновременно подкрепляют позиции большинства ученых, не разделяющих мнение, будто сетевой менеджмент является «слабой формой управления (*Kickert W. J. M., Koppenjan J. F. M.* Public Management and Network Management: An Overview // Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector / Ed. By W. J. M. Kickert, E.-H. Klijn, J. F. M. Koppenjan). L.: Sage, 1997. P. 54). Более того, некоторые теоретики даже утверждают, что диффузные сети производителей решений уже приходят на смену правительству как институту

управления (см. напр.: Мельвил А. Ю. Пространство и время в мировой политике и международных отношениях // *Космополис*. 2007. № 2 (18). С. 28).

¹⁷ См.: *Göktuğ Morçöl*. Decision Making: An Overview of Theories, Contexts, and Methods // *Handbook of Decision Making* / Ed. by Göktuğ Morçöl. Penn State University Harrisburg, Pennsylvania, USA: CRC Press, 2007. P. 3–18; *Михайлова О. В.* Сети в политике и государственном управлении. М.: ИД КДУ, 2013; *Соловьев А. И.* Принятие и исполнение государственных решений, М.: Аспект Пресс, 2013 и др.

¹⁸ *Cairney P.* Understanding Public Policy. Theories and Issues. L.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 12.

¹⁹ Например, в России таким статусом обладает Администрация президента, которая, преодолев статус административно-технического органа, превратилась в структуру, не только конструирующую политический курс государства (и чьи «рекомендации» профилируют деятельность официальных органов, а также бизнес-корпораций, партий, НКО и прочих игроков, приближая или удаляя их от центров принятия решений), но и регулирующую допуск игроков на политический рынок и даже характер применения судебных, силовых и иных инструментов госрегулирования.

²⁰ *Crenson M. A.* The unpolitics of air pollution: a study of nondecisionmaking in the cities. Baltimore: John Hopkins University Press, 1971. P. 184.

²¹ Не случайно многие аналитики утверждают, что государственная политика (как итог взаимодействия различных групп отселектированных управляющих) является не чем иным, как формой постоянной корректировки планов, неким терапевтическим средством, призванным не столько реализовать замыслы властей, сколько успокоить население и снизить напряженность (что, кстати, во многом минимизирует специализированную роль иерархических структур управления).

²² Показательно, что такого рода факты дают основание ряду ученых рассматривать не только процесс принятия решений, но и саму политику как исключительно «сетевой феномен» (*McClurg S. D., Lazer D.* Political Network // *Social Network*. 2014. Vol. 36. No 1. P. 1–4).

²³ *Соловьев А. И.* Латентные структуры в государственном управлении, или Игра теней на лике власти // *Полис*. Политические исследования. 2011. № 5.

²⁴ Не случайно в западной литературе исследовательские акценты сегодня в основном смещаются на коммуникативные аспекты функционирования политического режима, его аксиологические и психологические структуры, а также на иные неинституциональные его грани, позволяющие более релевантно описывать проблемы реального отправления власти [см. напр.: *Heazl M.* Uncertainty in policy making: values and evidence in complex decisions L.; Washington, DC: Earthscan, 2010; *Wheeler D. A.* Presidential power in action: implementing Supreme Court detainee decisions. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008; *Laruelle A., Valencia No F.* Voting and Collective Decision-Making Bargaining and Power. Cambridge University Press, 2008.; *Jenco L. K.* Making the Political. *Founding and Action in the Political Theory of Zhang Shizhao*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

²⁵ *Kenis P., Schneider V.* Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox // D. Martin and R. Mayntz (eds.). Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt a. M. Boulder, Co.: Campus Verlag, Westview Press, 1991. P. 22–59.

²⁶ *Silke A. and Kreisi H.* The Network Approach // Theories of the Policy Process / Ed. by P. A. Sabatier. 2nd ed. University of California, Davis: Westview Press, 2007. P. 130.

Поскольку эти сети направляют свои усилия по преимуществу на цели, которые дают сиюминутную отдачу — что оставляет определенное управленческое пространство для институтов и структур саморегулирования, — то это пространство, строго говоря, предполагает *регулирование*, а не *управление* объектами (исключая тем самым претензии элит на их преобразование в соответствии со своими замыслами). Так что данное пространство обладает способностью к сужению / расширению своего объема.

²⁷ *Бочаров В. В.* Российская власть в политико-антропологической перспективе // Полис. Политические исследования. 2011. № 6. С. 89.

²⁸ *Schlager E.* A Comparison of Frameworks, Theories, and Models of Policy Processes // The Handbook of Public Administration / Ed. by B. Guy Peters and Jon Pierre. Los Angeles; L., 2007. P. 17.

²⁹ Неудивительно, что практика многих, опять-таки авторитарных государств показала, что для большинства сетей деловым приоритетом является не конструирование новых социальных порядков и не установка на развитие общества, а стремление к воспроизводству сложившегося порядка и асимметричное перераспределение ресурсов. Это подталкивает государство по преимуществу к перераспределительному типу политики и укреплению консервативного вектора развития. Одним словом, сетевая организация распределения ресурсов способна постоянно воспроизводить «петлю авторитаризма», даже несмотря на институализированные в политической системе демократические структуры и ценности.

2.4. Конфликт публичных ценностей и политика административной культуры¹: истоки и перспективы преодоления

Наблюдаемое в последнее десятилетие века ускорение темпов перемен в различных сферах жизни общества, развитие процессов глобализации и усиления взаимосвязи отдельных государств и народов, разразившийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис изменили образ жизни и привычную картину мира, породили целую серию новых проблем и противоречий или обострили, трансформировали уже имеющиеся.

Социальные и политические конфликты стали постоянной и неотъемлемой чертой современного общества, подрывая политическую стабильность и угрожая самим устоям общества.

Одной из ключевых причин политической нестабильности, наблюдаемой в различных сегментах современного мира, является широкое распространение тенденции потери доверия граждан к государству на фоне усиления его регулятивных функций, вызванных необходимостью преодоления кризисных явлений. Все меньше граждан различных стран идентифицируют себя с государством и ценностями, поддерживаемыми государством, предпочитая им другие, предлагаемые, в частности, кругом общения — в интернет-сообществе.

Истоки недоверия к государству имеют двоякую природу: с одной стороны, снижение потребности граждан в институтах-посредниках (партии, профсоюзы, государственные институты), с другой — ограничение суверенитета и ресурсов современного государства, его способностей удовлетворять общественные запросы при нарастании (в условиях кризиса) требований к нему. Особенно ярко это проявляется в таких странах, как Россия, где недоверие и критика институтов государства часто сочетаются с упованием на него в решении насущных личных проблем.

Как отмечает Р. Инглхарт, современные люди не склонны принимать те издержки, которые связаны с современной бюрократией и жесткими социальными нормами, предпочитая им индивидуальный выбор и участие в неформализованных структурах. Этот постмодернистский сдвиг в мировоззрении и ценностях современного человека оказывает прямое воздействие на политическое поведение людей, формы и методы действий, используемые ими для достижения своих индивидуальных и групповых интересов, их отношение к государству, а в конечном счете и на политический режим [Инглхарт Р., 1997]. Современного человека, особенно молодых, образованных представителей нового среднего класса уже не удовлетворяют те формы и возможности воздействия на деятельность органов власти, которые им представляет наличная политическая система, прежде всего в лице государства. Во многом отсюда и отчуждение от этого государства.

Отчуждение граждан от институтов государства в различных странах связано и с кризисом системы государственного управления, что становится (во всяком случае, применительно к России) одним из главных препятствий развитию, что подтвердили, в частности, международные и отечественные эксперты последнего Давосского форума. Общемировой кризис системы управления имеет как технологиче-

ский, так и ценностный аспект. Оба этих аспекта (хотя и в неодинаковой мере) связаны с политикой — административной культурой. Технологический аспект кризиса — это кризис сложившихся методов управления, не соответствующих сложностям больших систем динамизму и современного общества. Ценностный аспект — отсутствие ясных идеалов и целей общественного развития: как по причине непонимания трендов посткризисного развития, так и трансформации современной политико-административной культуры в сторону элитарности, превращение демократии в вид товара, зависимого от финансовых рынков. Как весьма обстоятельно показал в своих работах С. Жижек, процесс развода капитализма и демократии в современном мире идет полным ходом [Zizek S., 2011]. При этом нельзя упускать из виду два чрезвычайно важных обстоятельства: во-первых, отмеченные мировые тенденции проявляются в различной форме и с различной степенью выраженности в отдельных странах.

Во-вторых, эти тенденции не являются доминирующими, полностью определяющими форму и содержание политических процессов. Наряду с ними в современном обществе наблюдаются и другие. Так, формируется новая модель государственного управления (и соответствующая ей политико-административная культура), которая предполагает тесное взаимодействие общества и государства, когда государство, хотя и остается ведущим политическим актором, тем не менее реализует свои властные функции большей частью не путем административных распоряжений и указаний, а путем координации своих усилий с инициативами общественных институтов, движений и групп, заинтересованных в решении того или иного вопроса. Отсюда понятие «координирующее государство», которое характеризуется в том числе иной демократической политико-административной культурой. В развитии этого тезиса укажем, что координация усилий государства и общественных структур предполагает:

- формирование ассоциативных групп;
- информационный обмен, проведение конференций, семинаров, форумов;
- деятельность совместно создаваемых комиссий, форумов, совещаний;
- совместные ресурсные формы поддержки и т.д. [подробно см.: Сморгунов, 2012].

В целом можно согласиться с цитируемым автором, что в политическом отношении современная система управления, во всяком случае

развитых стран, характеризуется определенным демократическим потенциалом и новыми гуманитарными подходами, способными учесть характер поведения людей, решающих разные задачи, но все же остающихся разумными и способными понимать друг друга.

Во многом это связано с тем, что в демократическом государстве эффективное управление общественными процессами предполагает если не активное участие в процессах управления большинства граждан, то по крайней мере минимум понимания и поддержки с их стороны, ибо современное демократическое государство, как никогда ранее, нуждается в таком понимании, поддержке и участии граждан в процессах управления, поиске наиболее эффективных путей и методов решения задач и проблем, волнующих общество, граждан. Выход из обозначившегося на рубеже 1970–1980-х годов кризиса видится специалистам, в первую очередь в более активном привлечении общественных структур и граждан к процессам управления общественными делами. Как подчеркивает известный голландский специалист Агне Гомес, положение и роль правительства становятся иными, чем были ранее. В настоящее время необходимо правительство, которое будет устанавливать правила и нормы, управлять в определенных сферах жизни, но в первую очередь оно будет создавать благоприятные условия и поддерживать социальные дискуссии, вовлекать общественность в управление государством.

Наложение друг на друга не совпадающих (а нередко и вообще противоречивых) тенденций формирования системы управления создает своеобразную для каждой страны мозаику, сочетающую элементы новых (обновленных) и старых принципов и моделей, которые находятся в подвижном состоянии, поскольку в большинстве стран с большим или меньшим успехом осуществляются административные реформы. Это своеобразие не исключает общего тренда этих реформ — создания прозрачной, отзывчивой к нуждам и запросам граждан бюрократии, что в свою очередь требует принципиальных изменений как в политико-административной культуре управленческого аппарата, так и в отношении самих граждан к участию в деятельности органов власти, в конечном счете к системе их ценностных ориентаций. Отсюда центральный вопрос данной публикации — насколько Россия вписывается в общие тенденции и в чем ее отличие, своеобразие в отношении политико-административной культуры в ракурсе ее соотношения с публичными ценностями.

Поиск ответа на этот вопрос требует предварительного уяснения двух моментов:

- в каком отношении находится политико-административная культура с типом властных отношений, моделью государственного управления и политическим режимом данного государства;
- как политико-административная культура связана с политической культурой общества в целом, развиваются (изменяются) ли они хотя бы относительно синхронно или каждая по своей собственной траектории.

Автор исходит из того, что политико-административная культура, будучи той частью административной культуры в целом, которая связана с отношением и взаимодействием исполнительной ветви власти, госаппарата с гражданами, неразрывно связана и с политическим режимом и моделью государственного управления и типом властных отношений. Хотя говорить о полной гармонии не приходится. Вполне возможны частичные несоответствия и противоречия. Особенно это касается отдельных структур исполнительной власти. В частности, госаппарат в условиях слабого политического контроля и разбалансированности государственных институтов может начать играть по своим правилам, выходя за очерченные режимом рамки.

Что же касается взаимоотношений между общей политической культурой и политико-административной, то здесь возможны различные варианты. В демократическом обществе большого разрыва быть не может, поскольку власть не должна игнорировать запросы граждан. Но важна и такая ситуация, когда тот и другой тип культуры развивается в параллельных, мало соприкасающихся между собой плоскостях или политико-административная культура задает тон политической культуре общества, навязывает определенные стандарты.

Что имеет место в России? Среди некоторой части российских специалистов (а среди них такие авторитеты, как директор ИНИОН, академик Пивоваров) сложилось твердое убеждение, что российский архетип остается неизменным на протяжении веков, несмотря на кажущуюся изменчивость институциональных форм и того, кто стоит во главе государства — царь, генсек или президент. Естественно, что это автоматически означает неизменность основ и политико-административной культуры. Все попытки ее сломать или хотя бы существенно изменить ни к чему не приводят. Несоответствие форм государственного управления (монархия, однопартийная система) и запросов общества его политической культуре в XX в. дважды потрясло основы российской государственности, ставило страну на грань исчезновения с политической карты мира. Не вдаваясь в историю, обратимся к современности.

Нынешнее Российское государство возникло на развалинах Советского Союза. Распад СССР был столь неожиданным и быстрым, что предложить сколько-нибудь развернутое концептуальное представление, собственное видение проблем посткоммунистического политического устройства пришедшая к власти контрэлита не могла. Да ее, контрэлиты, фактически и не было как таковой. Пришедший к власти политический класс взял на вооружение ультралиберальные воззрения западных экспертов. США стали эталоном и моделью общественного переустройства, государственной сферы в том числе. Эта модель предусматривает открытость экономики, приватизацию собственности, предоставление максимума свободы рыночным механизмам. Особая роль отводилась так называемой «невидимой руке рынка», ее способности «все расставить на свои места». Применительно к государству это означало минимизацию его присутствия в экономической сфере, сокращение государственного аппарата, упразднение целого ряда его важнейших функций. Идеалом стало «малое государство», «ночной сторож».

Результаты этой политики оказались катастрофическими. Достаточно вспомнить о дефолте 1998 г. Катастрофическими они были не только в экономике. Страна стояла на грани распада. Даже на законодательном уровне не было единства. Несколько национальных республик, входящих в Российскую Федерацию, приняли ряд законов, противоречащих Конституции страны.

Многие видные российские политологи [Б. В. Пастухов, например, см. его статью: Темный век. Посткоммунизм как «черная дыра» русской истории // Полис. 2007. № 3] обозначает этот период жизни страны как «исчезновение государства», «приватизация государства» несколькими олигархическими группами, превратившими государство из института реализации общественных интересов в инструмент извлечения частной выгоды.

После избрания президентом России В. В. Путина начался процесс воссоздания дееспособности государства. Был проведен в жизнь целый ряд мер, изменивших облик российского государства. Среди них: создание единого правового поля, создание семи федеральных округов, руководители которых напрямую подчиняются Президенту и правительству Российской Федерации, отмена выборов глав субъектов Федерации, изменение порядка избрания в верхнюю палату парламента, применение скрытых форм контроля исполнительной власти за деятельностью СМИ и т.д. Эти меры вызвали далеко не однозначную оценку как в интеллектуальных кругах внутри страны, так и за рубежом, поскольку означали кардинальный пересмотр концепции роли

государства в жизни общества и принципов его функционирования. Естественно, они означали и отход от западных (и не только ультралиберальных) взглядов на государство.

Возвращение дееспособности государства действительно происходило во многом путем воссоздания архетипа русской власти, которая при всех сменах своего обличья сохраняет многие важнейшие сущностные характеристики (признание неизбежности приоритета государства и вертикальных связей в целом, высокая степень централизма, скромная роль правовых институтов, распространение патерналистских настроений в обществе и т.д.).

На верхнем этаже властной иерархии это находит выражение в «ручном управлении», когда нередко даже в решении обычных рутинных вопросов местного масштаба, не говоря уже о более серьезных, приходится напрямую вмешиваться тому или иному представителю верховной власти, вплоть до президента.

Если принимать такую оценку метаморфизма российской власти, то очевиден вывод: политико-административная культура российской власти сохраняет устойчивость и сегодня. В частности, это касается ориентации при любых вариантах на мнение и позицию руководителя, снисходительного отношения к нормам права.

Вопрос: как эта политико-административная культура воспринимается гражданами России, какие чувства и эмоции она у них вызывает?

Начнем анализ проблемы с общей оценки гражданами России деятельности исполнительной власти, опираясь на данные многолетних исследований [Левада-центр, 2012].

На протяжении ряда лет респондентам задавался один и тот же вопрос (табл. 1).

Таблица 1

В чем заключаются ваши основные претензии к деятельности нынешнего правительства?*

	2000	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения	39	4	51	49	57	41	54	59	42
Не заботится о социальной защите населения	27	37	39	47	38	26	36	33	32
Не может обеспечить людей работой	27	31	33	34	26	27	41	36	32

Окончание табл. 1

	2000	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Коррупцировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах	7	25	22	22	21	18	21	20	24

* Возможен выбор нескольких вариантов ответов (% от числа опрошенных, Всероссийская репрезентативная выборка в 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 3,4%).

Далее, в порядке убывания, данные за 2012 г.: нет продуманной программы экономического развития России — 17%; не может справиться с кризисом в экономике — 16%; действует в интересах крупного бизнеса — 15%; неэффективно борется с преступностью — 14%; не может обеспечить безопасность граждан — 12%; низкий уровень профессионализма — 11%; остальное — менее 10%.

Как следует из приведенных данных, главная причина претензий населения к органам управления (несмотря на определенные колебания, вызванные скорее всего с кризисом 2008–2009 гг.) коренится в первую очередь в их низкой эффективности, коррупционности и очевидно недостаточном внимании к социальным проблемам населения.

Что касается эффективности российской власти, то в этом плане приходится соглашаться с выводом большей части населения, совпадающим с мнением ряда специалистов, что нынешняя модель властвования очевидно эффективна в том, чтобы не допустить нежелательных действий со стороны внешних акторов, но неэффективна в обеспечении конструктивного взаимодействия общества и государства. Эта модель и заложенные в ней принципы и механизмы принятия решений, часто не учитывающие независимое экспертное мнение и позиции тех общественных слоев, общественных объединений и ассоциаций, групп интересов, на которые направлено соответствующее решение, сами по себе способны создавать конфликты, что называется, «на ровном месте», как это было, например, с монетизацией льгот пенсионеров. Пример этот не единственный. Наши мониторинговые исследования, которые проводились в течении ряда лет (начиная с 2003, последнее в 2008 г.), также показывали, что россияне не доверяют институтам власти (исключая президента, армию), недовольны их деятельностью. Особую раздраженность россиян вызывали (и вызывают до сих пор, как показывают данные целого ряда других авторов) коррупция, бюрократизация, засилье чиновников (в числе наиболее актуальных, вол-

2.4. Конфликт публичных ценностей и политика административной культуры...

нующих людей проблем в 2008 г. ее назвало около 40% опрошенного населения России), незащищенность рядового человека от административного произвола — эти факторы назвали почти 45% опрошенных. Возникает естественный вопрос: коль налицо большой конфликтотенный потенциал, почему он, за редким исключением, не находил отражения в коммуникациях граждан и власти или в попытках граждан решить проблему другим способом?

Ответ по результатам нашего исследования очевиден: заниматься решением этой проблемы, по мнению граждан, должны органы управления. Подобного рода настроения господствовали в общественном сознании россиян вплоть до конца первого десятилетия нынешнего века, когда в обществе, по мнению ряда специалистов, произошла существенная смена ключевых ориентаций, включая ценность политического участия, что затем нашло прямое отражение в митингах, протестах 2011–2012 гг. [см., в частности, Елена Шестопап. Власть и граждане: психология отношений // Независимая газета. 2013. 22 октября]. В подтверждение своих выводов Е. Шестопап приводит такие данные (табл. 2).

Таблица 2

Готовы ли вы лично принять участие
(может быть назван больше, чем один ответ)

	1993	1995	1996	1997	2000	2003	2010	2013
В выборах как избиратель	72	72,3	84	57	73,6	70,6	59	80
В митинге в поддержку той или иной политической партии или движения	8	14,9	10	5	17,6	8,6	13	22
В забастовке	8	14,9	6	8	13,6	13,6	10	16
В выборах как кандидат в депутаты того или иного уровня власти	4	29,8	4	8	13	10	6	38
Ни в чем	0	0	5	27	11,9	19	11	10
Затрудняюсь ответить	0	0	11	7	5,5	4,4	3	1

Отмеченная Е. Шестопап смена ключевых ориентаций, ценностей и образов, включая рост политической активности, далеко не равномерным образом затронула отдельные слои и группы населения России. В основном это имело место среди жителей больших городов, представителей образованного среднего класса, желающих получить большее представительство в органах государственной власти и возможность оказывать влияние на деятельность этих органов.

Для этой категории лиц власть утратила сакральный характер. Оценки ими действия властей зависят прежде всего не от привлекательности лидеров и их имиджа, а от того, насколько эффективно эта власть реализует свои властные полномочия, решает волнующие людей проблемы.

Большая часть российских граждан, как опять-таки справедливо отмечает Е. Шестопал, по-прежнему вполне лояльна власти. Эта часть населения в первую очередь ждет от власти справедливости, и ее требования носят скорее этический, нежели политический характер. Эти люди готовы подчиняться, выполнять законы, для них государственность является наивысшей ценностью при условии, что власть справедлива.

Как показывают многочисленные исследования (в том числе автора этих строк), понятие справедливости является для большинства российских граждан ключевым для оценки власти, политической и социальной системы, существующего режима. В понятие социальной справедливости в свою очередь абсолютное большинство россиян включает два ключевых момента:

- равенство всех перед законом, правовая защищенность граждан;
- наличие социальных гарантий со стороны государства.

Нынешняя социально-экономическая система не воспринимается большинством в качестве справедливой, поскольку не обеспечивает социальные права граждан, заявленные в Конституции, допускает возможность чрезмерного социально-экономического неравенства доходов; не обеспечивает реально равных стартовых возможностей, что ведет, как показывают последние исследования Института социологии РАН, к утрате чувства личной связи с государством, нарастанию отчуждения, атомизации российского общества, размывает важнейшее консолидирующее, консенсусное для всех слоев и групп начало — справедливость и восприятие государства как общего дела [М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова, 2013. С. 17].

При таком положении об общественной стабильности в России можно говорить лишь с большими оговорками. Потенциально она чревата взрывными конфликтами. Тем более что к настоящему времени в России сформировался значимый слой (страта) людей, готовых к активным действиям по изменению общественной модели, сформировавшейся в стране за последние два десятилетия. У них свое представление об общественном идеале, они верят в реализуемость своей мечты и готовы действовать во имя ее реализации. Важно и то, что в отношении наличия актуализированной потребности в изменении сложившейся модели общества данная группа не противостоит основной массе населения, а выступает в унисон с ней [Там же].

Данные макроконфликтогенные факторы накладываются на негативные стороны политико-административной культуры российских чиновников, связанные, как уже отмечалось, в первую очередь с коррупцией и административным произволом, формализмом и равнодушием к людям. И политическое руководство страны, и экспертное сообщество признают, что коррупция стала системным явлением. Она стала (подобно тому, как это имело место в царской России, когда та или иная должность рассматривалась как «место кормления») неотъемлемой, фактически легитимной в глазах чиновника частью его политико-административной культуры. При этом нельзя во всем обвинять только чиновников: истоки коррупции, в том числе в незавершенности реформ в России, — в недостроенности институционального каркаса государства и общества, что порождает неопределенность процедур принятия решений и размытость полномочий ответственных лиц. Непрозрачность и бесконтрольность со стороны общества в отношении действий и решений таких лиц еще более усиливают возможность произвольного толкования нормативно-правовых актов, использования служебного положения в корыстных целях. Как известно, бюджет России формируется большей своей частью за счет не налогов граждан, а доходов от газонефтяного комплекса. Соответственно одной из важнейших функций государства становится перераспределение этих доходов, что в свою очередь в ряду других факторов способствует формированию внутри самого государства распределительных коалиций, негласному слиянию интересов государственных и бизнес-структур, а в конечном счете соблазну принятия государственных решений в интересах узких групп.

До недавнего времени решительная борьба с коррупцией как системным явлением, ставшей частью управленческой практики, фактически не велась, несмотря на громкие коррупционные судебные процессы. Ориентация на административные методы как главный, основной ресурс управления по-существу превращала чиновничество в привилегированный слой. Корпоративные интересы чиновничества приобрели фактически самодовлеющее значение в системе управления, вошли в противоречие с интересами не только общества, но и политического руководства страны.

В этих условиях политическое руководство будет вынуждено принять кардинальные меры, направленные на борьбу с коррупцией. Они уже обозначены. Выступая на заседании Совета по борьбе с коррупцией в ноябре 2013 г., В. В. Путин наметил ряд важных мер, призванных повернуть процесс распространения коррупционных явлений вспять. Среди них такая принципиальная, как требование возложить

персональную ответственность на руководителей госорганов всех уровней «за проникновение в аппарат лиц, рассматривающих службу как источник личного неправомерного обогащения».

Эксперты полагают, что Россия наконец ратифицирует соответствующие международные соглашения, направленные на борьбу с коррупцией, что будет возвращать в законодательство статьи, связанные с конфискацией имущества лиц, замеченных в коррупционных связях. И, что чрезвычайно важно в рамках заявленной темы — связи политико-административной культуры с публичными ценностями, — наметились сдвиги в создании действенного механизма общественного политического и медийного контроля за деятельностью органов власти, правоохранительных органов в особенности.

Если этот механизм заработает, можно будет ожидать серьезных изменений в политико-административной культуре по крайней мере высших чиновников. Зарботает такой важнейший морально-политический фактор, как наличие соответствующей репутации у лиц, претендующих на место во властных структурах. Пока у нас в этом направлении делаются только первые шаги. Ряд депутатов Государственной Думы, не задекларировавших зарубежную собственность или замешанные в бытовых скандалах, вынуждены были сдать мандаты. Но это конечно же не стало правилом.

Следующим по значимости (после коррупции) полем конфликтности между политико-административной культурой аппарата и публичными ценностями являются, несомненно, стиль и методы отношений с гражданами: чиновники в лучшем случае считают себя слугами государства, но никак не общества, граждан. Для решения этой проблемы начиная с середины прошлого десятилетия правительство предпринимало серьезные усилия по внедрению в практику работы госучреждений стандартов оказания госуслуг и административных регламентов, о чем свидетельствуют попытки реализации административной реформы в РФ, в частности, внедрение стандартов и регламентов в работу госучреждений.

Это дало определенные результаты. Но проблема еще далека от решения. Не случайно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» буквально первым пунктом обозначено: «Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей: а) уровень удовлетворенности граждан... качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 г. — не менее 90 процентов».

Не вызывает сомнений, что решить проблему повышения качества предоставляемых государственных услуг только за счет внедрения новой техники или более рациональной организации работы аппарата не удастся. Необходима и перестройка мышления, политико-административной культуры чиновника, понимающего и принимающего свою ответственность как перед законом, государством, так и перед гражданами.

Еще один не до конца решенный вопрос — открытость гражданам деятельности органов власти. В 2010 г. вступил в силу Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Автору уже приходилось комментировать этот закон [GR-связи с государством. 2012. С. 134–146] и отмечать, что, несмотря на многие достоинства (например, возможность доступа потребителей информации на заседания государственных органов и органов местного самоуправления), его действенность нельзя признать удовлетворительной прежде всего потому, что далеко не всегда в законе прописаны гарантии исполнения заявленных принципов и норм. К примеру, в соответствующем французском законодательстве предусмотрена следующая норма: если решение органов власти не доведено до заинтересованных лиц, оно может быть оспорено в судебном порядке. Этой нормы в российском законе нет. И главное: открытость власти важна не сама по себе, а или как инструмент решения общественных проблем, как средство легитимации соответствующих действий властей и мобилизации усилий граждан на их реализацию или/и (именно и) привлечения граждан к процессу управления, поиску наиболее эффективных и приемлемых для граждан способов и механизмов решения волнующих их вопросов. Пока широкого запроса общества на участие в повседневной управленческой деятельности нет. Но, во-первых, такой запрос может появиться, а политико-административную культуру в одночасье не изменить. Следовательно, это тоже потенциально конфликтное поле взаимодействия. Во-вторых, в активных слоях общества этот запрос наличествует уже сегодня.

В вышеназванном Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. предусмотрен целый комплекс мер, направленных на решение проблемы демократизации деятельности органов власти, включая такие, как: общественное обсуждение разрабатываемых проектов, напрямую затрагивающих интересы граждан; публичные консультации; формирование общественных советов при органах государственной власти и т.д. Хотя преждевременно утверждать, что уже созданы институциональные основы взаимодействия на демократических началах органов власти и граждан и предстоит еще немало сделать в этом направлении²,

тем не менее очевидно и другое: для эффективного функционирования демократических институтов и процедур требуется соответствующая культура, в данном случае политико-административная культура у госслужащих, наличие у них желания и умения действовать и работать в соответствии с требованиями таких институтов и процедур. Это требование распространяется и на граждан: у них тоже должно быть желание и умение, знание, где и когда, как можно и нужно подключиться к деятельности органов власти. Помимо прочего, для этого требуется время, необходимое для освоения новых институтов и процедур, но главное все-таки, чтобы было желание у той и другой стороны. Если же желания сторон разойдутся — конфликты неизбежны.

Примечания

¹ Политико-административная культура в данном контексте — это стиль управления, включающий политическую и административную составляющую, культуру работы госаппарата: открытость и демократичность деятельности, отзывчивость к нуждам и запросам граждан, возможность контроля со стороны граждан за деятельностью аппарата и конкретного чиновника, возможность участия в той или иной форме в процессе управления. Противоположный стиль (закрытость, равнодушие, неподконтрольность, недоступность, формализм) — все то, что характеризует авторитарно-бюрократический стиль.

² Как показывают, например, исследования Л. И. Никовской и В. Н. Якимец, весьма часто общественные институты служат лишь камуфляжем для прикрытия весьма авторитарных бюрократических по сути методов руководства // Полис. 2011. № 1.

Литература

Горшков М. К., Тихонова Н. Е. Мечты россиян и реальность демоскопии // Полис. 2013. № 5.

Инглхарт Р. Постмодернизм: меняющиеся ценности и изменяющееся общество // Полис. 1997. № 4.

Левада-Центр // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/print/20-02-2012/pretenzii-rossiyan-k-pravitelstvu>.

Никовская Л. И., Якимец В. Н. Публичная политика в регионах России: типы, субъекты, институты и современные вызовы // Полис. 2011. № 1.

Сморгунов Л. В. В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного управления в XXI веке. СПб., 2012.

Шестопал Е. Власть и граждане: психология отношений // Независимая газета. 2013. 22 октября.

GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством / Под ред. Л. В. Сморгунова и Л. Н. Тимофеевой. М., 2012.

Zizek S. *Livig in the End Times.* L., 2001.

2.5. Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса как отрасль государственного управления*

Задачей данной статьи является рассмотрение вопроса о специфике государственной политики и управления в сфере избирательного процесса (государственной электоральной политики) как особого направления государственного регулирования.

Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса — относительно новое и значительное направление государственного регулирования, но по своему характеру оно не соответствует устоявшемуся толкованию отрасли государственного управления. Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса (государственная электоральная политика) в настоящее время не представлена ни в одной из классификаций отраслей государственного управления. Заявляя о государственной электоральной политике как об отрасли государственного управления, мы не просто предлагаем дополнить классификацию отраслей государственного управления, мы предполагаем обратиться и к более общему вопросу о корректировке взглядов на отраслевой характер государственного управления. Отсутствие государственной электоральной политики среди признанных отраслей является прямым следствием сложившихся методологических стереотипов в рассмотрении основных направлений государственного регулирования.

Понятие «отрасль государственного управления» содержит два аспекта, первый из которых отражает объект управления, а второй — субъект управления. Отрасль государственного управления предполагает, во-первых, наличие в качестве объекта некоторой совокупности учреждений, институтов, общественных отношений, объединенных по их практическому назначению, во-вторых, — наличие соответствующего специального государственного органа, отвечающего за реализацию государственной политики в данном направлении.

Наличие связки этих двух компонентов — отдельной области государственного регулирования и соответствующих управляющих институций — является ключевым. При наличии такой связки можно об-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-03-00153 «Государственная политика и управление в сфере избирательного процесса: концептуализация научного направления».

суждать вопрос о существовании отдельной отрасли государственного управления.

Таким способом можно выделить множество отраслей, поскольку современное государственное управление отличается как широким многообразием объектов регулирования, так и пестрым разнообразием соответствующих специальных органов управления — министерств, департаментов, агентств и иных ведомств.

Помимо этого, в понятие отрасли государственного управления включен еще один признак, который ограничивает это чрезмерное многообразие и систематизирует его. Таким дополнительным признаком считается обязательное наличие не просто специального органа государственного управления, но именно специального органа исполнительной власти (министерства, департамента и т.д.). Существуют дефиниции, которые определяют отрасль государственного управления как совокупность учреждений и отношений, находящихся в ведении органа исполнительной власти.

Данный подход, привязывающий отрасль государственного управления к неперемennomu наличию органа исполнительной власти, преобладает в научной и — особенно — учебной литературе. Очевидно, что государственная политика в сфере избирательного процесса не соответствует этому толкованию отрасли государственного управления, поскольку государственные органы, ответственные за проведение выборов, в большинстве стран мира не относятся к исполнительной ветви власти.

Этот подход, по нашему убеждению, во-первых, противоречит современной практике государственного управления, во-вторых, имеет негативные методологические последствия, искажая современную картину специализации государственного управления.

Помимо государственной электоральной политики, есть и иные крупные направления государственного регулирования, которые не соответствуют оспариваемой нами дефиниции отрасли государственного управления. Наиболее яркий пример — финансово-кредитная политика государства, которая в большинстве стран выведена из сферы ведения исполнительной ветви власти. Подход, сводящий отрасль государственного управления к неперемennomu наличию специального органа исполнительной ветви власти, не соответствует современному развитию системы разделения властей. В настоящее время многообразие государственных органов не исчерпывается тремя ветвями власти, и соответственно исполнительная ветвь власти охватывает далеко не все направления государственного регулирования.

Изучение многообразия направлений государственного регулирования в рамках, заданных обязательным наличием исполнительных органов власти, оказывается необоснованно зауженным и искажает системные представления о государственном управлении. Современные направления государственного регулирования, выходящие за пределы полномочий исполнительной ветви власти, — интереснейший объект современной эволюции государственного управления. Здесь возникают абсолютно новые формы принятия решений, новые по организации и характеру работы органы власти, уникальные управленческие технологии. Изучение отличий этих новых направлений государственного регулирования от традиционных отраслей управления представляет большой эвристический интерес. Оно способно расширить и систематизировать знания о многообразии направлений государственного управления.

Таким образом, сведение понятия отрасли государственного управления к обязательному наличию органа исполнительной власти представляется неоправданным.

В пользу признания государственной политики и управления в сфере избирательного процесса как отрасли государственного управления можно привести еще один аргумент, основанный на одной из классификаций органов власти. В зависимости от объекта управления органы власти делятся на органы общей, отраслевой, межотраслевой и региональной компетенции. В рамках этой классификации органы управления выборами (в России — избирательные комиссии, за рубежом — иные разновидности избирательных органов) являются органами отраслевой компетенции.

Отталкиваясь от этой позиции, мы можем рассмотреть вопрос о специфике государственной политики и управления в сфере избирательного процесса (государственной электоральной политики) как особого направления государственного регулирования.

В системе отраслей государственного управления место государственной политики и управления в сфере избирательного процесса можно определить следующим образом. В соответствии с распространенным подходом отрасли государственного управления разделяются на три группы в зависимости от сферы регулирования:

- 1) экономическая сфера (финансы, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, природные ресурсы, торговля);
- 2) социально-культурная сфера (здравоохранение, социальная защита населения, культура, образование и наука);

- 3) административно-политическая сфера (оборона, безопасность, внутренние дела, юстиция, иностранные дела и т.д.)¹.

В соответствии с этой классификацией, предложенной в 2010 г. В. В. Степанюком, государственная политика и управление в сфере избирательного процесса относится к административно-политической сфере.

Существенные отличия государственной электоральной политики от иных отраслей заключаются как в объекте, так и в субъектах управления.

Объект государственной политики и управления в сфере избирательного процесса

Объектом государственной электоральной политики является избирательный процесс, совокупность электоральных институтов, деятельность специальных органов управления в сфере избирательного процесса.

Ряд зарубежных авторов развернуто определяют перечень вопросов, относящихся к объекту государственного регулирования в сфере избирательного процесса.

В 2014 г. в рамках международного научного проекта «*Electoral Integrity Project*» под руководством Пиппы Норрис была представлена модель «электорального цикла», включающая 11 компонентов: избирательное законодательство, электоральные процедуры, установление границ округов, регистрация избирателей, регистрация кандидатов и партий, проведение избирательной кампании, голосование, подсчет голосов, поствыборный этап, органы управления выборами². Участники этого научного проекта С. Черных, З. Элкинс, Дж. Мелтон и Т. Гинсбург предложили деление электорального менеджмента на две основные составляющие — электоральное администрирование и обжалование результатов выборов (*adjudgement*). Данный подход обладает некоторыми недостатками. Во-первых, он не включает такой компонент, как разработка и принятие политических решений по организации института выборов. Во-вторых, создается привязка к этапам проведения избирательной кампании, а не к компонентам управленческого процесса при организации института выборов.

Специфика объекта государственной электоральной политики может быть определена, если мы разделим отрасли государственного управления на две группы.

Первую и наиболее многочисленную из них можно назвать традиционными отраслями государственного управления, для которых характерно, что объект государственного регулирования возникает и существует независимо от государства, становится объектом государственного регулирования на определенном этапе своего развития. Традиционными отраслями государственного управления являются сельское хозяйство, транспорт, жилищная политика, образование и т.д.

Государственная электоральная политика относится ко второй группе отраслей, для которых объект управления не существует отдельно от государства, создается государственной властью и находится в рамках государственно-управленческой деятельности.

В отличие от политического процесса в его широком понимании избирательный процесс не существует вне сферы государственного регулирования. Проведение выборов отдельно от государственной власти возможно лишь в исключительных случаях — либо когда идет речь о свержении легальной государственной власти, либо соответствующие государственные институты находятся в процессе формирования. При нормальных условиях избирательный процесс осуществляется только в тех формах, которые создаются государственной властью, и только при участии государственных органов.

Обратим внимание, что в объект государственного регулирования в сфере избирательного процесса входят:

- 1) специальные государственные органы власти;
- 2) созданные и поддерживаемые государством электоральные институты — правила и процедуры избирательного процесса;
- 3) регулируемый государством статус негосударственных субъектов избирательного процесса — кандидатов, избирательных объединений, избирателей.

Если интерпретировать избирательный процесс как систему, то государственную природу имеет не только продукт этого процесса на выходе — замещаемые государственные должности, и не только избирательные органы и правила избирательной системы. Государственную природу имеет также и статус общественных участников, который они приобретают на входе в избирательный процесс. Общественно-политические лидеры, коллективные акторы и население на входе в избирательный процесс приобретают новый статус — кандидатов, избирательных объединений и избирателей. Этот статус создается и регулируется государством и также относится к сфере государственно-управленческой деятельности.

В современном государственном управлении объект и субъекты управления могут быть тесно взаимосвязаны. В отрасли государственной электоральной политики объектом могут выступать сами субъекты управления — избирательные органы, — которые во многих странах являются объектом регулирования других избирательных органов (электоральных судов, контрольных комиссий и т.д.).

Субъекты государственной политики и управления в сфере избирательного процесса

Субъектами государственной электоральной политики являются органы власти, обладающие полномочиями по управлению в сфере избирательного процесса. В этой роли могут выступать как неспециализированные (неотраслевые) органы власти, например, парламент, так и специальные органы управления — избирательные органы.

Возникновение специальных органов является одним из ключевых показателей, свидетельствующих о становлении отдельной отрасли государственного управления.

В истории государственной электоральной политики вплоть до XX столетия в большинстве стран мира отсутствовали специальные органы, ответственные за проведение выборов, и эти вопросы относились к полномочиям более общего органа управления, обычно — министерства внутренних дел.

В течение XX в. происходит стремительная институционализация избирательных органов. По своему разнообразию и сложности конфигураций органы государственного управления в сфере избирательного процесса не могут сравниться ни с одной другой отраслью управления.

Для изучения специальных органов управления в сфере выборов серьезное значение имеет выбор приемлемого термина.

В англоязычной литературе существует общий термин для обозначения органов управления, ответственных за проведение выборов, — «*electoral management bodies*» (сокращенно *EMB*). Термин применим как к независимым институциям, например, к избирательным комиссиям, так и к органам исполнительной ветви власти.

В отечественной науке существует подходящий термин «избирательные органы». Этот термин применяется в конституционном праве, его использовали А. Ю. Бузин и др., но термин не пользуется популярностью в российской политической науке. По нашему мнению, целесообразно оперировать именно этим термином при исследовании

государственного управления в сфере избирательного процесса. Предлагаем следующее определение этого термина.

Избирательные органы (или «органы управления избирательным процессом») — это специальные органы публичного управления в сфере организации, проведения, контроля и обжалования выборов.

Термин «избирательные органы» потенциально даже более удачен, чем англоязычный «*electoral management bodies*». Последний (вследствие специфики слова «*management*») применяется в первую очередь по отношению к органам, которые непосредственно организуют и проводят выборы. Он не применяется к некоторым специфичным органам управления в сфере избирательного процесса (например, к электоральным судам и т.д.). Этот терминологический нюанс оказывает серьезное влияние на все понимание системы управления выборами. Например, принято считать, что в США органы управления выборами не отделены от исполнительной ветви власти. Такое заблуждение существует именно вследствие специфического применения термина «*electoral management bodies*». На самом деле кроме органов, непосредственно проводящих выборы (которые действительно не отделены от администрации), существует множество других независимых специальных органов управления в сфере избирательного процесса, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Следовательно, более верно будет звучать, что в США существуют различные избирательные органы, как обладающие независимостью, так и включенные в состав исполнительной ветви власти.

Термин «избирательные органы» позволяет вывести обзор исследователей за пределы электорального администрирования и включает в поле внимания все многообразие специальных органов, включенных в управление выборами.

Уникальность современного развития избирательных органов выражается прежде всего в двух тенденциях — их автономности и возрастающей специализации.

Автономность избирательных органов

В большинстве стран мира создание специальных избирательных органов (избирательных комиссий и т.д.) сопровождается их отделением от исполнительной ветви власти и автономизацией во всей системе государственного управления.

Интересно, что процесс автономизации избирательных органов начался в недостаточно демократических странах и только на самом

последнем этапе охватил страны устойчивой демократии. Во второй четверти XX в. независимые органы управления выборами появляются в большинстве стран Латинской Америки. С середины века независимые избирательные комиссии возникают в освободившихся от колониальной зависимости странах Африки и Азии. Третья волна демократизации и падение социалистической системы привели к формированию независимых избирательных комиссий в конце XX в. в странах Восточной Европы, ЮАР.

С конца XX в. эта тенденция распространилась и на развитые демократические страны. В Австралии избирательная комиссия была создана в соответствии с электоральным законом 1918 г., но самостоятельным федеральным органом власти стала в 1984 г. В Новой Зеландии Избирательная комиссия стала самостоятельным органом власти в 1993 г., в Великобритании — в 2001 г. До сих пор в некоторых западных демократиях избирательные органы включены в исполнительную ветвь власти (Германия, Швеция и т.д.), но в целом автономизация избирательных органов стала господствующей в мире тенденцией.

Управление выборами — единственное из направлений государственного регулирования, которое во многих странах официально имеет конституционный статус четвертой ветви власти. Официальное разделение на четыре ветви государственной власти — законодательную, исполнительную, судебную и электоральную — закреплено в конституциях Никарагуа (1987 г.), Венесуэлы (1999 г.), Эквадора (2008 г.), Боливии (2009 г.). Под электоральной ветвью власти понимается абсолютно независимая система властных органов, ответственных за весь процесс проведения и обеспечения политических выборов.

В большинстве стран мира так называемая избирательная власть статуса четвертой ветви власти формально не имеет, но обладает им де-факто. Она максимально функционально независима от иных органов государственной власти, члены избирательных органов по статусу приравнены к высшим должностным лицам, существует одна из самых сложных в государственном управлении система назначения членов избирательных органов, предусматривающая их независимость от какой-либо одной ветви власти.

В современной науке присутствует точка зрения, что автономность органов управления выборами от исполнительной власти нужна только для недостаточно демократических стран.

Например, в рамках проектов международного Института демократии и содействия выборам (*IDEA*) подчеркивается, что чем меньше в обществе уровень доверия институтам власти, тем более самостоятельны-

ми должны быть органы управления выборами. В справочнике *IDEA* по правовым основам выборов в 2012 г. утверждается, что именно низкий уровень доверия к выборам является причиной учреждения независимых органов управления выборами, равно как и иных мер, направленных на защиту выборов от вмешательства правительства. При этом выдвигается тезис, что чем более успешным является демократический транзит, тем меньшее значение имеет независимость органов управления выборами.

Существуют аргументы в пользу той точки зрения, что в развитых демократических странах избирательные органы не обязательно должны быть отделены от исполнительной ветви власти. Во-первых, развитая демократическая среда препятствует правящим элитам и бюрократии открыто вмешиваться в проведение выборов. Во-вторых, существует эффект политически нейтральной госслужбы — государственные служащие в развитых демократических странах объективно не зависят от того или иного исхода выборов и не имеют мотивов для совершения электоральных злоупотреблений.

В крупном коллективном докладе «*Electoral Management Design*», подготовленном под эгидой *IDEA* в 2006 г., содержится рекомендация именно для неустойчивых демократий использовать в качестве «идеальной» модель независимых органов управления выборами, отделенных от других ветвей власти.

Тем самым выдвигается интересное предположение, что независимость органов управления выборами от исполнительной ветви власти — это временное явление, необходимое только на период демократического транзита.

Иного мнения по этому вопросу придерживаются эксперты ОБСЕ, Венецианской комиссии Совета Европы и Совета по правам человека ООН. В докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами (2010 г.) говорится о том, что органы, ответственные за проведение выборов, должны быть независимы от органов государственной власти³. В 2012 г. Совет по правам человека ООН также заявил о необходимости независимых органов управления выборами. Автономность системы управления выборами рассматривается не как временная мера для транзитивных стран, но как универсальная рекомендация для организации демократических выборов.

По нашему мнению, автономность органов управления выборами является важным ориентиром для демократической организации выборов. Особая актуальность этого принципа для стран с неустойчивой демократией не отменяет значение этой институциональной находки и для развитых демократических стран.

Специализация и типология избирательных органов

Государственная электоральная политика в отличие от всех иных отраслей управления во многих странах не имеет единого органа управления. Полномочия по управлению выборами разделены между множеством избирательных органов, при этом к числу их функций относится взаимный контроль. Децентрализация управленческих функций в сфере избирательного процесса, которая существует во многих странах, не имеет аналогий в других направлениях государственного регулирования.

Большое многообразие избирательных органов, существующих в странах мира, может быть классифицировано по функциональному принципу, основанному на различии роли и задач органов в организации избирательного процесса. Данная функциональная типология избирательных органов включает 8 групп:

1. *Органы проведения голосования*, обеспечивающие непосредственное голосование и подсчет голосов (в России, США, Испании — низовые избирательные комиссии, в Швеции — муниципальные избирательные комитеты, в Великобритании — Уполномоченные по выборам и т.д.).

2. *Органы общего руководства избирательным процессом*, как правило, ответственные за регистрацию кандидатов, изготовление избирательных бюллетеней, методическое обеспечение и подготовку низовых органов, непосредственно обеспечивающих голосование. В России — ЦИК и избирательные комиссии субъектов Федерации, в США — Избирательные комиссии штатов, в Великобритании и Австралии — Избирательные комиссии на общегосударственном уровне, в Швеции — правительственное агентство по выборам, в Испании — Центральный избирательный совет и т.д.

3. *Органы, ответственные за регистрацию избирателей* (в Великобритании — Уполномоченный по спискам избирателей, в Испании — Бюро электоральной переписи, в Новой Зеландии в 1993–2010 гг. — Центр регистрации избирателей, в Зимбабве — орган регистрации избирателей и т.д.).

4. *Органы, ответственные за изменение границ избирательных округов*. Впервые возникли в Новой Зеландии в 1887 г., также существуют в Великобритании, Австралии, Канаде, Германии, Японии и т.д.

5. *Органы, ответственные за рассмотрение избирательных споров* (электоральные суды). Специальные электоральные суды, отделенные от других избирательных органов, существуют во многих латиноамериканских странах.

риканских странах, Великобритании, Швеции, Боснии и Герцеговине, Непале, Филиппинах, ЮАР, Нигерии, Турции, Зимбабве.

6. *Органы финансового и иного контроля* в сфере избирательного процесса (Федеральная избирательная комиссия США, комиссия по надзору за выборами в Зимбабве в период 1980—2004 гг.).

7. *Органы по электоральному реформированию* (комиссии по электоральной реформе, ассамблеи граждан и т.д.).

8. *Иные органы* по обеспечению выборов (Комиссия содействия выборам в США с 2002 г., отвечающая за информационно-технологическое обеспечение, Электоральный прокурор Панамы и т.д.).

Существует тенденция к возрастанию разнообразия органов управления в сфере избирательного процесса. Отдельные разновидности избирательных органов впервые возникли в XXI в.

Привлекает внимание следующая тенденция — распространение избирательных органов, основной задачей которых являются контроль и надзор над другими избирательными органами (электоральные суды, Федеральная избирательная комиссия США и т.д.).

Характер распределения управленческих функций между избирательными органами в некоторых странах позволяет провести аналогию с принципом разделения властей в рамках отдельно взятого направления государственного регулирования — государственной электоральной политики.

В пользу этой аналогии свидетельствует другая тенденция — отделение органов, ответственных за непосредственное проведение выборов, от избирательных органов, ответственных за принятие политических решений по изменению избирательной системы (комиссии по электоральному реформированию, ассамблеи граждан по электоральной реформе и т.д.).

Существует ли оптимальная конфигурация избирательных органов?

Система избирательных органов в России является одной из наиболее простых, включает в себя иерархию органов под единым названием «избирательные комиссии». Избирательные комиссии, находящиеся на разных уровнях иерархической системы (например, Центральная и областная избирательные комиссии), не могут не отличаться друг от друга по функциям и объему задач, но эти различия минимизированы настолько, насколько это технически возможно.

Данная модель не является единственно существующей в мире. Во многих странах, где избирательные органы разделены по функциональному принципу, возникают сложные конфигурации органов управления выборами.

Существующее многообразие конфигураций избирательных органов мы предлагаем разделить на две основные группы:

- 1) *вертикальная модель* организации системы избирательных органов. На каждом территориальном уровне управления выборами (центральном, региональном, местном) существует только один избирательный орган, который выполняет все функции по регулированию выборов на своем уровне управления. Избирательные органы различных уровней несколько отличаются друг от друга лишь постольку, поскольку этого требует специфика данного уровня управления;
- 2) *функциональная модель* организации системы избирательных органов. Многообразие избирательных органов определяется не уровнем управления, а их специализацией и выполнением разных управленческих задач.

Примером вертикальной модели являются системы избирательных комиссий в России, других постсоветских странах, странах Восточной Европы, в Индии, Нигерии, Японии, Южной Корее и т.д.

Функциональная модель по определению более сложная. Но она не всегда сопровождается чрезмерным многообразием и сложностью распределения функций между избирательными органами.

Примерами такого упрощенного варианта функциональной модели могут быть некоторые латиноамериканские страны, в которых существуют два функциональных типа избирательных органов — избирательные комиссии, ответственные за проведение выборов, и электоральные суды (Чили, Мексика, Эквадор, Сальвадор, Гаити). Аналогичная модель действует на Филиппинах.

В Испании тоже существуют два функциональных типа избирательных органов — избирательные комиссии и Бюро электоральной регистрации.

В таких странах, как Австралия, Канада, Япония, Германия, Новая Зеландия, существует конфигурация из следующих двух типов органов — избирательных комиссий и комиссий по изменению границ избирательных округов.

В некоторых случаях диверсификация избирательных органов может быть гораздо более сложной.

Великобритания имеет одну из самых сложных конфигураций избирательных органов. Здесь можно выделить 5 функциональных типов избирательных органов: избирательные комиссии, комиссии по изменению границ избирательных участков, уполномоченные по выборам, уполномоченные по спискам избирателей и электоральный суд.

В США конфигурация избирательных органов может быть признана самой сложной в мире. На федеральном уровне существуют 2 разных функциональных органа, выполняющих относительно скромную роль в проведении выборов, — Федеральная избирательная комиссия США и Комиссия содействия выборам. На уровне штатов могут существовать независимые избирательные комиссии — Советы по выборам, осуществляющие общее руководство, независимые комиссии по изменению границ избирательных округов, комиссии по контролю над соблюдением избирательного законодательства, дирекции по выборам (входят в аппарат государственного секретаря штата и обеспечивают выполнение решений Совета по выборам). Считается, что в США избирательные органы, непосредственно обеспечивающие голосование, включены в систему исполнительной власти. При этом следует учитывать, что в большинстве случаев они входят в структуру государственного секретаря штата, т.е. не зависят не только от федеральной исполнительной власти, но и от администрации губернатора.

В Новой Зеландии в 1993–2010 г. существовали три разных по функциям избирательных органа (Избирательная комиссия, Главное электоральное бюро и Центр регистрации избирателей), которые после реформы 2010 г. были объединены в единую Избирательную комиссию. Но сохранился еще один отдельный орган — старейшая в мире комиссия по изменению границ избирательных округов.

Сложная конфигурация избирательных органов иногда встречается и в государствах, далеких от того, чтобы считаться демократическими. В Зимбабве существуют 4 функциональных типа избирательных органов: избирательные комиссии, комиссии по изменению границ избирательных округов, орган регистрации избирателей и электоральные суды.

Можно ли в настоящее время сформулировать выводы относительно предпочтительности той или иной конфигурации избирательных органов?

По нашему мнению, вопрос о наиболее эффективной конфигурации избирательных органов зависит от того, признаем ли мы оправдавшим себя опыт существования конкретных отдельных типов избирательных органов. Независимая комиссия по изменению границ

избирательных округов, бесспорно, является ценным и эффективным институциональным изобретением. Также следует признать перспективным опыт электорального суда, не участвующего в проведении выборов. Он позволяет обеспечить внешний контроль над действиями избирательных комиссий и, в отличие от суда общей юрисдикции, обладает компетенцией в решении избирательных споров.

Скорее всего однозначной и эффективной в любом контексте модели организации выборов не существует; в качестве наиболее общей гипотезы можно предположить, что в современном политическом процессе в большей степени могут быть востребованы сложные модели конфигурации избирательных органов.

Проблема политического управления в сфере избирательного процесса

Одной из острейших проблем остается проблема обеспечения эффективного и справедливого политического управления в сфере избирательного процесса.

Как никакая другая отрасль публичного управления, государственная электоральная политика нуждается в особом порядке принятия решений. Вопросы организации выборов являются объектом излишне заинтересованного внимания политических партий, в том числе преобладающих в органах власти. Для того чтобы правила игры изменялись не в интересах самих игроков, а в интересах всего общества и здорового функционирования политической системы, развитые демократические страны идут по пути поиска новых демократических форм принятия решений по организации избирательного процесса.

Относительно административного управления избирательным процессом ситуация представляется гораздо более ясной и благополучной, прежде всего в развитых демократических странах, и не только в них.

Но процессы принятия политических решений в сфере управления выборами не могут не вызывать тревогу. Слишком часто эти вопросы оказываются в зависимости от корыстной позиции конкретных политических партий и отдельных игроков. Механизмы эффективного и справедливого принятия политических решений по управлению выборами отсутствуют даже в наиболее демократических странах. Случай с электоральной реформой в Новой Зеландии в 1993 г. является скорее исключением. Гораздо больше существует неудачных примеров попыток реформирования избирательных систем.

В системе политического управления выборами до сих пор не найдены пути решения «парадокса реформы» — ситуации, при которой общественно-политическая система объективно нуждается в реформе, есть общественный консенсус о ее целесообразности, но реформа практически невозможна, потому что политическая партия, находящаяся у власти, не может на нее пойти именно потому, что она находится у власти благодаря существующей системе. Яркий современный пример «парадокса реформы» — это ситуация с избирательной реформой в Великобритании. Конечно, партия консерваторов, получившая на парламентских выборах в мае 2015 г. 51% мест в парламенте при 36% голосов, сделает все, чтобы сохранить действующую электоральную формулу. Правящие партии применяют «непробиваемые» манипулятивные технологии при решении вопроса об электоральной реформе в Великобритании и канадских провинциях.

Но помимо «парадокса реформы», существуют и еще большие для политической системы опасности — осуществление правящими партиями несправедливых преобразований избирательной системы.

Даже среди стран западной демократии существуют совершенно недопустимые и циничные примеры политически несправедливых и партийно ангажированных электоральных реформ, направленных на порчу избирательной системы в интересах правящих групп. Например, реформа избирательной системы в Италии в 2005 г., для адекватной характеристики которой Дж. Сартори не смог подобрать цензурные эпитеты.

Стали ли новации последних двух десятилетий — электоральные референдумы и «ассамблеи граждан» по электоральной реформе — потенциально перспективными формами политического управления в сфере организации выборов?

В начале 2000-х годов существовали надежды, что эффективным институтом политического управления избирательной системой станет электоральный референдум. Но на текущий момент этот инструмент не работает.

Начиная с 1991 г. состоялось 15 референдумов в Новой Зеландии, Великобритании, Италии, канадских провинциях, о. Джерси, на которых выносился вопрос о способе формирования представительного органа власти. Ни одна другая отрасль публичного управления не удостоивается настолько частого обсуждения на референдумах за последнюю четверть века. Но только однажды — в Новой Зеландии в 1993 г. — референдум привел к изменению избирательной системы. Зачастую на референдум выносились проекты, которые не пользовались общественной поддержкой, даже наоборот — были обречены на неудачу и, по нашему мнению, стали циничной формой саботажа электоральной

реформы со стороны правящих партий (референдумы в канадских провинциях, Великобритании). В условиях кризиса доверия к избирательной системе на референдум подчас выносятся проекты, очевидно еще худший, и его провал используется как аргумент для сохранения существующей непопулярной модели.

Настоящим фарсом оказался электоральный референдум в Великобритании в 2011 г. Британская общественность ждала это события более века, но в итоге на голосование был вынесен заведомо безнадежный и никого не устраивавший проект, возникший вследствие политической сделки консерваторов и либеральных демократов.

Также неудачным оказался опыт «ассамблей граждан по электоральной реформе». Данные органы, формировавшиеся из граждан путем жеребьевки, впервые возникли в провинциях Канады (в Британской Колумбии в 2003–2005 гг., в Онтарио в 2005 г.). В 2006 г. гражданская ассамблея по электоральной реформе была создана в Нидерландах. Только после этого опыт гражданских ассамблей был использован для разработки иных проектов по государственному управлению (ассамблея граждан по конституционной реформе в Исландии в 2010 г.).

Ассамблеи граждан формируются при сохранении некоторых пропорций гендерного и территориального представительства. Численность ассамблеи — более 100 человек. Задача — разработка проекта новой избирательной системы, который в дальнейшем должен быть вынесен либо на референдум, либо на рассмотрение представительного органа власти.

Ассамблеи граждан являются примером совещательной демократии, которая относится к числу наиболее активно обсуждаемых в современной политической науке. Появление ассамблей граждан вызвало энтузиазм у многих экспертов как пример «обновления демократических институтов», как новый механизм вовлечения граждан в разработку государственных решений. Но ни один из разработанных ими проектов не был в итоге реализован — они были отклонены либо на референдуме, либо в парламенте.

Возможно, этот неудачный опыт сыграет свою роль в поиске новых и более эффективных институциональных форм политического управления в сфере избирательного процесса — одного из важнейших направлений совершенствования государственной электоральной политики.

Примечания

¹ Административно-процессуальное право: Словарь терминов и понятий / Сост. В. В. Степанюк. М., 2010.

² *Advancing Electoral Integrity* / Ed. by P. Norris, R. Frank, and F. Martinez. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 316.

³ Руководство по наблюдению за выборам. Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 2010.

Литература

Административно-процессуальное право: Словарь терминов и понятий / Сост. В. В. Степанюк. М., 2010.

Гришин Н. В. Государственная электоральная политика: предметная область нового научного направления // Каспийский регион: Политика, экономика, культура. 2014. № 3. С. 71–82.

Манохин В. М. Отраслевой принцип в государственном управлении // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 3. С. 80–83.

Морозова О. С. Формирование избирательных округов как метод электорального таргетирования // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 1. С. 106–112.

Руководство по наблюдению за выборам. Варшава: БДИПЧ ОБСЕ, 2010.

Advancing Electoral Integrity / Ed. by P. Norris, R. Frank, and F. Martinez. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm: IDEA, 2006.

International Electoral Standards Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Election: The International IDEA Handbook. Stockholm: IDEA, 2012.

López-Pintor R. *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance.* N.Y.: UNDP, 2000.

2.6. Об исторической специфике русской власти

В 1921 г. известный ученый Р. Ю. Виппер подводил итоги свершившихся событий. «Произошло все как раз наоборот предвидению теории — мы притягивали историю для объяснения того, как выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет... проверить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования ... науки»¹. — С тех пор с «Русским государством» произошло еще много чего — оно возрождалось, вновь «падало», вновь пыталось возродиться. Однако «толкования науки» так и не изменились, т.е. до сих пор мы не удосужились разработать методологию, с помощью которой можно *адекватно* описывать, изучать, анализировать феномен русского государства. Более того, большинство исследователей даже не подозрева-

ет, что «Русское государство» есть нечто в высшей степени специфическое. И оно весьма отличается от того, что мы привыкли называть государством...

Дело в том, что в современной науке под псевдонимом «государство» скрываются различные, по своей природе очень далекие друг от друга типы власти. Государство Древнего Рима, государство инков, государство Китая и т.д. Говорят: да, все это — государства, хотя и несхожие. С этим можно было бы, наверное, согласиться, если бы не одно обстоятельство.

На всех основных европейских языках «государство» звучит одинаково: *state*, *Staat*, *etat*, *stati*, *estado* (от лат. *status*). Этот термин возник относительно недавно — четыре столетия назад. Раньше для обозначения властного устройства европейцы использовали другие понятия: *polis*, *res publica*, *civitas*, *regnum*, *imperium* и т.д. В XVI—XVII вв. в европейском самосознании и природе европейского социума происходят фундаментальные сдвиги. Реформация, гуманизм, созревание капитализма, возникновение наций, постепенное разрушение сословной организации, рождение идеи прав человека и вообще нового понятия о праве — в определенном смысле все это события одного ряда, свидетельствующие о наступлении принципиально новой эпохи. Государство (*state*) также «событие» из этого ряда. Оно, повторяю, не есть форма организации власти вообще, но — того типа власти, который характерен для Западной Европы начиная с XVI—XVII столетий (а затем и «дочерних предприятий» фаустовской цивилизации по всему свету). А «*state*» есть понятие, с помощью которого описывается **этот** (и никакой другой!) тип власти.

По поводу происхождения и природы государства (*state*) очень важные наблюдения были сделаны Карлом Шмиттом. «Государство (*Staat*) ... есть в высшей степени единичное, конкретное, обусловленное временем явление, которой следует датировать эпохой с XVI по XX столетие христианского зона и которое вышло из этих четырех веков, из Ренессанса, Гуманизма, Реформации и Контрреформации; оно есть нейтрализация конфессиональной гражданской войны, а также специфическое достижение западного рационализма и т.д. Государство есть по преимуществу продукт религиозной гражданской войны, ее преодоление посредством нейтрализации и секуляризации конфессиональных фронтов, т.е. детеологизации»².

Итак, государство (*state*) явилось (во многом) и результатом, и способом выхода из полуторастолетнего кровавого конфессионального конфликта. Причем результатом и способом весьма своеобразным. Ни одна из конфессий не одержала победу. Однако не победила и «друж-

ба» между католиками и протестантами. Компромисс был достигнут путем выхода из сферы религиозного. Произошла, по словам К. Шмитта, «детеологизация». Детеологизация сознания и социума. Самоидентификация человека не только по конфессиональному, но и по вообще религиозному принципу уступила место самоидентификации по принципу государственно-политическому (или национально-государственному). Религиозное как таковое вытеснялось из сферы властных отношений. Строилась новая Вселенная — антропоцентричная. Теоцентричный мир был отправлен на свалку истории. *State* и есть властное измерение антропоцентричной европейской цивилизации последних четырех веков.

Но подчеркнем: Бог не был изгнан из этого *brave new world*. Он «лишь» перестал быть смысловым центром этого мира... Государство (*state*) лишь отчасти пришло ему на смену; как мы понимаем, ни о какой полной «смене вех» не может быть и речи. Одновременно государство есть результат страха, охватившего европейцев в холодной неуютности победившего гуманизма. Это позже сентиментализм и романтизм делают этот мир более теплым и приятным. И западный конституционализм во многом явится плодом этих (разумеется, и других) коллизий, новаций, «необходимостей». Тот же К. Шмитт фиксирует: «...право на религиозное заблуждение стало основой современного конституционного права»³. Иными словами, конституции рождаются там и тогда, где и когда «религиозное» в социальном отношении становится относительным. Конституционное государство — это примета мировоззренчески релятивистского мира. Но оно невозможно (по сути, а не как прикрытие чего-то иного) в социумах теоцентричных и атеистических.

Constitutional state возникает в обществе посюстороннего консенсуса, где религия — частное внутреннее дело человека. «Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом, он (Лютер. — Ю. П.) заложил основы европейской демократии, ибо тезис «Каждый сам себе священник» — это и есть демократия»⁴. В этих словах «схвачено» содержание современного Запада — христианская полисубъектность, полагающая отношения человека с Богом делом сугубо внутренним, личностным, интимным. И потому общественный договор, социальный консенсус строится здесь относительно ценностей «предпоследних» (политических, правовых, экономических и т.д.). Религиозно-метафизическое выведено за пределы социального порядка, выведено за штат (дословно: за *Staat, state, etat*).

Потому-то главный субъект западных конституций — гражданин, гражданское общество, нация. Последняя является способом, средств-

вом, путем интеграции всех элементов гражданского общества в политическое единство — государство. Именно с этой целью (интеграция) нация создает конституцию. Но в основе всего, скажем об этом еще раз, человек — гражданин, живущий в секуляризованном, антропоцентричном мире, поделенном на публичную и частную сферы. Это — *homo occidentalis*...

Подчеркнем: современное государство (*state*) есть по преимуществу государство конституционное, живущее по духу и букве Основного закона! Поэтому его природа и зашифрована в конституционных текстах. Следовательно, необходимо четко представлять себе, чем является современная конституция. Сделаем это, опираясь на воззрения двух классиков социальной мысли XX столетия (кстати, антагонистов) — Карла Шмитта и Ганса Кельзена.

Конституция непременно соответствует императиву гражданских свобод и содержит твердые гарантии этих свобод. Причем под свободой здесь прежде всего имеется в виду гарантированная законом свобода индивида от государства. В конституции подобная свобода закрепляется следующим образом: признаются основные права, фиксируются принципы разделения властей и участия народа в законодательном процессе. Провозглашение в конституции основных прав означает, что общество усвоило идею свободы. Осуществление же принципа разделения властей свидетельствует о том, что идея свободы получила организационные гарантии против возможных злоупотреблений властью со стороны государства.

Главная цель конституции — защита свободы гражданина от власти государства. В связи с этим в основе конституции лежат два постулата: распределительный и организационный. Распределительный постулат подразумевает, что свобода индивида принципиально не ограничена, в то время как возможность государства вторгаться в сферу индивидуальной свободы принципиально ограничена. В соответствии с этим индивид обладает правами, имеющими над- или метаполитическую природу. Организационный постулат обеспечивает реализацию распределительного. Суть организационного постулата заключается в том, что власть государства принципиально ограничена — разделена на три ветви. Таким образом становится возможным контроль за госаппаратом.

Наряду с этой традицией — либерального конституционализма (у истоков Локк и Кант), в Европе существует и другая, представленная прежде всего именами Макиавелли и Гоббса. Она опирается на идею утверждения властной монополии государства. Гоббсовское властное государство есть институционализируемая монополия аппарата на

разрешение конфликтов внутри страны (в XX в. этот мотив развивал М. Вебер⁵). Оно — **политический** аспект современного государства. В то время как либеральный конституционализм — **правовой**. Цель конституционного государства состоит в ограничении, обуздании, обязывании властного государства посредством правовых норм.

Это шмиттовско-кельзеновское понимание «идеи» конституции необходимо дополнить следующим. Задача Основного закона состоит не только и не столько в «освящении» той или иной властной структуры, а в **упорядочении открытого** (по своей природе) **политического процесса**. Видеть в Конституции нормативное закрепление **определенной** формы правления — значит, обеднять ее содержание. Это — **открытая норма**, в рамках которой возможна как сегодняшняя политическая система, так и некие другие ее варианты в будущем. «Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут... функционировать в одних и тех же юридических рамках», — писал Морис Дюверже⁶.

Весьма удачное, на мой взгляд, определение конституции дал во семьдесят пять лет назад русский юрист Е. В. Спекторский. По его словам, она «обещает много, но далеко не все. Она не устраняет социальной борьбы, религиозной, классовой и иной. Зато она вводит ее в культурную форму. Она не производит социальных реформ. Зато она создает для них законную возможность. Она вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса, ибо она устанавливает пути для разрешения всяких общественных вопросов... Она носит ... не столько принципиальный, сколько технический характер. Хорошая конституция — это все равно что хорошие пути сообщения. Кто заботится о них, тот не спрашивает, почему и зачем едут пассажиры, должны ли они вообще ехать, тот просто старается увеличить число поездов, ускорить их ход, удешевить проезд и т.п. Подобным же образом и конституция формальна. Она стремится всем обеспечить свободу передвижения, слова, веры, участия в государственных делах. И при этом она не читает в сердцах, не справляется об убеждениях, о принадлежности к той или иной партии. Вот почему в свою очередь все партии при всей своей борьбе по другим вопросам могут и должны сойтись на вопросе о конституции, ибо она гарантирует общечеловеческие блага — свободу и порядок»⁷.

И еще одна тема, важная для понимания природы *constitutional state*. Эта тема принципиальной **безличности** современной государственной власти. К примеру, М. Дюверже называет «правителей» — «слугами»,

«должностными лицами». По его мнению, государство тем совершеннее (т.е. тем больше оно государство), чем государство-«идея», государство-«абстракция» отдельнее, отдаленнее от конкретных носителей власти⁸.

Другой классик французской политической науки, Жорис Бурдо, пишет: «Люди изобрели государство, чтобы не подчиняться другим людям»⁹. Поначалу они не знали, кто имеет право командовать, а кто нет. И потому пришлось придать власти **политическую и правовую** форму. «Вместо того, чтобы считать, что власть является личной прерогативой лица, которое ее осуществляет, они разработали форму власти, которая независима от правителей. Эта форма и есть государство»¹⁰. Согласно Бурдо, государство возникает как **абстрактный и постоянный** носитель власти. По мере развития этого процесса правители все больше и больше предстают в глазах управляемых агентами государства, власть которых носит преходящий характер.

Конституция возможна, т.е. действенна и необходима, **только** при такой и для такой власти. Конституция является формулой и формой такой власти. Предпосылка (обязательная) конституции — возникновение абстрактно-безличностной власти. Суверенитет должен отделиться от лица-носителя власти, от лица-персонификатора власти.

Из всего этого явствует: с помощью термина *state* нельзя описывать другие, незападные типы власти. *State* намертво закреплен за Западом, за его неповторимой и уникальной историей. Это касается и России; в ней человек, общество, власть развивались иначе. Иным оказался и результат. Русская власть никак не может быть описана и понята через призму концепции и реальности *constitutional state (nation state)*. Термин же «государство» вполне подходящ. В нем, по крайней мере этимологически, отражены и природа генезиса, и природа функционирования этого особого типа власти.

Трудность лишь в том, что в мире и у нас господствует один — единственный тип научного познания, которому соответствует и универсальная терминология. За этими «универсалиями» скрывается принципиально различный опыт уникальных цивилизаций. Скрывается, а не отражается. Как не отражается и историческая неповторимость той или иной эпохи. Причем даже в рамках европейской культуры. Ведь «*state*» не применим не только к западным обществам, но и к Европе, скажем, XII—XIII столетий.

Все это надо держать в уме, когда мы говорим о «государстве». И, конечно, в 1921 г. Р. Ю. Виппер думал о таких новых «толкованиях науки», которые могли бы объяснить именно «Русское государство», а не «государство вообще». Здесь уместно вспомнить двух гениальных

и очень разных русских людей, оказавшихся по волне судьбы в самой гуще современной западной культуры. Их нельзя заподозрить в плоском и провинциально затхлом и бесплодном русском «самобытничестве». Напротив, оба этих деятеля подчеркнута всемирны. Илья Пригожин: «Мир слишком богат, чтобы быть выраженным на одном-единственном языке». Иосиф Бродский: «Любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий».

* * *

Теперь же обратимся к России. Специфика ее социокультурного развития отразилась и на особом характере русской власти. Об этом хорошо сказано у Р. Пайпса. «Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл... В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в Древнем Риме), чтобы она разделилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит *par excellence* к той категории государств, которые ... обычно определяют как «вотчинные» (*patrimonial*). В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности и властитель (властители) является одновременно сувереном государства и его собственников»¹¹.

Конечно, термины «политическая система» и «политическая власть» не вполне корректны при описании обществ незападного типа, конечно, весь этот понятийный аппарат несколько устарел, но в целом и по существу Ричард Пайпс прав. Власть (а именно ее, а не «государство» — *state* имеет в виду американский исследователь) в России по своей природе вотчинная (патримониальная). На протяжении многих столетий разделительная линия между властью и собственностью почти не проглядывается (это было в Новгороде и Пскове, но московско-ордынские Даниловичи пожрали этот «анзеатический» Остланд). Ве-

ликие князья и цари Московской Руси были действительно в полной мере хозяевами своей страны.

Власть и представления о ней перестают быть патримониальными лишь в ходе пореформенной (после 1861 г.) эволюции российского социума. Да и к 1914 г. власть еще далеко не окончательно потеряла вотчинное измерение. Этот тезис весьма убедительно развивает в своей знаменитой книге В. В. Леонтович. Причем тему патримониального характера власти он напрямую связывает с темой конституции: «Я неоднократно подчеркивал, что считаю неправильным называть Конституцию 23 апреля 1906 г. лже-конституцией. Но если бы даже можно было так ее определить, то уж во всяком случае не потому, что в России не было парламентского строя или не было всеобщего голосования, и не потому, что царь не присягал на Конституции, а только потому, что конституционный строй в России не был основан на развитом гражданском строе, который вообще всегда является необходимой основой для всякой либеральной конституции. (А настоящая конституция ведь по сути своей не может быть не либеральной.) Как раз неразвитость гражданского строя, гражданской свободы и повела к исчезновению политической свободы, к крушению конституционного строя в России»¹².

Под «неразвитостью гражданского строя» ученый-эмигрант полагал то обстоятельство, что к началу Первой мировой войны еще не был закончен «процесс распространения на крестьян гражданского строя» (в крестьянской стране!). Или, иными словами, «не был превзойден старомосковский принцип верховной собственности государства на землю»¹³.

Следовательно, к 1917 г. у нас еще не было закончено строительство, формирование государства в смысле «*state*» (хотя прогресс очевиден). В немецкой науке той эпохи по отношению к России применялась такая квалификация: «конституционная монархия, под самодержавным царем». В этом определении очень важна разделительная запятая, устанавливающая подлинную властную иерархию (очень странную для западного сознания) в поздней петербургской империи.

Но не только, конечно, патримониальный характер власти и соответствующий тип ее понимания стали преградой на пути укоренения у нас конституционализма. Можно назвать еще целый ряд природных черт русской власти, которые также препятствовали формированию конституционной государственности.

К ним относятся унаследованная от Византии модель взаимоотношений государства и церкви по типу симфонии. Эта модель не предполагала никакого ограничения или разделения светской власти. В отличие, скажем, от модели «двух мечей» (папы и императора), го-

сподствовавшей в средневековой Европе. Там церковная и светская власти были разделены изначально (в том числе — и это немаловажно — они были отделены друг от друга и географически), и тем самым были ограничены сферы их компетенций. «Два меча» — это уже, хоть и интенционально, начало плюрализма.

Далее, тягловый характер русского социума. Если на Западе сословия отличались друг от друга объемом и типом повинностей и свобод, то у нас — только повинностей (тягла). Следовательно, проблематика автономии индивида, прав человека возникнуть здесь не могла. Как, впрочем, и основа для формирования правового государства. Вместо *Rechtsstaat* строится «государство правды», которое, по словам евразийца М. Шахматова, проникнуто стремлением «соблюсти изначально истину, покорить человеческую волю, человеческое «самочинение» религиозно-государственной правде»¹⁴.

В принципе нет ничего специфического в том, что на определенных этапах своего развития русская власть имела яркое и глубокое религиозное измерение. Это знала и Европа. Своеобразие заключено в категории «правда», которая — до известной степени — подменила у нас «право». И заблокировала на столетия возможность его появления (речь идет о «праве» в европейском смысле слова; «русское право» существовало, но содержательно это был иной феномен). Ведь «правда», как еще в XI в. учил митрополит Илларион, есть и истина, и добродетель, и справедливость, и закон. Религиозно-нравственное начало растворяет в себе начало юридическое. Или, точнее, — не дает этому последнему кристаллизаться.

Созданная на обломках Святой Руси петербургская империя также была сущностно враждебна идее конституционализма. Полицейское государство, регламентирующее государство, воспитательная диктатура — так называют устройство послепетровской власти. Но еще это государство было «оформлением», формой, которая стягивала распавшуюся на две субкультуры страну¹⁵. Такая форма оказалась неизбежно деспотической. Однако в деспотизме новой государственности таились и сила репрессивно-подавляющая, охранительно-удерживающая, и сила просвещеннически-реформистская, прогрессистски-революционаристская (недаром Пушкин скажет, что «все Романовы — революционеры»), т.е. отечественная государственность XVIII–XIX столетий имела принципиально двусловный характер. В определенном отношении все цари-императоры были папой и Лютером в одном лице.

Важно подчеркнуть: обе эти силы, как правило, реализовывали себя деспотически, насильственно. И реформы, и контрреформы, и прямая

реакция, и действия, смахивающие на «крутую» революцию, — все это осуществлялось именно так (за некоторыми, разумеется, исключениями). Причем речь идет не о властных технологиях, а о самом характере власти. О насилии не «внешнем», но — сущностном.

Скажем еще несколько слов о специфике русской власти. Точнее, о существовании ее **перестроек**. Это ведь вообще любимое занятие наших правителей — постоянно что-то менять в деятельности властного механизма. Правда, при этом существо власти практически не трансформируется. И в конечном счете все возвращается на круги своя. Затем начинаются новые перемены...

Вообще-то реформы, как и контрреформы, — дело нормальное, исторически будничное и вполне прогнозируемое. На Западе **кардинальные** изменения власти обычно фиксируются в конституциях, а их реализация обеспечивается функционированием **институтов** управления. У нас происходит по-другому. И с конституцией, как мы знаем, в России по-своему, и с институциональной системой тоже.

Во-первых, практически всем верховным российским начальникам конституции или какие-то сопоставимые с ними «основные законы» всегда узковаты. А потому и преодолеваются; так сказать, из конституционного поля осуществляется трансцендирование в поле властно-волевое, властно-силовое.

Во-вторых, результатом этого преодоления является создание новой, неинституциональной системы управления. Органы этой системы можно условно назвать чрезвычайными комиссиями¹⁶ (никакой аллюзии на ЧК Дзержинского у автора в данном случае нет). Они образуются для решения каких-то специальных задач. Такое мы можем наблюдать все последние пять столетий отечественной истории. У истоков чрезвычайных комиссий стоит Иван Грозный со своей опричниной. Далее это петровская гвардия, Канцелярия Его Императорского Величества, Коммунистическая партия (номенклатурное ядро прежде всего). При типологической схожести судьба чрезвычайных комиссий различна. Одни, выполнив (или не выполнив) определенную задачу, отмирают, другие сосуществуют с институтами, третьи оттесняют их на периферию социальной жизни, четвертые подменяют собой. Разумеется, возможно и некое смешение вариантов.

В-третьих, конечно, не исключено, что со временем чрезвычайные комиссии становятся чем-то схожим с институтами. Хотя это происходит редко. В-четвертых, чрезвычайные комиссии могут существовать довольно долго. При этом их цели и методы видоизменяются.

Однако, со всеми оговорками, наличие такого рода комиссий подрывает конституционные устои, принцип разделения властей и инсти-

туциональную систему. Подчеркнем: здесь принципиальное отличие традиционных российских реформ власти от конституционных и институционных реформ европейского (западного типа).

Безусловно, все это не только неслучайно, но и коренным образом связано с природой российской власти.

Примечания

¹ *Bunner P. Ю.* Кризис исторической науки. Казань, 1921. С. 3.

² *Schmitt C.* Glossarium: Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951. В., 1991. S. 19.

³ *Ibid.* S. 6.

⁴ *Манн Т.* Собрание сочинений: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 317.

⁵ «...Государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области ... претендует ... на монополию легитимного физического насилия» (*Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С. 645).

⁶ *Duverger M.* Echec au roi. P., 1978. P. 10.

⁷ *Спекторский Е.* Что такое конституция. М., 1917. С. 15–16.

⁸ *Duverger M.* Institutiones politiques et droit constitutionnel. P., 1960. P. 21.

⁹ *Burdeu G.* L'Etat. P., 1970. P. 15.

¹⁰ *Ibid.* P. 10.

¹¹ *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 10–11.

¹² *Леонтович В. В.* История либерализма в России: 1762–1914. Париж, 1980. С. 539.

¹³ Там же. С. 301.

¹⁴ *Шахматов М.* Государство правды: (Опыт по истории государственных идеалов в России) // Евразийский временник. Кн. 4. Берлин, 1925. С. 270.

¹⁵ Об этом см., напр.: *Пивоваров Ю. С.* Политическая культура пореформенной России. М., 1994. С. 109–137.

¹⁶ Впервые А. И. Фурсов и я писали об этом в «Русской Системе».

3

РЕАЛЬНОСТЬ В РАКУРСЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Символическая политика: осмысление предметного поля

Концепт символической политики занимает особое место в арсенале понятий, которые используются для анализа социального производства представлений, определяющих смысловые рамки восприятия социальной реальности. Так сложилось, что авторы, выступившие в качестве пионеров исследования символической составляющей политики, попытались отказаться от целого ряда дихотомических противопоставлений, задающих границы теоретических «лагерей» в социальных науках. Они пробовали взглянуть на взаимосвязи между общественным сознанием и поведением, не устанавливая жестких границ между субъектом и объектом, индивидуальным и коллективным, материальным и идеальным и не отдавая предпочтения «объективным» методам, основанным на стандартизированном наблюдении, перед неизбежным «субъективизмом» интерпретативных подходов. Насколько эти попытки оказались успешными — предмет отдельного разговора. Однако несомненным достоинством категорий, явившихся их теоретическим наследием, можно считать отсутствие «встроенной» оптики, побуждающей рассматривать взаимосвязи между социальной реальностью и ее отражением в сознании, индивидом и группой, структурами и агентами, априори задавая причинно-следственные векторы от материального к идеальному. Это делает «символическую политику» удобной зонтичной категорией, позволяющей исследовать под разными углами широкий спектр явлений и процессов, связанных с производством и обращением смыслов. Отсюда — выбор словосочетания «Символическая политика» в качестве названия ежегодника отдела политической науки ИНИОН РАН, посвященного *исследованию различ-*

ных способов интерпретации социальной реальности и их взаимодействия в публичном пространстве.

Отцом-основателем изучения символических аспектов политики по праву считается американский политолог Мюррей Эдельман, который попытался объяснить существенный разрыв между теоретическими предположениями относительно функционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности, выявленный к тому времени эмпирическими исследованиями его коллег, анализируя смыслы, которые привычно вкладываются в те или иные политические действия, роли и институты. Его книги «Символическое использование политики» (1964 г.) и «Политика как символическое действие» (1971 г.) были первой попыткой построения теории, анализирующей символическую составляющую политических действий и объясняющую ее эффекты (хотя, безусловно, далеко не первым опытом исследования взаимосвязей между политическим поведением и «тем, что находится в головах»). Эдельман полемизировал с доминирующей парадигмой рационального выбора, которая рассматривает отношения власти и подвластных в логике «очевидных» интересов. Он доказывал, что оптика этой парадигмы существенно искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания¹. По мысли Эдельмана, политическая наука должна исследовать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (отсылка к заглавию известной работы Г.Ласуэлла «Политика: Кто получает что, когда и как»), но и «механизмы, посредством которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть»².

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее к настоящему времени существует солидное количество исследований, посвященных изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методологический арсенал которых отличается заметным разнообразием. Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии»³, «символической власти» и «символическом капитале»⁴, «символической политике»⁵, «символической деятельности как основе авторитета»⁶, «символическом соперничестве»⁷, «символических конфликтах»⁸, а также о «символизме политики»⁹ и «символах в политике»¹⁰. Просматриваются ли за этими

терминами контуры общего исследовательского поля? Если да, то как определить его предмет?

Очевидно, что приведенные выше словосочетания призваны отразить некие качества политических явлений и процессов, связав их с понятием «символ» и его производными. Наличие столь широкого набора комбинаций не должно вызывать удивление, если принять во внимание наличие разных традиций интерпретации «символического», которые трудно привести к общему знаменателю. Поэтому прежде чем обсуждать преимущества того или иного способа определения символической политики, стоит рассмотреть, из каких интеллектуальных традиций вырастает тот или иной способ сопряжения символического и политического.

Что значит «символическое» применительно к политике?

По наблюдению Ю. М. Лотмана, «выражение «символическое значение» широко употребляется как простой синоним знаковости. В этих случаях, когда наличествует некое соотношение выражения и содержания и, что особенно подчеркивается в данном контексте, конвенциональность этого отношения, исследователи часто говорят о символической функции и символах»¹¹. Преимущественно в таком значении понятие символического было привнесено в политические исследования благодаря концептуальным наработкам философской антропологии, социальной психологии и лингвистики. Это обеспечивает широкий объем понятия в духе концепции Эрнста Кассирера, рассматривавшего символические формы как «проявление некоего “духовного” через чувственные “знаки” и “образы”»¹². Именно в таком ключе, но с акцентом на социально-коммуникативную составляющую «символическое» рассматривалось в теории символического интеракционизма Джорджа Герберта Мида, послужившей одним из источников вдохновения для М. Эдельмана. У Мида символическое выступает в качестве функции социальных практик, обеспечивающей согласование человеческого поведения: то, что на низших ступенях человеческой эволюции достигается посредством жестов, на более высоких происходит благодаря «значимым символам (жестам, обладающим смыслом и потому выступающим как нечто большее, нежели просто стимулы)»¹³. Подобно Кассиреру, Мид понимал слово «символ» предельно широко — как синоним не просто конвенционального знака, но фактически отражения бытия в сознании¹⁴, с чем едва ли согласятся специалисты по культурной антропологии и семиотике,

настаивающие на более нюансированном понимании этих феноменов¹⁵.

В большинстве словосочетаний, приведенных выше, прилагательное «символический» используется именно в такой расширительной трактовке: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических (в разных значениях этого понятия) отношений. Лишь немногие авторы предпочитают говорить о «символах» в более строгом смысле; при этом «символ» порой понимается совсем узко (например, дело сводится к изучению государственной символики).

Несмотря на данное обстоятельство, анализ свойств, связываемых с этим понятием, может быть полезен для определения точек пересечения символического и политического и тем самым — уточнения конфигурации предметного поля символической политики. Особенно если учесть, что некоторые из этих свойств присущи и символу, и знаку, т.е. релевантны как для широких, так и для узких интерпретаций «символического». По определению А. Ф. Лосева, «символ есть развернутый знак, но знак тоже является неразвернутым символом, его зародышем», ибо и тот, и другой «есть модель определенной предметности»; однако «моделирующая структура символа гораздо значительнее, заметнее, гораздо больше бросается в глаза...»¹⁶.

Вслед за Ю. М. Лотманом, который в одной из своих статей описывает «символ» как универсальную функцию семиотических систем, обобщая представления, «интуитивно данные нам нашим культурным опытом»¹⁷, попытаемся выделить наиболее существенные свойства данного понятия и, пользуясь формулировкой Бурдьё, наметить те «Архимедовы точки опоры, которые объективно оказываются в распоряжении для действий чисто политического характера»¹⁸.

По словам Лотмана, «наиболее привычное представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое... служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания»¹⁹. Этим обусловлена роль символов в политической коммуникации: они *помогают усваивать сложную информацию за счет ее редукции*, причем процесс формирования «спрессованных» в них смыслов имеет не только социальный, но и политический характер. Как заметил еще М. Эдельман, люди реагируют на политические сигналы, которые получают «благодаря обмену совместно порождаемыми символами»; последние «возникают на фоне других возможных значений, которые остаются неупорядоченным и неопределенным “шумом”». Те или иные смыслы становятся общепринятыми не потому, что они

подсказаны объективной ситуацией; они учреждаются в процессе выработки взаимного согласия относительно значимых символов». А поскольку этот процесс имеет селективный характер, для исследователей политики принципиальным оказывается вопрос: что определяет выбор зрителей и участников, результатом которого является организация информации в «структуры смыслов», т.е. символы²⁰? Другими словами, предметом изучения могут быть отношения власти и доминирования либо взаимодействие групп, результатом которого является наличная система символов. Однако не менее важную информацию может дать изучение самих символов, которые «составляют форму языка, позволяющую через образы и аллегории просто и эффективно выразить очень сложные принципы, допущения, концепции и идеи»²¹. В силу этого комплексный анализ символов помогает лучше понять структуру и функционирование политической системы. Таким образом, для объяснения политики могут быть полезны оба ракурса: от отношений и процессов — к системе символов, от символов — к анализу системы отношений.

В качестве свойства, «особенно существенного для способности "быть символом"», Лотман выделяет *узнаваемость*: «Символ... всегда представляет собой некоторый *текст*, т.е. обладает некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста»²². С одной стороны, это свойство предопределяет *возможность целенаправленного использования символов*, в том числе и в политических целях: как писал Дж. Г. Мид, «мы всегда предполагаем, что употребляемый нами символ вызовет у другого человека известную реакцию — при условии, что он является частью механизма его поведения»²³. Политики прибегают к «магии» символов в расчете на определенную эмоциональную и поведенческую реакцию публики. С другой стороны, символ не может быть «сконструирован» из ничего — он *должен быть укоренен в культурном контексте*. В силу этого репертуар пригодных для политического использования символических ресурсов всегда ограничен. Этим, в частности, определяются риски, возникающие при трансформации политического режима: поскольку этот процесс влечет за собой «изменение символической программы», трудно предсказать заранее, сможет ли новый режим сформировать систему символов, способную поддерживать эмоциональную приверженность граждан²⁴.

В качестве особого свойства символов Лотман отмечает их двойственную природу: «С одной стороны, пронизывая толщу культур,

символ реализуется в своей инвариантной сущности. В этом аспекте мы можем наблюдать его повторяемость... С другой стороны, символ активно коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует. Его инвариантная сущность реализуется в вариантах»²⁵. Это не только открывает перспективу «творческого использования» доступных символических ресурсов, но и делает символы инструментом трансформации самого социального контекста. Не случайно некоторые исследователи связывают свой интерес к символической политике с ее способностью служить инструментом изменения сложившегося порядка»²⁶.

Впрочем, это не единственное следствие *способности* символов *вариативно воплощать свою «инвариантную сущность»*. По словам Лотмана, «смысловые потенции символа всегда шире их данной реализации: связи, в которые вступает символ с помощью своего выражения с тем или иным семиотическим окружением, не исчерпывают всех его смысловых валентностей. Это и образует тот смысловой резерв, с помощью которого символ может вступать в неожиданные связи, меняя свою сущность и деформируя непредвиденным образом текстовое окружение»²⁷. Данное обстоятельство открывает широкую перспективу борьбы за смыслы, закрепленные в символах. Согласно формулировке П. Бурдьё, «познание социального мира, точнее, категории, которые делают его возможным, суть главная задача политической борьбы... за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира»²⁸. Эта борьба имеет политический характер не только потому, что ее целью является гегемония, подкрепляющая власть авторитетом, но и в силу того, что поле символического производства отражает существующие отношения господства и доминирования, и «в борьбе за навязывание легитимного видения социального мира... агенты располагают властью, пропорциональной их символическому капиталу, т.е. получаемому ими от группы признанию»²⁹. Таким образом, объектом внимания исследователей политики должны стать не только символы-категории, закрепляющие те или иные способы видения социального мира, но и деятельность групп, участвующих в их конструировании и продвижении.

Вместе с тем способность символов, сохраняя связь с отображаемым содержанием, представлять ее в многообразных вариациях, допускает относительную произвольность в обращении с символическими ресурсами. Данное обстоятельство побуждает некоторых исследователей сводить символическую политику к манипулированию знаками,

которые могут выступать как симулякры, т.е. знаки, не соответствующие реально означаемым объектам. При таком подходе внимание оказывается сосредоточено на деятельности акторов, стремящихся сформировать *ложное* представление о социальной действительности, а также на результатах их усилий. Наш анализ свойств символов указывает на очевидные ограничения такого подхода: поскольку использование термина «символический» в дискурсе политической науки связано с онтологической традицией его интерпретации, которая предполагает реальность уопостигаемого³⁰, участвующие в политической коммуникации субъекты — не демиурги, но коллективные пользователи символических ресурсов. Свойства последних полагают некоторые пределы произвольному обращению — впрочем, достаточно широкие, чтобы указанный подход мог быть применим для анализа конкретных типов коммуникации.

Наконец, Лотман отмечает, что в силу своей «смысловой и структурной самостоятельности» символы всегда *диахронны*. Он пишет: «... Символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее»³¹. Это свойство символов и символического является определяющим для восприятия временного измерения политики. Настоящее наделяется смыслом через соотнесение с прошлым и будущим. Одним из оснований неопределенности, порождающей символическую борьбу, по Бурдье, является непреложность «когнитивных стратегий *восполнения*, которые продуцируют смысл объектов социального мира, выходя за рамки непосредственно видимых атрибутов и отсылая к *будущему или прошлому* (выделено мною. — О. М.)»³². Символы благодаря своей способности «пронзать» срез культуры «по вертикали» оказываются основной несущей конструкцией темпоральных векторов политических репрезентаций: от настоящего — к прошлому и от прошлого — через настоящее — к будущему.

Выделенные Лотманом свойства символов — *способность служить планом выражения для «чего-то иного», узнаваемость и «самостоятельность» по отношению к контексту, вариативность в проявлении «инвариантной сущности» и семантическая многовалентность, принадлежность к разновременным пластам культуры* — помогают увидеть связи, значимые для понимания отношений власти и доминирования в современных обществах. И хотя намеченные таким образом точки пересечения не задают однозначных границ «символической политики», они помогают уточнить конфигурацию связанного с нею предметного поля,

охватывающего широкий спектр отношений по поводу социально разделяемых способов интерпретации действительности.

Конкурирующие подходы к определению «символической политики»

Концепт символической политики (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) используется в качестве инструмента эмпирического описания и анализа в конфликтологии, исследованиях публичной политики, политических коммуникаций, а также в работах, посвященных изучению коллективных действий. С ним давно работают и некоторые российские авторы³³. При этом предлагаются различные определения ключевого термина. На наш взгляд, одним из наиболее существенных теоретических водоразделов в понимании содержания данной категории является различие между подходами, противопоставляющими символическую политику «реальной», «материальной»³⁴, — и подходами, которые рассматривают первую как специфический, но неотъемлемый аспект второй.

Противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики, как правило, имеет место в контексте обсуждения проблем, связанных с «медиатизацией» современного политического процесса, которая объективно способствует усилению автономии деятельности, связанной с его публичной репрезентацией, и ведет к «отступлениям» от нормативной логики демократической легитимации власти. С учетом данного обстоятельства символическая политика нередко рассматривается как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации это понятие было впервые введено в российский научный оборот С. П. Поцелуевым. Согласно его определению символическая политика — это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов». Символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений³⁵. Таким образом, данный подход сфокусирован на целенаправленной репрезентации деятельности политических акторов в публичном пространстве (и прежде всего — в СМИ), которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символиче-

ского элемента» политики рассматривается то, что целенаправленно «конструируется» политическими элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс.

Вместе с тем очевидно, что символическая функция политики не сводится к производству идеологических конструкций³⁶.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, «подчиняются» их логике. Символическая составляющая политики не рефлексивируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью»³⁷, не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призывами принять их и не дебатированы в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах»³⁸. Символическая политика не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман³⁹. Стремящиеся манипулировать сознанием масс элиты не только «осуществляют» символическую политику, но и сами действуют, ориентируясь на символические сигналы, поступающие со стороны правительства и других политических акторов.

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются более влиятельными, чем другие, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдьё, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства»⁴⁰. Задача исследователей символической политики — постижение этой логики.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты — он ориентирует и на изучение деятельности акторов, использующих символы для изменений снизу. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам осо-

бого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п. Однако несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предопределено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка — не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

С учетом этого нам представляется продуктивным рассматривать *символическую политику* более широко — как *деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» политики.

Возможные ракурсы исследования символической политики

На наш взгляд, термин «символическая политика» может рассматриваться как зонтичная категория, помогающая увидеть связи между явлениями, изучаемыми под разными «рубриками». Исследование символической составляющей политики может опираться на эмпирические данные, требующие разных методов анализа. Весьма популярным является изучение политической риторики, основанное на всевозможных методах исследования текстов (контент-анализ, дискурс-анализ, интент-анализ и т.п.) и анализе репрезентаций политических объектов в СМИ (в том числе и с применением визуальных методов). Некоторые работы нацелены на реконструкцию символических «импульсов» политических институтов; при этом используются различные теоретические парадигмы, от структурного функционализма и рационального выбора до социального конструктивизма и неоинституционализма (разумеется, здесь возможны различные комбинации). Наконец, важной составляющей политико-символического анализа является изучение социально разделяемых представлений, связанное с интерпретацией данных опросов, глубинных интервью, фокус-групп, контента социальных сетей и т.п. Таким образом, исследования символической политики — поле, на котором необходимо сотрудничество специалистов по политической лингвистике, дискурс-анализу, визуальным методам, исследованиям поли-

тических институтов и коммуникаций, а также социологов, изучающих общественное мнение.

Символическая политика осуществляется в *публичной сфере*, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами — имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности. Публичная сфера может быть локализована в различных институтах и сочетать разные форматы общения: как «живые», так и опосредованные письменными текстами. Она конституируется множеством частично пересекающихся «публик», границы которых меняются во времени, пространстве, а также в зависимости от характера обсуждаемых тем. Институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на символические стратегии и возможности акторов. Поэтому исследование символической политики сопряжено с изучением среды, в которой производятся, распространяются и конкурируют разные способы интерпретации социальной реальности, а также особенностей стратегий акторов, участвующих в данных процессах. Именно такой подход, предполагающий изучение конфигурации пространства политических идей во взаимосвязи с институциональными условиями, определяющими правила игры и стратегии акторов, которые эти идеи производят, а также с политическими коммуникациями, обеспечивающими обращение последних, был предложен Исследовательским комитетом Российской ассоциации политической науки по изучению идей и идеологий в публичной сфере⁴¹.

В качестве инструментов символической политики выступают не только вербально оформленные «идеи» (принципы, концепции, доктрины, программы и т.п.), но и невербальные способы означивания (образы, жесты, графические изображения и др.). По мере развития современных технических средств коммуникации, основанных на аудиовизуальных формах представления информации, их роль стремительно возрастает. Поэтому изучение современной символической политики невозможно без применения *методов анализа визуальных форм*, которые пока не получили широкого распространения в исследовательской практике политологов.

Символическая политика выражается не только в «словах», но и в «делах», поэтому для ее изучения требуется сочетать приемы анализа дискурсов, политических стратегий и технологий. Предлагаемый подход ориентирует не только на изучение совокупности действий

коллективных акторов — государства, политических партий, церкви и т.п. (т.е. на анализ *symbolic policy*). Он также побуждает фокусировать внимание на процессе взаимодействия (конкуренции, поддержки, сопряжения и др.) между разными способами интерпретации социальной реальности, который в логике различения, имеющего место в английском языке, можно обозначить как *symbolic politics*. Наконец, данный подход нацелен на изучение специфических механизмов, обуславливающих наблюдаемые результаты такого взаимодействия, — доминирование одних способов интерпретации социальной реальности и маргинализацию других, трансформацию дискурсов под влиянием конкуренции и т.п.

Интеграции усилий специалистов, занятых изучением различных аспектов символической политики, призвано способствовать продолжающееся издание ИНИОН РАН — сборник научных трудов с одноименным названием. К настоящему времени вышли два выпуска с основными темами «Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс» (2012 г.) и «Споры о прошлом как проектирование будущего» (2014 г.) и подготовлен третий («Политические функции мифов»). Четвертый выпуск планируется посвятить социальному конструированию пространства. Помимо материалов, посвященных основным темам, в каждом выпуске публикуются статьи, рассматривающие теоретические и методологические проблемы данного предметного поля, рефераты работ классиков, результаты исследований «работы» символов и идей в различных контекстах. С первого выпуска продолжающимися темами стали политика прошлого, визуализация политики и проблемы политического языка. В издании принимают участие авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, Екатеринбурга, Томска, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Иваново, Упсалы, Манчестера, Йеля и др., что позволяет надеяться на формирование вокруг него межрегионального и даже международного сообщества исследователей предметного поля, которое, на наш взгляд, удобно описывать понятием «символическая политика».

Примечания

¹ *Edelman M.* Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. Chicago: Markham Publishing Company, 1971. P. 7–8.

² *Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press, 1972. P. 20.

³ *Ibid.*; *Edelman M.* Politics as Symbolic Action...; *Alexander J. C., Mast J. L.* Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice: The Cultural Pragmatics of Symbolic Action. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 2006. P. 1–28.

⁴ *Бурдые П.* Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.

⁵ *Brysk A.* “Hearts and Minds”: Bringing Symbolic Politics Back in // *Polity*. 1995. Vol. 27. No 4. P. 559–585; *Поцелуев С. П.* Символическая политика как инсценирование и эстетизация // *Полис*. М., 1999. № 5. С. 62–76; *Поцелуев С. П.* Символическая политика: К истории концепта // *Символическая политика*. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 17–53; *Малинова О. Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // *Полис*. М., 2010. № 2. С. 90–105.

⁶ *Smith K. E.* *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era.* Ithaca etc.: Cornell University Press, 2002. P. 6.

⁷ *Gamson W. A., Stuart D.* Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons // *Sociological Forum*. 1992. Vol. 7. No 1. P. 55–86.

⁸ *Harrison S.* Four Types of Symbolic Conflict // *The Journal of Royal Anthropological Institute*. 1995. Vol. 1. No 2. P. 255–272.

⁹ *Gill G.* *Symbolism and Regime Change in Russia.* Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

¹⁰ *Мисюров Д. А.* Политика и символы в России. М.: МАКС Пресс, 2004; *Gill G.* *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics.* Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

¹¹ *Лотман Ю. М.* Символ в системе культуры // *Лотман Ю. М.* Чему учатся люди. Статьи и заметки. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. С. 293.

¹² *Кассирер Э.* Понятие символической формы в структуре наук о духе // *Кассирер Э.* Избранное: Индивид и космос. М.: Университетская книга, 2000. С. 393.

¹³ *Mead G. H.* *The social psychology of George Herbert Mead* / Ed. and with an introd. by A. Strauss. Chicago: University of Chicago Press, 1956. P. 177.

¹⁴ «На самом деле наше мышление всегда происходит с помощью символов того или иного рода», — писал Мид (*Ibid.* P. 223).

¹⁵ Ср.: *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. С. 26; *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 307–308; *Бабайцев А. В.* Подходы к определению понятия «политический символ» // *Символическая политика*. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. М.: ИНИОН РАН, 2014. С. 18–24.

¹⁶ *Лосев А. Ф.* Указ. соч. С. 106, 108.

¹⁷ *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 294.

¹⁸ *Бурдые П.* Указ. соч. С. 23.

¹⁹ *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 294.

²⁰ *Edelman M.* *Politics as Symbolic Action...* P. 33–34.

²¹ *Gill G.* *Op. cit.* P. 1.

²² *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 294–295.

²³ *Mead G. H.* *Op. cit.* P. 224.

²⁴ См.: *Smith K.* *Op. cit.*; *Gill G.* *Op. cit.*

²⁵ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 296.

²⁶ Brysk A. Op. cit.

²⁷ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 297.

²⁸ Бурдые П. Указ. соч. С. 23.

²⁹ Там же. С. 27.

³⁰ Как писал А. Ф. Лосев, «если действительность есть, то возможны и символы; а если ее нет, то невозможны и никакие символы действительности» (Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 23).

³¹ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 296, 295.

³² Бурдые П. Указ. соч. С. 21–22.

³³ См.: Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование...; Мисуров Д. А. Указ соч.; Киселев К. В. Символическая политика: власть vs. общество. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006 и др. Более подробный обзор см.: Ефремова В. Н. О некоторых теоретических особенностях исследования символической политики // Символическая политика. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН, 2015 (в печати).

³⁴ Многие авторы, придерживающиеся такого разграничения, отмечают его условность, ибо «символическая» политика может иметь вполне материальные последствия, а «материальные» меры (связанные, например, с распределением финансовых ресурсов) — быть инструментом борьбы за утверждение определенных способов интерпретации действительности (См.: Cohen J. E. Presidential Responsiveness and Public Policy-Making: the Public and the Policies that Presidents Choose. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. P. 34; Birkland T. A. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making. 2nd ed. N.Y.: M.E.Sharp, 2005. P. 150–151).

³⁵ Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование... С. 62.

³⁶ На наш взгляд, понятие «символическая политика» шире, нежели более привычная категория «идеологическая борьба»: во-первых, оно не связывает борьбу за смыслы исключительно с вербальными способами означивания, во-вторых, не предполагает той степени логической связности, которая традиционно приписывается идеологиям.

³⁷ По Бурдые, символическая власть — это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир...» (Бурдые П. Указ. соч. С. 95).

³⁸ Edelman M. Politics as Symbolic Action... P. 45.

³⁹ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Academia, Медиум, 1995.

⁴⁰ Бурдые П. Указ. соч. С. 93.

⁴¹ Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / Под ред. А. Ю. Сунгурова и др. М.: РАПН; РОССПЭН, 2008; Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О. Ю. Малиновой. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011.

3.2. Политическая культурология и антропология современной символической политики

Культурные измерения политической реальности в современной политической науке и политической антропологии всегда имели концептуальную общность, например, в междисциплинарных исследованиях политической культуры, политической легитимности, политической риторики, политической идентичности, политических сетей, переходных состояний политического процесса и их влияния на институциональную динамику [Aronoff, Kubik, 2013; Ballinger, 2006, р. 341–359]. Наиболее очевидно взаимосвязь современных политико-культурных и политико-антропологических исследований прослеживается в конструктивистских, наиболее перспективных, на наш взгляд, стратегиях исследования «символической власти» и «символической политики». Это артикулирует проблему комплементарности, соответствия междисциплинарных стратегий исследований социокультурной динамики политической реальности в этих предметных областях, позволяющей более комплексно объяснить действенность современной символической политики.

Вместе с тем реализация подобной исследовательской установки, так или иначе представленной в современных стратегиях изучения значимости символической политики для институционального дизайна современных политий, продолжает, на наш взгляд, оставаться теоретической и методологической проблемой, поскольку существует целый ряд методологических лакун. *В чем специфика методологии политико-культурных исследований в политической науке и политической антропологии при изучении символической политики и ее содержания? Какие ограничения существуют для «конвергенции» стратегий исследования политико-культурных феноменов в политической науке и политической антропологии? Какие теоретико-методологические подходы выглядят перспективными для методологической конвергенции этих двух наук? В чем значимость антропологизации политологических исследований символических структур таких феноменов, как политический миф и политика памяти?* Целью настоящего исследования является артикуляция теоретико-методологических взаимосвязей между политической наукой и современной антропологией политики при изучении феномена, номинируемого в академическом дискурсе «символической политикой».

Следуя интеллектуальным интенциям Тёна А. ван Дейка, специфику современной символической власти, соответственно *символической*

политики, следует связывать с активностью властных элит и многообразных сетевых сообществ по управлению и контролю за доступом к публичному дискурсу других групп. Подобная власть реализуется на основе имеющегося у подобных групп символического капитала, используемого ими для социального конструирования и поддержания дискурсивных структур, что обеспечивает их политическое доминирование, гегемонию посредством контроля «над сознанием аудитории» [ван Дейк, 2013, с. 32]. Тем самым исследование символической политики призвано дать ответы на вопросы: *кто и как осуществляет контроль над публичным дискурсом во всех его многообразных семиотических проявлениях, кого и как исключают из процесса публичных репрезентаций на различных уровнях социальных взаимодействий* [Dijk, 2010, p. 14].

Поскольку варианты анализа символической политики в современной политической науке и политической антропологии весьма многообразны, интерес представляет артикуляция перспективных стратегий изучения места и роли символической политики в социокультурной динамике, их взаимосвязи на основе конвергентного, «гибридного» подхода (*convergent approach*). *Подобная теоретико-методологическая «конвергенция» могла бы реализоваться в общности предметной области исследования символического и теоретических интерпретаций базовых концептов, позволяющих «строить мосты» [Aronoff, Kubik, 2013] между политической наукой и политической антропологией как субдисциплина в рамках многообразия наук о политике.*

Специфика исследования символических структур политической культуры в политической науке и политической антропологии

Как уже отмечалось, исследовательские программы символических измерений политического процесса в политологии и культурной антропологии всегда имели общие теоретические лакуны, сохраняя при этом свою теоретическую и методологическую автономию. Симптоматична в связи с этим общность теоретических интенций авторитетных представителей политической науки и культурной антропологии Гарольда Лассуэлла и Лесли Уайта, стремившихся еще в 30–40-х годах прошлого века к расширению и углублению эмпирической и теоретической базы политической науки и культурной антропологии на основе комплексного, научного анализа символических измерений социальных коммуникаций.

Так, Г. Лассуэлл отмечал, что необходимо преодолевать стремление к «гомогенности» в предметной области политической науки, тяготеющей к изучению институтов государственного управления, поскольку политическая наука — «живая дисциплина» о политическом взаимодействии и влиянии во всем его многообразии и на разных уровнях, а за принятыми паттернами государственного управления всегда скрывается множество культурных феноменов, символически и весьма противоречиво воздействующих на институционализованные события [Lasswell, 1951, p. 310–325; Лассуэлл, 1994, с. 141–143]. Весьма «антропологично» выглядят и его замечания, связанные с разработкой идей Чарльза Мерриама о взаимосвязи политики «креденды» («во что должно верить»), официальных (формальных) и доктринальных обоснований существующего институционального порядка (принимаемых политиками решений) с политикой «миранды» (символы чувства и идентификации), рассчитанной на выработку эмоционального восприятия политики, где решающую роль играет политический миф, ритуал и паттерны героической жертвенности [Lasswell, 1971, p. 91–92; Лассвелл, 2006, с. 264–279].

Антрополог Лесли Уайт занимал еще более радикальные позиции по вопросам предметной области символических исследований, разрабатывая идею о необходимости развития «супрапсихологического» подхода, преодолевающего субъективизм психологических и психоаналитических трактовок природы символической политики и абстрактный объективизм социологической интерпретации культурных процессов. Как полагал Л. Уайт, необходимо «открыть культуру» как «новую область научного исследования» посредством создания особой, «супрапсихологической» науки о культуре — культурологии. Американский антрополог видел перспективным понимание культуры «как континуума», «потока событий, свободно текущего сквозь время от одного поколения к другому» и от одной среды обитания к другой, возникающего в процессе выборочного упорядочивания событий в соответствии с принципом «время» и связанного с таким свойством человеческого вида, как использование символов. Человеческое поведение в его интерпретации — это всегда символическое поведение, а «если оно не символическое, то оно и «не человеческое», поэтому все цивилизации всегда возникали и исчезали «из использования символов». При этом «детерминанты культуры», как он полагал, следует искать в самой культуре, поскольку с точки зрения научного анализа и интерпретации ее можно считать вещью *sui generis*, а поэтому культуру можно объяснять лишь посредством ее собственных элементов и в собствен-

ных терминах. Задачу же научного постижения культурных процессов Л. Уайт связывал с исследованием отношений между культурой и биологическим уровнем жизнедеятельности человека [Уайт, с. 11–131]. В своих методологических посылах, как будет показано ниже, эти ученые предвосхитили современные антропологически ориентированные стратегии исследования политической культуры. Вместе с тем обозначенные выше эвристические интенции на комплексные и междисциплинарные исследования символической политики, артикулированные более чем шесть десятилетий назад, весьма далеки от оформления в некую целостную, комплексную стратегию культурных измерений эффективности политических коммуникаций.

При первом приближении взаимосвязь современных политико-антропологических и политологических исследований видится достаточно естественной. В настоящее время существует относительное согласие в среде зарубежных и отечественных представителей политической антропологии по поводу общей направленности антропологических исследований не только на исследование генезиса институтов власти в потестарных обществах и ранних государствах, но и на изучение трансформации традиционных политических институтов в процессе политических модернизаций и глобализационных процессов [Kurtz, 2001; Lewellen, 2002; Тишков, 2001; Крадин, 2011]. Симптоматично, что уже в период начальной институционализации политической антропологии М. Фортес и Э. Эванс-Притчард позиционировали себя как представителей эмпирического, научного знания о политических процессах, нацеленных на изучение конкретных институциональных практик. Показательны их ремарки во введении к коллективной монографии «Африканские политические системы» по поводу научной значимости политической философии для политической антропологии, поскольку она, по их мнению, в отличие от сравнительной политологии, не может помочь в понимании обществ, которые они изучали, так как ее выводы не подтверждаются эмпирикой антропологического наблюдения за поведением людей [Fortes, Evans-Pritchard, p. 4–5].

В дальнейшем, в ходе своей эволюции во второй половине XX столетия, под влиянием структуралистских и конструктивистских стратегий исследования политическая антропология включила в свою предметную область изучение символических структур потестарных обществ и политических культур и их символических репрезентаций, возникающих в процессе их модернизаций и под влиянием глобализации, тяготея в целом к пониманию культуры как структуры, сетей смысла, проявляющихся в символических репрезентациях.

В политической же науке, в период методологической экспансии теории рационального выбора, ориентированной на моделирование политики как процесса рационализации политической деятельности, концепт «политическая культура» оказался на периферии в объяснении логики социокультурной эволюции. Подобная ситуация в известной степени была закономерна в связи с доминировавшей в 1960-е годы методологией исследования политико-культурных феноменов в политической науке. Отмечая заслуги Г. Алмонда, разработавшего методологические основания для научных программ эмпирических исследований политической культуры как социально-психологических ориентаций, следует помнить, что сам он рассматривал свои операционализации понятия политической культуры в качестве не научной теории, а «набора переменных», позволяющих выявить специфику политических систем, не отвергая возможности создания на основе подобных «переменных» теории политической культуры [Almond, p. 26]. Возникла и еще одна серьезная методологическая проблема — как сделать эти политико-культурные «зависимые переменные» (*dependent variable*) и ценностные предпочтения «чувствительными» к описанию пространства политических смыслов, которое никогда целиком не редуцируется, к содержанию ценностных установок относительно институциональной системы или политической организации. Это постепенно привело в политологических исследованиях по меньшей мере к признанию значимости такой посылки, что любая рационализация осуществляется в вариативных формах культурной символизации [Greenfeld, Malczewski, с. 411].

Преодоление подобных эпистемологических ограничений видится в стратегии культурных исследований, обозначенной, в частности, в работах авторитетного представителя современной «культурсоциологии» (*cultural sociology*) Дж. Александера. Он подчеркнул, что большинство моделей в традиционной социологии культуры и политическом анализе страдают фундаментальными изъянами в силу того, что в них культура не выступает независимой переменной, а является производной от более «жестких» переменных социальных структур [Alexander, p. 11–26]. Подобную посылку разделяют многие современные исследователи в политической науке и антропологии, делая вывод, что «культура имеет значение» не только как некая производная от институциональных учреждений, она выступает как автономная «социальная структура», которая влияет на символический дизайн власти в различных формах и на различных уровнях [Dean, 2006 p. 770; Tompson, Verweij, Ellis, p. 319–340]. Подобная направленность на методологический синтез в современных

политико-культурных исследованиях создает предпосылки для совместимости политологических и антропологических исследований.

Дальнейшая конвергенция исследовательских стратегий политической антропологии и политической науки, по нашему мнению, возможна в актуализации исследований политического мифа и политической памяти. Вспоминая интенции Г. Лассуэлла и Л. Уайта, политический миф — это то пространство, где соприкасается *креденда* и *миранда*, культурная символизация и биосоциальный уровень существования человека, по Л. Уайту.

Место и роль политического мифа в символической политике

Воздействие современных практик политической символизации в значительной мере зависит от коммуникативных структур *политической памяти, которая является выражением динамической взаимосвязи символических схем ретроспекций и проекций политических событий.* Важным звеном подобного процесса в любом обществе является мифический нарратив как семантический катализатор многообразных политических дискурсов повседневности, когда легитимация и делегитимация политического доминирования дополняется символизацией телесно-чувственного восприятия политического посредством символизации событий героического и жертвенного. В свое время немецкий антрополог Я. Ассман, размышляя о возникновении «альянса власти и памяти», предостерегал от упрощенной трактовки противоположности «фикции» мифа и реальности «истории» и нацеливал на изучение их симбиозов [Ассман, 2004, с. 80–85].

В исследованиях мифического антропологическую специфику мифического так или иначе связывают с потребностью людей познавать и описывать свой «жизненный мир» в «чувственно-образной» форме. Это позволяет предположить, что *динамика социальных практик политической мифологизации в значительной степени предопределяется спецификой эволюции «политической телесности», эмоционально-чувственного восприятия политики и ее символизации в политических коммуникациях, что выступает неотъемлемым измерением и семантическим катализатором политических коммуникаций в любом обществе.* В связи с чем представляются весьма эвристичными теоретические интенции социолога А. Ф. Филиппова, подчеркнувшего в одной из своих работ, что реальная политика и политическая философия всегда основаны на некоей базисной антропологии — представлении о человеке, которое

не обязательно артикулируется, но входит в словарь философии и политики. Наряду с антропологией «рациональности гражданина» в современном обществе возрастает значимость антропологии «человека чувственного» и науки о «новой чувственности» (в терминах А. Филиппова — *эстезиологии*), ее символических проекций. Поскольку «кто будет владеть словарем новой чувственности, тот будет владеть словарем мобилизации» [Филиппов, 2008, с. 127–128, 140].

По нашему мнению, для дальнейших политологических и антропологических исследований природы политической символизации современных мифо-практик могут представлять интерес идеи немецкого социолога Н. Лумана, нацеливающие на выход за рамки субъективизма психологических и феноменологических интерпретаций природы символизма социальных коммуникаций. Рефлексия Н. Лумана по поводу символических оснований власти не связана прямо с анализом политического мифа, но в его теории она тесно связана с проблематикой сложной структуры социальной памяти и механизмов социальной идентификации. В своих исследованиях социальной и политической идентификации, сопровождающей коммуникативный процесс, Н. Луман отталкивается от посылки, что возникновение и символизация социальных идентичностей («стягивания смысла») связаны с необходимостью выработки и поддержания в общностях «ингибирующей» (сдерживающей) способности, которая позволяет «вытеснять неудобные ожидания» [Луман, 2007, с. 413].

В основании подобных «способностей» лежит механизм оформления особых символов, которые влияют на ожидания участников коммуникаций, посредством символизации опыта их телесно-чувственного существования. Подобная символизация, как полагает Н. Луман, порождает особые знаки, поскольку социокультурная эволюция не «исключает материю», а приводит к все более многообразным символическим комбинациям (*симбиозу*) телесности и функционально-специфической коммуникации [Луман, 2007, с. 329–333]. Такие, в его терминологии, *симбиотические символы* возникают в связи с «необходимостью учета телесности» в процессе коммуникативных взаимодействий. Они выступают средством выражения подобной связи (симбиоза), содействуя «телесной обеспеченности» коммуникативного процесса [Луман, 2005, с. 220]. В условиях современного секулярного общества значимость и автономия подобных символов возрастают, поскольку они перестают быть «свидетельствами низменности» и не нуждаются в отсылке к божественным или универсальным принципам при репрезентации социальных идентичностей. Несложно заметить,

что подобные суждения Н. Лумана весьма комплементарны антропологической рефлексии Я. Ассман по поводу перехода от «семиотизации космоса» к специфической «семиотизации истории».

Для антропологизации политологических исследований, на наш взгляд, особый интерес представляют суждения Н. Лумана по поводу *симбиотических символов власти*. Как и симбиотические символы иных социальных коммуникаций, они налагают запреты на самоудовлетворение телесных потребностей. «Ингибирующая» (сдерживающая) функция властных коммуникаций проявляется в том, что они задают символические границы применения *физического насилия*, оправданности его использования в практике реализации политических решений, напоминают о рисках использования физического принуждения участникам политических коммуникаций [Луман, 2005, с. 220–224].

Никакая множественность источников публичной власти (авторитета, права, возможности наделения привилегиями или морали) не может исключить вероятность использования этого ресурса. Власть всегда опирается на возможности применения негативных санкций, в первую очередь — физического насилия. Поэтому использование власти требует постоянной рефлексии по поводу применения/неприменения насильственных средств власти, постоянного балансирования между демонстрацией силы и избеганием применения санкций. Это является фундаментальной проблемой властных коммуникаций: нужно давать понять об угрозе, не угрожая, нужно пытаться найти выход из ситуации «намеком» на символические структуры и условия, не определяя точно, что будет предпринято, если указание не исполнить [Луман, 2005, с. 229]. Контроль за использованием физического насилия требует символизации возможности и условий его применения на примере политических событий прошлого, настоящего и будущего. При этом, на наш взгляд, можно ослабить интенцию немецкого социолога о сдерживающей функции симбиотической символизации, поскольку подобный контроль за коммуникациями амбивалентен и может стать стимулом к использованию физического насилия и последующей его легитимации. Потребность в актуализации подобной символизации особенно возрастает в периоды реконструкции политической памяти, о чем свидетельствует, в частности, перманентный интерес постсоветских политологов и политиков к социальному конструированию «героических символов» в реалиях современных политических коммуникаций. Мифологизация повседневности — неотъемлемая составляющая современных политических коммуникаций, поскольку распространение новых медиатехнологий и биополитики существенно расширяет возмож-

ности для актуализации мифического, нередко делая его воздействие «более зловещим», чем в прошлом [Bottici, 2007, p. 243–248, 358].

В этой связи особый интерес приобретают работы, нацеленные на исследование антропологии политического мифа в политической науке, которые не сводят специфику его политического содержания к социально-психологическим или идеологическим моделям мифического, комплементарны антропологической посылке о «телесно-чувственной», «симбиотической» природе мифической символизации.

Политический миф символически оформляет повседневные ожидания в ожидания «конкретной группы», которая обретает своих «героев» или «героинь», выступающих в качестве ее «представителей» и символизирующих ее политическую судьбу [Tudor, 1972, p. 130, 138–139]. Опыт «телесных» впечатлений в прошлом и настоящем играет значительную роль в возникновении практического «политического воображения», которое пробуждает коллективную «пассионарность» — стремление к совместной деятельности и готовности к жертвенности ради реализации своих права на подобную активность. Поэтому политический миф следует рассматривать не только как индикатор массовой политической энергетики, но прежде всего как специфический процесс социального конструирования политических идентичностей.

Таким образом, политический миф — не столько стереотипизация совместных взаимодействий, сколько символизация решимости к коллективным действиям в *настоящем*. Он является выражением *социальной, коллективной значимости повседневной деятельности людей*. При этом миф и рационалистические дискурсы политического существуют в сложном семантическом симбиозе. Миф — это своего рода «линза», сгущающая на уровне повседневности политические смыслы, которые интегрированы во все социальные дискурсы и практики. К. Боттичи, рассматривая проблему сосуществования и взаимодействия современного политического мифа с иными видами социальных дискурсов, предлагает вариант классификации возможных типов политического мифа в зависимости от особенностей адаптации рационального содержания рационалистических социальных нарративов под нужды социальной прагматики политического мифа [Bottici, p. 259–260]. На этом основании в работе итальянского политолога намечаются теоретические контуры для социологической классификации современных политических мифов на «религиозный политический миф», «научный политический миф», «исторический политический миф» [Bottici, p. 259–260]. Исследование специфики политико-мифических символических презентаций и репрезентаций в контексте их телесно-чувственной, эмоциональной прагматики неизбежно артикулирует проб-

лему политической памяти как семантической среды возникновения и существования политического мифа.

Политическая память как символическая среда культивирования политического мифа

Исследование социальной памяти, политической в частности, традиционно связано с анализом политического мифа как важного компонента ее семантического содержания. Один из авторитетных исследователей коммуникативных структур социальной памяти и ее мифических оснований, антрополог Я. Ассман, полагал, что «память» — метонимия, которая благодаря своей семантике, первоначально частной по отношению к понятию «культура», обогащает смысловое содержание концепта «культура» [Assmann, 2010, с. 109—111]. С помощью понятия «память» можно строить цепочку новых таксономий, которые существенно расширяют возможности анализа идеальных процессов в политике. Если концепт «политическая культура» в традиционном политологическом дискурсе позволял наблюдать динамику идеального в политических коммуникациях (политические «ценности», «идеалы», «нормы») с позиций «рационального гражданина», то концептуализация идеального в политических коммуникациях посредством понятия «политическая память» позволяет отвечать на вопросы, как и каким образом «идеальное имеет значение» для прагматики повседневного политического существования. Исследование темпоральных режимов политической памяти открывает возможности для понимания источника преференциальности семантики и содержания политических мифов в репрезентации героического «прошлого», «настоящего» или «будущего»¹.

В современных исследованиях политической памяти уже наработаны социологические модели качественного анализа частных случаев символической «прагматики» политического мифа. Например, в рамках «процессо-реляционной» стратегии исследования *«работы памяти»*, где социальная память выступает «горнилом смысла», а не «сосудом истины», предложены способы исследования «фигураций» памяти как меняющихся соотношений в символической репрезентации прошлого и настоящего. Подобные фигурации описываются посредством эмпирического анализа процесса символической борьбы «памятей» и «за память» в социальных полях, средств передачи памяти, жанров и профилей социальной памяти [Olick, 2010, р. 158—159; Олик, 2012]. Важным звеном подобного процесса является классификация и изуче-

ние процесса «работы» мнемонических практик, описание специфики их реализации в символической политике, для того чтобы обоснование прошлого («почему так») и будущего («как это будет») обрело телесно-чувственную, мифическую осязаемость.

Социологическая конкретизация обозначенных выше теоретических экспликаций исследования политического мифа как мнемонической практики политической памяти возможна и в рамках исследований «культурной прагматики», нацеленной на изучение многообразных форм «социального перформанса», «драматургии власти». Как отмечает один из авторитетных представителей современной культурсоциологии, даже самые демократические страны и индивидуализируемые общества нуждаются в мифо-ритуальных практиках для поддержания коллективных представлений. Социальный перформанс включает многослойный процесс символического конструирования и средств символического производства социальной власти, он порождает сакральные объекты и многообразные символические фигуры взаимодействия [Alexander, 2006, p. 29–89]. Политические мифы, обеспечивая символизацию практик политического доминирования на уровне повседневности посредством симбиотических символов власти, являются важным и необходимым звеном современной символической политики.

В заключение следует заметить, что «политическая культурология» как субдисциплина современной политической науки, основанная на синтезе теоретико-методологических стратегий исследования политики в политической науке и политической антропологии, могла бы содействовать оформлению антропологии политики «человека чувствующего». В связи с чем уместно вспомнить, несколько перефразировав, мысль Лесли Уайта о том, что изобретения «нового слова зачастую бывает достаточно, для того чтобы выявить отношение, и тогда слово станет созидательным». Политическая культурология, выявляя «отношение человека политического» к символическому в процессе политической институционализации, с одной стороны и при осуществлении «экстрасоматических», симбиотических политических практик повседневности — с другой, может быть созидательной в создании новой науки и дать ей определение.

Примечания

¹ Перспективы исследования социально-политической памяти, возможностей использования и развития подобного методологического инструментария для анализа политических коммуникаций более подробно представлены в работе автора, вошедшей во второй выпуск сборника научных трудов «Символическая политика» [Завершинский, 2014].

Литература

- Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Дейк Т. А.* Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.
- Дуглас М.* Чистота и опасность. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000.
- Завершинский К. Ф.* Символическая политика как социальное конструирование темпоральных структур социальной памяти // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О. Ю. Малинова, гл. ред., и др. М., 2014. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего. С. 80–92.
- Крадин Н. Н.* Перспективы политической антропологии // Полис. 2011. № 6. С. 78–91.
- Лассвелл Г.* Язык власти // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006. С. 264–279.
- Лассуэлл Г.* Принцип тройного воздействия: Ключ к анализу социальных процессов // Социологические исследования». 1994. № 1. С. 135–143.
- Луман Н.* Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005.
- Луман Н.* Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.
- Олик Д.* Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 40–75.
- Тишков В. А.* Новая политическая антропология // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Т. IV. № 4. С. 68–74.
- Уайт Л.* Избранное: Наука о культуре / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. (Серия «Культурология. XX век»).
- Филлипов А. Ф.* Чувственность и мобилизация. К проблеме политической эстеziологии // Defuturo, или История будущего / Под ред. Д. А. Андреева, В. Б. Прозорова. М.: Политический класс; АИРО-XXI, 2008. С. 119–140.
- African Political Systems* / Ed. by M. Fortes and E. E. Evans-Pritchard. L., N.Y.: Oxford University Press, 1950.
- Alexander J. C.* Cultural pragmatics: social performance between ritual and strategy Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual /Ed. by Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast Cambridge University Press, 2006. P. 29–89.
- Alexander J. C.* The meanings of social life: a cultural sociology. N.Y.: Oxford University Press, 2003.
- Almond G. A.* The Intellectual History of the Civic Culture Concept // The Civic Culture Revisited / Ed. by G. A. Almond and S. Verba. Newbury Park; L.; New Delhi: Sage Publications, 1989. P. 1–36.
- Aronoff M. J., Kubik J.* Anthropology and political science: a convergent approach. N.Y., Oxford: Berghahn Books, 2013.
- Assmann J.* Communicative and Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. By Astrid Erll and Ansgar

Nünning, in collaboration with Sara B. Young. Berlin; N.Y.: Gmb&Co. KG, 2010. P. 109–118.

Bottici C. A Philosophy of Political Myth. N.Y.: Cambridge University Press, 2007.

Dean J. Political Theory and Cultural Studies // The Oxford handbook of political theory. N.Y.: Oxford University Press Inc., 2006. P. 751–772.

Dijk T. A. Discourse and power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010.

Greenfeld L., Malczewski E. Politics as a Cultural Phenomenon // Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective / K. T. Leicht and J. C. Jenkins (eds). N.Y.; London Springer Science+Business Media, LLC, 2010. P. 407–422.

Kurtz D. Political anthropology: power and paradigms. Boulder, Colo.: Westview Press, 2001.

Lasswell H. Politics: Who Gets What, When, How // The Political Writings of Harold D. Lasswell. Glencoe, Illinois: The Free Press Politics, 1951. P. 295–464.

Lasswell H. The Structure and the Function of Communication in Society // The Process and Effects of Mass Communication. Chicago, Urbana: University of Illinois Press, 1971. P. 84–99.

Lewellen T. C. The Anthropology of GLOBALIZATION: Cultural Anthropology Enters the 21st Century. L.: BERGIN & GARVEY, 2002.

Olick J. K. From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. By Astrid Erll and Ansgar Nünning, in collaboration with Sara B. Young. Berlin; N.Y.: Gmb&Co. KG, 2010. P. 151–162.

Tompson M., Verweij M., Ellis R. J. Why and How Culture Matters // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / Ed. by Robert E. Goodin and Charles Tilly. N.Y.: Oxford University Press Inc., 2006. P. 319–340.

Tudor H. Political Myth. N.Y.; L.: Praeger Publishers, Inc., 1972.

Ballinger P. How detect culture and its effects // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / Ed. by Robert E. Goodin and Charles Tilly. N.Y.: Oxford University Press Inc., 2006. P. 341–359.

3.3. Символические партии как культурно-политический феномен: немецкий опыт в российской перспективе

Символическая партия как политологический концепт

Цель данной главы в контексте рассмотрения символической политики заключается в экспозиции ряда идей зарубежных (немецких по преимуществу) авторов по теме, которая представляет интерес для анализа и российских реалий. Речь идет о таком специфическом современном явлении политической культуры, как *символические партии*.

Хотя термин «символические партии» в отечественной науке — насколько нам известно — ранее использовался мало, в литературе можно встретить семантически родственные ему выражения, отражающие ограниченную пока **роль партий в современном (информационном) обществе и отечественном политическом процессе в частности**. По преимуществу символическая партийность образуется вокруг значимых политических символов, выражающих различные сегменты политической культуры. Причем символические партии становятся релевантным фактором политики не в любой, а преимущественно в *сегментированной* и — особенно — *фрагментированной* политической культуре.

С опорой на работы ряда зарубежных и отечественных авторов мы различаем по меньшей мере четыре типа политической культуры — в зависимости от способа взаимодействия ее составных частей:

- *Монистическая (однородная)* политическая культура, части которой не обнаруживают особых идентичностей, а потому не вступают между собой в диалектическое взаимодействие, тем более конфликт. (Примеры этого типа дают архаические и тоталитарные общества, но не только).
- *Сегментированная* политическая культура, состоящая из сегментов как субкультур, обладающих собственной идентичностью, но связанных отношением к доминирующему сегменту. (Примерами этого типа могут служить самые разные общества: от средневековых политий до современных демократий).
- *Фрагментированная* политическая культура, состоящая из конфликтующих друг с другом политических субкультур в отсутствие доминирующего сегмента, а потому не способных образовывать минимальный символический консенсус.
- *Плюралистическая (диалектическая)* политическая культура, части которой, сохраняя свою идентичность, находятся в диалогическом взаимодействии, образуя культурную идентичность полиархий (в смысле Р. Даля).

Первый и четвертый типы культуры мы здесь специально рассматривать не будем, а сосредоточимся лишь на втором и третьем типах.

Хотя концепты «сегментированной» и «фрагментированной» политической культуры уже давно используются отечественными политологами и даже вошли в учебники, сами эти феномены объектом систематического исследования становятся не часто. Мы согласны с мнением немецкого политолога Ш. Кайлитца, что главным отличительным признаком именно фрагментированной политической культуры является не столько сосуществование в обществе разных полити-

ческих субкультур, сколько то, что ни одной из них не удастся достичь социальной гегемонии¹.

Так, традиционно связывая Веймарскую Германию с типом фрагментированной политической культуры, Кайлитц относит ФРГ (как и другие стабильные западные демократии) к странам с «доминирующей» политической культурой, а именно субкультурой демократии. Но пример политической культуры с наличием доминирующего сегмента дает и кайзеровская Германия. Доминирующим, по словам немецких историков Д. Ленерта и К. Мегерле, здесь было имперское мышление прусско-протестантского, национально-консервативного типа с ярко выраженными верноподданническо-милитаристскими чертами. Однако, как замечают немецкие ученые под крышей этого «властного картеля» находилось большинство избирателей, разделенных частичными политическими культурами (субкультурами²), не способными к диалогу друг с другом³.

Но если во Втором германской рейхе доминантный властный картель придавал политической системе относительную стабильность, то в Веймарской республике такой стабилизирующий фрейм отсутствовал, и не возникало никакой жизнеспособной кооперации даже между готовыми к этому частичными политическими культурами. По отношению к простому сегментированию политической культуры ее фрагментация означает качественно новое состояние — в какой мере различные культурно-политические среды выходят здесь на перспективу союзнических отношений только спорадически. В таком случае и вся политическая система может существовать лишь как переходный феномен.

Но что является социальным субстратом символических партий в условиях сегментированной политической культуры? Почему вообще есть смысл говорить в данном случае о «партиях», подразумевая их относительно стабильный, институционализированный характер?

В случае обычных политических партий речь идет об организационно оформленных структурах, которые идентифицируют себя в качестве политических партий и сознательно заявляют о своих претензиях на власть. В случае же символических партий такого институционального оформления нет, хотя их внутреннее единство может проявляться в каких-то временных политических альянсах, совместном участии в общественно-политических акциях, решениях и пр.

Социальную основу символических партий можно вслед за немецким социологом М. Р. Лепсиусом охарактеризовать в терминах «диффузной дополитической структуризации среды»⁴. Другими словами,

идентичность символических партий подпитывает то, что в научной литературе получило название «социоморальной» или «социокультурной» среды.

Социоморальная среда как элемент сегментированной политической культуры

По словам М. Р. Лепсиуса, «социоморальная среда» есть обозначение социального единства, образующегося посредством совпадения сразу нескольких структурных измерений — религиозной принадлежности, региональных традиций, хозяйственного положения, культурных ориентаций и т.д.⁵. Социоморальная среда есть, стало быть, политическая субкультура как сложное социокультурное образование, которое отграничивает себя от других сред (субкультур) не столько по партийным билетам, сколько по символам, выражающим специфические моральные фреймы политических идеологий. Эти фреймы состояются определенными моральными максимами, не обязательно доктринально выраженными, но реально объединяющими носителей данной социокультурной среды. На примере кайзеровской Германии Лепсиус пишет, к примеру, о «моральных границах»⁶ между буржуазно-конфессиональными сообществами единомышленников и рабочим движением, которое этими сообществами отторгалось как нечто нравственно чуждое, а не просто как политический соперник.

С другой стороны, образовавшаяся в Германии в 60—70-е годы XIX в. социокультурная среда рабочих тоже представляла собой не просто «рабочий электорат», но политическую субкультуру со своим мировоззрением, важной частью которого выступала внецерковная мораль. Это, помимо прочего, делало понятие рабочей солидарности не просто политическим концептом, но «моральной максимой, возвышающейся над всеми политическими решениями» рабочих партий⁷. Это подразумевало, что «фактически люди стремились общаться только со своим окружением: дети посещали по возможности собственные школы, читали только свои книги и праздновали только свои праздники. Даже торговые дома выстраивались по партийно-политическому принципу, а брачные стратегии тоже ограничивались по возможности политически родственным кругом людей»⁸.

Немецкие ученые О. Негт и А. Клюге метко назвали эту практику «социальной сессией»⁹. Этот феномен включает в себя «автономную монополию на социализацию», посредством которой социоморальная цельность может передаваться от поколения к поколению¹⁰.

Таким образом, социоморальные среды, обустроенные как крепости (военные лагеря), склонные к социальной сецессии, к самоизоляции от остального общества, образуют закономерные проявления сегментированной политической культуры. В этих условиях моральное фреймирование партийно-политических идеологий основывается на догматизации внутренней морали каждой социокультурной среды как сегмента политической культуры. И когда партийная система в тенденции привязывается к определенным социоморальным средам, она неизбежно приобретает символизированный (ритуализированный) характер.

Как раз такой случай описывает Лепсиус на примере партийной системы кайзеровской Германии. Он разделяет все германские партии периода 1871–1928 гг. на четыре большие группы: консерваторов, либералов, центр и социалистов и, сверх того, объединяет в одну группу прочие маленькие партии (включая национал-социалистов), игравшие роль «диссидентов» в рамках тогдашней германской системы политической интеграции (социализации). Партийная система кайзеровской Германии, будучи стабильной на протяжении многих десятилетий, потерпела крушение только в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Но первейшей причиной этого крушения стал не сам кризис, а сегментированный характер германской политической культуры. Вся партийная система германского рейха — как замечает Лепсиус — была фиксирована на конфликтах, которые имело место в момент ее возникновения, но потеряли свое значение еще в 90-е годы XIX в., а после войны оказались совершенно устаревшими. Основные германские партии фактически были «политическими комитетами действия этих — самих по себе крайне сложных — социоморальных сред»¹¹. Соответственно каждый из политических лагерей мог отобилизовать электорат только своей среды, при всех различиях внутри политических партий, на этой среде основанных. Всеобщую же мобилизацию смогли осуществить позднее только национал-социалисты, и это сопровождалось, помимо прочего, экспроприацией ими символического капитала их политических противников.

Из проведенного немецким социологом анализа вытекает, во-первых, что политическая система в условиях сегментированной политической культуры с необходимостью приводит к возникновению символических идентификаций, выражающих моральные фреймы отдельных политических субкультур; во-вторых, символические партии как эффект этих идентификаций есть манифестация не столько обычных политических партий, сколько социоморальных сред, на которых эти партии фиксированы; соответственно, в-третьих, если эти среды

начинают интенсивно разрушаться в условиях серьезного социально-экономического кризиса, тогда вслед за этим обрушивается и вся партийная система, что придает системе символических партий особую роль в кризисном социуме.

К этим трем моментам можно добавить тезис о том, что в условиях глубокого и продолжительного социально-политического кризиса существенно меняется способ формирования символических партий. Теперь эти партии являются выражением не столько упомянутой диффузной дополитической структуризации социокультурных сред, сколько *гражданской войны символов*. Другими словами, имеет место радикализация символических партий, что, впрочем, обнаруживает преемственность с «лагерным менталитетом» любой сегментированной политической культуры.

Политизация в условиях кризиса усиливает неоднородность определяющих факторов социокультурных сред. Последние и в относительно мирные времена суть — как мы отмечали выше — образования сложные, гетерогенные. Но в условиях кризиса традиционные социокультурные среды рушатся, а новые только формируются. И тогда возникает ситуация, когда одни политические субкультуры охватывают граждан, организованных традиционными партийными структурами, другие относятся к людям хотя и политизированным, но беспартийным, а третьи выражают позицию электората, для которого политические темы пока что не являются столь важными, как вопросы профессиональные, хозяйственные и др., но в тенденции неизбежно таковыми становятся.

Прогрессирующая в эпохи кризисов неоднородность определяющих факторов социокультурной среды требует, по-видимому, конкретизации известного определения политической культуры как «ансамбля базисных убеждений (*beliefs*), ценностей (*values*) и ориентаций (*attitudes*) социальных групп относительно роли политического порядка, политической системы во взаимодействиях групп, как между собой, так и со всем обществом»¹². Речь идет не только о том, что в кризисные эпохи мы имеем несколько иные убеждения, ценности и ориентации, чем во времена некризисные; но также о том, что меняется сама конфигурация (соотношение) элементов политической культуры. Важным становится ее динамический элемент, который, помимо ориентаций (установок), выражается в ситуативно складывающихся и символически опосредованных моделях (паттернах) поведения.

В свое время У. Липпман, описывая структуру общественного мнения в условиях войн и революций первой четверти прошлого века,

определял человеческую культуру как отбор, реорганизацию и отслеживание мыслительных моделей (*patterns*)¹³. Кризис делает политически целесообразным и разумным манипулирование массами при помощи символов, что ведет к усилению роли символических партий. Липпман по сути имел в виду именно это, когда говорил о складывании «коалиции вокруг какого-то символа» как условия достижения «эмоционального сплава конфликтующих группировок»¹⁴, которые при обсуждении несимволических, предметных вопросов начинают неизбежно враждовать друг с другом.

Итак, общая тенденция трансформации социоморальных сред в период социально-политического кризиса состоит в их упрощающей гомогенизации, когда феномен символических партий выходит на передний план. Причем в условиях перманентного и продолжительного социального кризиса обычные политические партии фиксированы не меньше, чем в стабильные времена, на определенных социоморальных средах. Только эти среды в тенденции фокусируются — в своей публичной политической репрезентации — на символических партиях. С другой стороны, уменьшается диффузный характер их идентификационных механизмов. Последние — опять же в тенденции — упрощаются до четкой (принципиальной, бескомпромиссной и т.п.) идентификации с определенными символами. Это не значит, что система символических партий тем самым упраздняет роль обычных партийных систем, но она как бы накладывается на них, усложняя общий процесс политического общения.

Символические партии в условиях «холодной гражданской войны»: случай Веймарской республики

Символические партии идентифицируются скорее по флагам на праздниках, чем по идеологическим этикеткам в политических программах. Последние могут противоречить моральным интенциям символических партий, причем такое противоречие может присутствовать в сознании одного и того же гражданина. В эпоху кризисной ломки привычного политического ландшафта такая ситуация — как показывает случай Веймарской республики — отнюдь не редкость.

В Веймарской Германии можно выделить следующие символические партии.

Демократы-республиканцы. Эта партия символически выражала либерально-демократические, республиканские ценности и политическую ориентацию на Запад. Основной символ — черно-красно-

золотой флаг как манифестация республиканско-демократических традиций в немецком национально-освободительном и национально-объединительном движении. Главный праздник — День конституции (11.08.1919). Однако эта дата так и не смогла утвердиться в Веймарской республике в качестве официального национального праздника, оставшись в символическом пространстве частичной политической культуры либерально-демократических, республиканских сил. Коммунисты считали этот праздник выражением буржуазных фантазий о социальном мире, а правые — символом национального унижения Германии. Соответственно и празднование Дня конституции было скромным, с почти незаметным использованием черно-красно-золотого республиканского флага¹⁵.

Имперцы-монархисты. Эта партия была символическим выражением правоконсервативных, имперско-националистических идей и рваншистской политической программы. Основные символы — черно-бело-красный триколор как государственный флаг кайзеровской (имперской) Германии и как символ прусского милитаризма. Главный праздник — День основания Германской империи (18.01.1871). Этот праздник перестал быть официальным в Веймарской Германии, но становился все более популярным не только среди правых консерваторов — противников республиканского строя, но и среди представителей других политических субкультур¹⁶. Напротив, предложение Веймарских либералов и социалистов сделать 9 ноября главным национальным праздником республики — Днем революции и падения империи — так и не было реализовано. Популярность этого праздника среди массы населения оставалась низкой¹⁷. Значимым днем он был только для части левых, но и для них он все больше воспринимался как символ нереализованных надежд.

«Коммунисты-интернационалисты» как символическое выражение идейно-политической ориентации на СССР и Коминтерн. Основной символ — «просоветское» красное знамя с пятиконечной звездой, серпом и молотом. Главный праздник — 7 ноября как день Октябрьской социалистической революции, а также другие коммунистические праздники вроде Международного женского дня 8 марта, Дня международной солидарности трудящихся 1 мая и др.

«Национал-социалисты» как символическое выражение расовой идеологии и политической программы национал-социализма. Основным символом — флаг *NSDAP* (красный с белым кругом и черной свастикой), выражающий продолжение и одновременно расовое переосмысление (радикализацию) имперских традиций кайзеровской Германии.

Главные праздники — День основания нацистской партии (24 февраля) и годовщина «пивного путча» 1923 г. (9 ноября). Примечательно, что при всей своей симпатии к германской имперской традиции нацисты не считали день основания Второй империи своим партийным (а после прихода к власти и государственным) праздником.

При всех попытках веймарских правительств выстроить общую национальную символику, — как заметил немецкий историк В. Шпайт-камп, — «политическая дезинтеграция оказалась сильнее, чем интегрирующая сила общего государственного и республиканского сознания»¹⁸. Из всех символических стратегий Веймарских правительств самым удачным был только выбор национального гимна. Президент Фридрих Эберт утвердил в 1922 г. «Песню немцев», написанную еще в 1841 г. Г. фон Фаллерслебеном и переложенную на музыку Ф. И. Гайдна, в качестве официального гимна Германской республики. Социалисты сделали это скрепя сердце, поскольку изначально мелодия Гайдна, сочиненная еще в 1797 г., называлась «Песнь кайзера» (*Kaiserlied*) и посвящалась австрийскому императору Францу II. Ситуация, весьма схожая с музыкой А. Александрова в современном российском гимне.

Положение, в котором находились символические партии Веймарской республики, хорошо описывается в зарубежной научной литературе концептом «символической гражданской войны». У нас этот термин не прижился, зато встречается его метафорический синоним — «холодная гражданская война».

Данное выражение довольно часто используется политологами, политиками и политическими публицистами при описании реалий современных, в особенности посткоммунистических, обществ. Так, венгерский либеральный профессор Г. Шёпфлин писал в середине 2000-х о «холодной гражданской войне», разыгрывающейся в современной Венгрии за символическим фасадом «стандартной европейской демократии»¹⁹. Довольно часто термин «холодная гражданская война» используется при описании социально-политической атмосферы в бывших советских республиках. При этом подразумеваются ситуации, для которых характерен бескомпромиссный мировоззренческий раскол общества²⁰, редукция идейного плюрализма политического поля к дуализму черного и белого²¹, драматичный дефицит способности людей разных убеждений понимать и уважать друг друга²².

Любопытно, что применительно к актуальным отечественным реалиям это выражение используется авторами самой разной идеологической направленности. О том, что в России идет «холодная гражданская война», в последние годы не раз высказывался известный левоконсерва-

тивный автор С. Кара-Мурза²³. При этом в роли негативных сил, раскручивающих спираль «холодной» гражданской войны в России (в отличие от «горячей» гражданской войны на Украине), каждый политический лагерь видит своих идейных противников. Правые консерваторы разоблачают либералов как «пятую колонну», которые якобы «видят свою перспективу, свое политическое будущее в борьбе против российской государственности»²⁴. А либералы в свою очередь винят нынешнее консервативное правительство в доведении политического плюрализма до «холодной гражданской войны» в результате «крымской кампании»²⁵.

Понятие «символической гражданской войны» развил немецкий политолог А. Дёрнер, позаимствовав сам лексикоконцепт (*symbolischer Bürgerkrieg*) из работы немецкого литературоведа Ю. Линка, посвященной партии «Республиканцы» («*Die Republikaner*») в ФРГ. Линк называет «символической гражданской войной» состояние общественно-политического дискурса, характеризующееся дуальным («лагерным») менталитетом. При этом «правый» и «левый» лагеря настолько резко противостоят друг другу, что война между ними представляется естественным и неизбежным состоянием²⁶. А. Дёрнер определяет гражданскую войну символов как ситуацию, при которой «борьба винтовками и кулаками сменяется борьбой понятиями и символами»²⁷. Для этого враждующие лагеря используют институализированные площадки политической коммуникации (медиа, парламентские трибуны и т.п.)²⁸.

Резюмируя имеющийся в научной литературе анализ символической гражданской войны, отметим следующие важнейшие черты этого феномена:

«Одичание» дискурса, выражающееся в отмене общих правил цивилизованной коммуникации между политическими противниками. Последние трактуются как смертельные враги, им самим, их мировоззрению отказывается в праве на существование. Имеет место принципиальная криминализация и бестиализация политических оппонентов, им приписывается преступная природа, несовместимая с человеческим достоинством.

Одичание дискурса сопровождается милитаризацией общественного пространства. Возникает феномен «социального милитаризма»²⁹, накладывающего свой отпечаток не только на публичную политику, но и на повседневное общение граждан. В политическом дискурсе социальный милитаризм выражается в метафорах войны и насилия, а также в соответствующей визуальной эстетике.

В модели символической гражданской войны центристская позиция, позиция «середины» воспринимается воюющими лагерями как

бестолковое смешение «принципиальных» точек зрения, как «символическая зона компрометирующих компромиссов, даже предательства»³⁰.

В ситуации символической гражданской войны отсутствует какой-либо символический порядок государства, стоящий над воюющими партиями в качестве признанного ими авторитета. А. Дёрнер — вслед за П. Бурдьё³¹ — называет эту ситуацию отсутствием монополии на легитимное применение символического насилия (символической власти)³².

Символическая гражданская война есть верный признак именно фрагментированной, а не просто сегментированной политической культуры. Это хорошо видно при сравнении Веймарской республики с бисмарковской и вильгельмовской Германией или даже с Первой австрийской республикой. В Австрии тридцатых годов политическая культура тоже была довольно жестко сегментирована, однако в отличие от германской ситуации минимальный символический консенсус (австрийский историк Э. Ханиш называет его «демократическо-республиканским базисным консенсусом»³³) между австрийскими политическими силами существовал, способствуя относительной стабильности Первой Австрийской республики вплоть до 1933 г.

Символические партии и символический консенсус в постсоветской России

В современной России мы выделяем три основные символические партии, обнаруживающие существенное сходство и одновременно различие с системой символических партий в межвоенной Германии.

Демократы-западники как символическое выражение либерально-демократических, республиканских ценностей и политической ориентации на Запад. Основным символом этой партии можно считать «русский триколор» — бело-сине-красный флаг, предложенный Петром I для торгового флота России, позднее ставший национальным и государственным флагом Российской империи и постсоветской Российской Федерации. Символическое значение имеет тот факт, что данный флаг был предложен царем-реформатором, «прорубившим окно в Европу». К тому же цвета петровского триколора вызывают ассоциации с французским и голландским триколорами как символами антимонархических, буржуазных преобразований в Западной Европе.

Имперские националисты. Символическое выражение правоконсервативных, имперско-националистических идей и реваншистской политической программы. Главным символом этой партии можно считать черно-желто-белый флаг — гербовый флаг Российской импе-

рии, который до сих пор является официальным флагом Русского императорского дома. Сегодня символическая партия имперских националистов хорошо представлена «Русским маршем», весьма пестрым по своему партийному составу, но объединенным имперским черно-желто-белым флагом как основным своим символом. Примечательно, что этот же флаг был предложен в качестве одного из государственных символов в квазигосударстве Новороссия.

Коммунисты-националисты как символическое выражение идейно-политической ориентации на СССР как «великую державу» и «великий русский народ» с органически присущим им социалистическим мировидением. Основным символом выступает здесь красное полотнище, представленное в виде советского государственного флага либо флага КПРФ, иногда украшенное какими-то левыми революционными символами (портретом Че Гевары, например). Но собственно революционные ассоциации с «борьбой пролетариата против классового угнетения» здесь ослаблены за счет акцента на русском национализме и российской (советской) великодержавной традиции.

Представленный перечень российских символических партий суть, разумеется, конструкция не только идеально-типическая, но и гипотетическая, нуждающаяся в серьезном обосновании посредством политического дискурс-анализа. Как может выглядеть такой анализ, отчасти показывает опыт уже имеющихся исследований политического Рунета. Так, в научном проекте, выполненном под руководством Э. Паина, идентифицируется несколько «идеологических лиц» российского интернет-пространства («либеральное», «левое», «националистическое» и «провластное») как «устойчивых идеологических объединений, обладающих специфическим самосознанием и особым языком»³⁴. Не менее интересным представляется исследование политического Рунета, предпринятое П. Л. Крупкиным, специалистом в области ИТ-проектов³⁵. Выделенные им группы «интернетовских борцов» («западники», «советские», «имперцы», «охранители») также близки по описанию указанным выше символическим партиям постсоветской России. Важно при этом иметь в виду, что интернетовская площадка значима для выявления символических партий уже в силу своей дискурсивной специфики. По замечанию П. Л. Крупкина, «фактически люди участвуют в жарких спорах не для понимания позиции другой стороны и попыток сближения позиций в плане делиберативной выработки приемлемого консенсуса, а для уязвления ‘противника’, для гордого пронесения своего ‘флага’ как можно ближе к ‘негодующим врагам’»³⁶.

Между символическим ландшафтом межвоенной Германии и современной России просматривается определенное сходство не только в наборе символических партий, но и в тенденции их взаимодействия: в обоих случаях имеет место идея перехода идеологической власти от символической партии «демократов» к символической партии «имперцев» в рамках одного и того же конституционного порядка. Это своего рода «гибридная форма» обретения политической власти — через победу в идеологической конкуренции посредством символов. Но есть и одно важное различие. В отношении перспектив национального консенсуса идеологическая ситуация в современной России скорее ближе к положению в кайзеровской Германии или в Австрии между мировыми войнами, чем в Веймарской республике. В постсоветской России тоже имеется «властный консунсус», под которым располагается электорат, разделенный на частичные политические культуры. Кроме того, в России формируется ограниченный национально-символический (патриотический) консенсус.

В частности, он выражается в рамках празднования Дня победы, который для большинства россиян имеет сокровенный смысл (по данным опроса Левада-Центра, он занимает место между личным днем рождения и днем рождения близких)³⁷. Свидетельством наличия в современной России символического консенсуса может служить и возникающая в стране своеобразная кросс-партийная символическая группировка «имперцев», куда входят представители всех упомянутых выше символических партий. Помимо собственно монархистов, желающих воскресить царскую империю, а также жириновцев, евразийцев, национал-большевиков и т.п., здесь можно встретить и «либеральных империалистов» в духе А. Чубайса, и советско-коммунистических имперцев в смысле Г. Зюганова. Эта символически выраженная (нео-)имперская идеология — вопреки небезосновательным опасениям части отечественных либералов — вовсе не обречена на вырождение в правый авторитаризм; она может допускать элементы правового и социального государства в качестве «патерналистского дара»³⁸, идеологически облеченного в либерально-консервативные гибриды.

В любом случае, фрагментация политической культуры есть переходный феномен — как и общество, в котором она формируется. Судьба Веймарской Германии пошла по одному из возможных направлений такого перехода — произошло включение большинства фрагментов политической культуры в национал-социализм, ставший локусом концентрации негативного консенсуса против Веймарской системы и одновременно — символом надежд на национальное единство³⁹.

Д. Ленерт и Л. Мегерле задаются законным вопросом о том, что могло бы быть реальной альтернативой данному варианту «собрания» фрагментов политической культуры? В качестве такой альтернативы Ю. Линк предлагает модель «символического уравнивания» как «в тенденции непрерывное управление бинаризмом левого и правого на гибкой горизонтальной оси политического ландшафта»⁴⁰. Если в ситуации символической гражданской войны срединная (центристская) позиция трактуется как политически и морально слабая, то в модели «символического уравнивания» политический центр, напротив, превращается в символическую точку гравитации в политике. При этом левые и правые крайности сдвигаются в сферу аномального⁴¹. Нормальность середины в западных странах выражается в понятии «солидарность демократов». Но эта солидарность есть такая же символическая тотальность, как, например, и «патриотический консенсус» в современной России. Политические крайности здесь скорее символически отсекаются, а не выступают участниками идеологического взаимодействия.

Альтернативы иного рода относятся к тому, что мы выше обозначили плюралистическим типом политической культуры. Немецкий политолог Э. Френкель связывал такие альтернативы с «коллективной» или «диалектической» демократией⁴². Этот концепт опирается на дееспособный парламентаризм и противопоставляется идеалу плебисцитарной демократии. «Диалектическая демократия» означает переход к взаимодействию политических субкультур на плюралистической основе, **что ведет к** широкомасштабному национальному диалогу, в том числе между ключевыми политическими символами.

Итак, социальную основу символических партий как типичных феноменов фрагментированной политической культуры составляют социоморальные среды, образующие политические субкультуры, склонные к социальной сецессии и лагерному менталитету. В ситуации социального кризиса политические субкультуры переживают ломку, что ведет к упадку обычных партий, жестко на них фиксированных, зато к усилению роли партий символических, складывающихся в условиях «холодной гражданской войны» как войны политических символов. Сравнивая опыт такой войны в межвоенной Германии с аналогичным опытом постсоветской России, мы фиксируем как структурные сходства (наличие четко идентифицируемых символических партий, обнаруживающих идеологическое усиление националистического, имперского дискурса), так и различия (ясные индикаторы символического патриотического консенсуса в современной России). Дальней-

шее укрепление этого консенсуса предполагает ослабление фрагментации политической культуры, что может происходить либо на пути ее унификации, либо в системе «диалектической демократии». Одними из первых шагов в сторону такой демократии являются символическое уравнивание политических крайностей и диалог национальных символов.

Примечания

¹ *Kailitz S.* Die politische Deutungskultur der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel des "Historikerstreits" // Die Gegenwart der Vergangenheit. Der „Historikerstreit“ und die deutsche Geschichtspolitik / S. Kailitz (Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. S. 22.

² Здесь и далее выражения «частичная политическая культура», «политическая субкультура», «социокультурная среда», «социоморальная среда» мы употребляем как синонимы.

³ *Lehnert D., Megerle K.* Identitäts- und Konsensprobleme in einer fragmentierten Gesellschaft — Zur Politischen Kultur in der Weimarer Republik // Politische Kultur in Deutschland: Bilanz und Perspektiven der Forschung / D. Berg-Schlösser, J. Schissler (Hrsg.). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. S. 83.

⁴ *Lepsius M. R.* Parteisystem und Sozialstruktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft // Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte / W. Abel u.a. (Hrsg.). Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1966. S. 389.

⁵ *Ibid.* S. 383.

⁶ *Ibid.* S. 388.

⁷ *Ibid.* S. 389.

⁸ *Hanisch E.* Das Fest in einer fragmentierten politischen Kultur: Der oesterreichische Staatsfeiertag waehrend der Ersten Republik // Politische Teilkulturen zwischen Integration und Polarisierung. Zur politischen Kultur in der Weimarer Republik / D. Lenert, K. Mergel (Hrsg.). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 44.

⁹ *Negt O., Kluge A.* Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972. S. 353.

¹⁰ *Lepsius M. R.* Parteisystem ..., S. 391.

¹¹ *Ibid.* S. 381–382.

¹² *Patrick G.* Political Culture // Social Science Concepts. A Systematical Analysis / G. Sartori (ed.). L.: Sage, 1984. P. 279.

¹³ *Липпман У.* Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. С. 38.

¹⁴ Там же. С. 204.

¹⁵ *Speitkamp W.* 'Erziehung zur Nation'. Reichskunsthauptamt, Kulturpolitik und Identitätsstiftung im Staat von Weimar // Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit 2 / H. Berding (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. S. 567. В постсоветской России

наблюдалась сходная картина. В середине 2000-х годов, по данным социологических опросов, День Конституции признавали значимым для себя лишь около трети россиян. См.: Россияне об отмене праздника Дня Конституции // Левада-Центр. Официальный сайт. 09.12.2005. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2005120900.html> (Дата посещения: 18.05.2014).

¹⁶ Ibid. S. 570.

¹⁷ Аналогичным образом социологические опросы показывали невысокую популярность у россиян официального национального праздника постсоветской России («Дня независимости России», или «Дня России»). Оказалась не совсем удачной и попытка руководства страны ввести новый праздник — «День народного единства» (4 ноября). По данным опроса, проведенного в конце октября 2014 г. Левада-Центром, за последние девять лет доля россиян, знающих о таком празднике, выросла с 8% до 54%. Однако отмечать «День народного единства» намерена, как и прежде, не более чем пятая часть опрошенных. См.: Ноябрьские праздники: знание и готовность отмечать // Левада-Центр. Официальный сайт. 26.12.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/31-10-2014/noyabrskie-prazdniki-znanie-i-gotovnost-otmechat> (Дата посещения: 21.12.2014).

¹⁸ *Speitkamp W.* 'Erziehung zur Nation'..., S. 567.

¹⁹ *Schöpflin G.* Hungary's cold civil war // openDemocracy. 14.11.2006. URL: https://www.opendemocracy.net/democracy-protest/hungary_civil_4093.jsp (Дата посещения: 25.12.2014).

²⁰ *Карбалевиц В.* В Беларуси идет холодная гражданская война // ИА «UDF.BY». 24.11.2011. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://udf.by/news/50661-valeriy-karbalevich-v-belarusi-idet-holodnaya-grazhdanskaya-voyna.html> (Дата посещения: 21.12.2014).

²¹ *Петросян С.* Армения: шесть лет «холодной» гражданской войны // Вестник Кавказа. 2014. 14 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vestikavkaza.ru/articles/Armeniya-shest-let-kholodnoy-grazhdanskoj-voynu.html> (Дата посещения: 23.12.2014).

²² Публицист: в Латвии идет холодная гражданская война // ИА «ГРАНИ. LV». 2013. 20 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.grani.lv/latvia/33413-publicist-v-latvii-idet-holodnaya-grazhdanskaya-voyna.html> (Дата посещения: 24.12.2014).

²³ *Кара-Мурза С.* В России идет холодная гражданская война // ИА «Русские новости». 2013. 28 января. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ru-news.ru/v-rossii-idyot-holodnaya-grazhdanskaya-vojna/> (Дата посещения: 14.04.2015).

²⁴ *Колеров М.* В России идет холодная гражданская война. Интервью Центра координации «Новая Русь» // ИА REX. 2014. 6 октября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.iarex.ru/interviews/51072.html> (Дата посещения: 12.04.2015).

²⁵ *Ирина Прохорова:* «Начинается холодная гражданская война» // Ситибум. Городская онлайн-газета. 2014. 23 марта, [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: <http://www.cityboom.ru/2014/03/23/prokhorova> (Дата посещения: 12.12.2014).

²⁶ *Link J.* Schönhuber in der Nationalelf: Halbrechts, rechtsaußen oder im Abseits? Die politische Kollektivsymbolik der Bundesrepublik und der Durchbruch der neorassistischen Schönhuber-Partei / 2., aktualisierte Auflage. Duisburg: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, 1990. S. 6–7.

²⁷ *Dörner A.* Politischer Mythos und symbolische Politik: Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. S. 295–296.

²⁸ *Link J.* Schönhuber ..., S. 7.

²⁹ *Rosenhaft E.* Gewalt in der Politik: Zum Problem des ‚Sozialen Militarismus‘ // Militär und Militarismus in der Weimarer Republik. Beiträge eines internationalen Symposiums an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg am 5. und 6. Mai 1977 / K.-J. Müller, E. Opitz (Hrsg.). Düsseldorf: Droste, 1978. S. 239.

³⁰ *Link J.* Schönhuber ..., S. 7.

³¹ *Бурдые П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 72.

³² *Dörner A.* Politischer Mythos ..., S. 297.

³³ *Hanisch E.* Das Fest ..., S. 44.

³⁴ *Паин Э. А.* Современный русский национализм в зеркале Рунета // Россия — не Украина: современные акценты национализма. М.: Центр «Сова», 2014. С. 11.

³⁵ *Крупкин П. Л.* Практики культа предков в постсоветской России // Социология религии в обществе Позднего Модерна. Белгород: ИД «Белгород», 2012. С. 166–172.

³⁶ Там же. С. 167.

³⁷ Какие из следующих праздников для Вас самые важные? // Левада-Центр. Официальный сайт. 08.09.2011. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/archive/prazdniki/kakie-iz-sleduyushchikh-prazdnikov-dlya-vas-samye-vazhnyeotvety-ranzhirovaniy> (Дата посещения: 15.04.2015).

³⁸ *Хабермас Ю.* Демократия. Разум. Нравственность. М.: Academia, 1995. С. 229.

³⁹ *Lehnert D., Megerle K.* Identitäts- und Konsensprobleme ..., S. 85.

⁴⁰ *Link J.* Schönhuber ..., S. 9.

⁴¹ Ibid.

⁴² *Fraenkel E.* Deutschland und die westlichen Demokratien. Mit einem Nachw. über Leben u. Werk Ernst Fraenkels / A. Brünneck (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.

Литература

Бурдые П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

Ирина Прохорова: «Начинается холодная гражданская война» // Сити-бум. Городская онлайн-газета. 2014. 23 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.cityboom.ru/2014/03/23/prokhorova> (Дата посещения: 12.12.2014).

Какие из следующих праздников для Вас самые важные? // Левада-Центр. Официальный сайт. 2011. 8 сентября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/archive/prazdniki/kakie-iz-sleduyushchikh-prazdnikov-dlyavas-samyevazhnyetvety-ranzhirovani> (Дата посещения: 15.04.2015).

Кара-Мурза С. В России идет холодная гражданская война // ИА «Русские новости». 2013. 28 января. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ru-news.ru/v-rossii-idyot-holodnaya-grazhdanskaya-vojna/> (Дата посещения: 14.04.2015).

Карбалевиц В. В Беларуси идет холодная гражданская война // ИА «UDF. BY». 2011. 24 ноября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://udf.by/news/50661-valeriy-karbalevich-v-belarusi-idet-holodnaya-grazhdanskaya-vojna.html> (Дата посещения: 21.12.2014).

Колеров М. В России идет холодная гражданская война. Интервью Центра координации «Новая Русь» // ИА REX. 2014. 6 октября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.iarex.ru/interviews/51072.html> (Дата посещения: 12.04.2015).

Крупкин П. Л. Практики культа предков в постсоветской России // Социология религии в обществе Позднего Модерна. Белгород: ИД «Белгород», 2012. С. 166–172.

Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004.

Ноябрьские праздники: знание и готовность отмечать // Левада-Центр. Официальный сайт. 26.12.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/31-10-2014/noyabrskie-prazdniki-znanie-i-gotovnost-otmechat> (Дата посещения: 21.12.2014).

Паин Э. А. Современный русский национализм в зеркале Рунета // Россия — не Украина: современные акценты национализма. М.: Центр «Сова», 2014. С. 8–31.

Петросян С. Армения: шесть лет «холодной» гражданской войны // Вестник Кавказа. 2014. 14 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vestikavkaza.ru/articles/Armeniya-shest-let-kholodnoy-grazhdanskoy-voynu.html> (Дата посещения: 23.12.2014).

Публицист: в Латвии идет холодная гражданская война // ИА «ГРАНИ. LV». 2013. 20 марта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.grani.lv/latvia/33413-publicist-v-latvii-idet-holodnaya-grazhdanskaya-vojna.html> (Дата посещения: 24.12.2014).

Россияне об отмене праздника Дня Конституции // Левада-Центр. Официальный сайт. 09.12.2005. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.levada.ru/press/2005120900.html> (Дата посещения: 18.05.2014).

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Academia, 1995.

Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik: Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. 421 S.

Fraenkel E. Deutschland und die westlichen Demokratien. Mit einem Nachw. über Leben u. Werk Ernst Fraenkels / A. Brünneck (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. 399 S.

Hanisch E. Das Fest in einer fragmentierten politischen Kultur: Der oesterreichische Staatsfeiertag während der Ersten Republik // Politische Teilkulturen zwischen Integration und Polarisierung. Zur politischen Kultur in der Weimarer Republik / D. Lenert, K. Mergle (Hrsg.). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 43–60.

Kailitz S. Die politische Deutungskultur der Bundesrepublik Deutschland im Spiegel des „Historikerstreits“ // Die Gegenwart der Vergangenheit. Der „Historikerstreit“ und die deutsche Geschichtspolitik / S. Kailitz (Hrsg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. S. 14–37.

Lehnert D., Megerle K. Identitäts- und Konsensprobleme in einer fragmentierten Gesellschaft — Zur Politischen Kultur in der Weimarer Republik. — Politische Kultur in Deutschland: Bilanz und Perspektiven der Forschung / D. Berg-Schlosser, J. Schissler (Hrsg.). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. S. 80–97.

Lepsius M. R. Parteisystem und Sozialstruktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft // Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte / W. Abel u.a. (Hrsg.). Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1966. S. 371–393.

Link J. Schönhuber in der Nationalelf: Halbrechts, rechtsaußen oder im Abseits? Die politische Kollektivsymbolik der Bundesrepublik und der Durchbruch der neorassistischen Schönhuber-Partei / 2., aktualisierte Auflage. Duisburg: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, 1990.

Negt O., Kluge A. Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972.

Patrick G. Political Culture // Social Science Concepts. A Systematical Analysis / G. Sartori (ed.). L.: Sage, 1984. P. 265–314.

Rosenhaft E. Gewalt in der Politik: Zum Problem des ‘Sozialen Militarismus’ // Militär und Militarismus in der Weimarer Republik. Beiträge eines internationalen Symposiums an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg am 5. und 6. Mai 1977 / K.-J. Müller, E. Opitz (Hrsg.). Düsseldorf: Droste, 1978. S. 237–259.

Schöpflin G. Hungary’s cold civil war // openDemocracy. 14.11. 2006. URL: https://www.opendemocracy.net/democracy-protest/hungary_civil_4093.jsp (Дата посещения: 25.12.2014).

Speitkamp W. ‘Erziehung zur Nation’. Reichskunstwart, Kulturpolitik und Identitätsstiftung im Staat von Weimar // Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit 2 / H. Berding (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. S. 541–580.

3.4. Современный дискурс политики памяти

Политика памяти, если говорить кратко, представляет собой систему форм и способов использования прошлого в целях управления коллективной исторической памятью народа.

Понятие «политика памяти» впервые было введено в оборот во Франции для обозначения тесной взаимосвязи политики и способов интерпретаций прошлого. Главным теоретиком концепта политики памяти является Пьер Нора — автор многотомного исследования и бестселлера «Места памяти» (1984–1992).

В 1990-е годы во Франции получили также широкое распространение понятия «управление прошлым» и «долг памяти», которые сначала использовались применительно к депортации и геноциду евреев из Франции и других стран Европы во время нацистской оккупации, а затем — по отношению к войне Франции в Алжире в 1954–1962 гг.

В каждой стране существует собственная проблематика политики памяти и своя история сопротивления по отношению к данной политике. Так, в той же Франции сюжет о Сопротивлении постоянно претерпевает историческую деконструкцию. Кроме того, во Франции получила распространение практика правового оформления политики памяти посредством так называемых «законов памяти». К примеру, 13 июля 1990 г. был принят «закон Гайса» (по имени депутата-коммуниста) против расизма, антисемитизма и ксенофобии, предусматривающий наказание за отрицание преступлений против человечества, в частности, речь шла о геноциде в отношении евреев в годы Второй мировой войны. В мае 2001 г. был издан «закон Тобира» (по имени депутата от социалистов), введивший наказание за преступления против человечества, связанные с рабством и работорговлей. В октябре 2006 г. парламент Франции постановил, что отрицание геноцида евреев и армян в 1915 г. влечет юридическую ответственность. В 2011 г. был принят соответствующий закон.

В мае 2007 г. в целях укрепления коллективной памяти о заслугах деятелей Сопротивления тогдашним президентом Франции Н. Саркози был подписан декрет о том, чтобы ежегодно 22 октября во всех школах зачитывалось письмо 17-летнего участника Сопротивления Ги Моке, расстрелянного немецкими солдатами в 1941 г. Данный факт играет воспитательную роль как пример мужества и самоотверженного патриотизма.

«Законы памяти» вызвали противоречивую реакцию со стороны французской общественности. В определенных интеллектуальных кругах их практическая реализация стала рассматриваться как деятельность, противоречащая принципам демократического государства. В 2008 г. общественное объединение «За свободу истории» распространило документ под названием «Воззвание из Блуа», опубликованный Пьером Нора. В воззвании отмечалось: «История не должна становить-

я служашкой политической конъюнктуры... В свободном государстве ни одна политическая сила не вправе присвоить себе право устанавливать историческую истину и ограничивать свободу исследования под угрозой наказания»¹.

В Польше и странах Балтии наряду с термином «политика памяти» утвердился термин «новая историческая политика», автором которого стал Роберт Траба. По словам Траба, главный лозунг новой исторической политики — «патриотизм завтрашнего дня». Его суть — опора на ценности этнического патриотизма.

Сегодня в новых государствах Восточной Европы главной стратегией политики памяти является переосмысление истории Второй мировой войны и советского прошлого с позиции ответственности СССР и России как его преемницы за преступления тоталитарного режима. Широкое распространение получает так называемая «оккупационная риторика» и выявление «советских преступлений против человечества».

В Украине данная стратегия стала активно реализовываться после 2004 г., когда центральное место в национальной политике памяти занял концепт Голодомора. Данная политика была проанализирована в ряде работ российских авторов, которые выделили черты этой политики, характерные как для украинской, так и для всей современной политики памяти, осуществляемой официальными кругами стран Центральной и Восточной Европы. В их числе — пропаганда этнической эксклюзивности, установка на конфронтационное восприятие всего советского, элементы ксенофобии, доминирование идеологических форм над научной аргументацией, акцент на «мученической» судьбе собственной нации, сакрализация национальных страданий, возложение главной ответственности за причиненное зло на внешние факторы (московский коммунизм)².

Конфронтационный дискурс политики памяти получил название «войны памяти»³. Войны памяти сегодня являются неотъемлемым компонентом информационных и идеологических войн. В целом дискурс политики памяти содержит следующие стратегические установки:

- легитимация политического режима посредством новых подходов к пониманию прошлого;
- переинтерпретация исторических событий и фактов в соответствии с официальным политическим курсом государства;
- консолидация общества на основе символов исторического прошлого и конструирования новых символов и мифов в целях укрепления национальной идентичности;

- установление государственного контроля за системой исторического образования и патриотического воспитания;
- противодействие фальсификации истории и выработка активной позиции в «войнах памяти».

К сожалению, вопреки исторической правде сегодня в странах Восточной Европы взрывную реакцию вызывает многое из того, что связано с памятью о Великой Отечественной войне. Яркие тому примеры — памятные истории с «Бронзовым солдатом» в Эстонии, со сносом монумента советским воинам в Ташкенте, уничтожение памятника «Мемориал славы» в Кутаиси. Институциональными инструментами «войн памяти» выступают музеи и мемориалы: открытие музеев советской оккупации в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии.

В процессе изучения работ, посвященных политике памяти, мы сочли возможным выделить следующие базовые стратегии данной политики, используемые в «войнах памяти»: легитимация политического режима посредством новых подходов к пониманию прошлого; реинтерпретация исторических событий и фактов в соответствии с установками официального политического курса; стремление к унификации идеологического разнообразия на основе реинтерпретации символов исторического прошлого и конструирования новых символов, мифов и праздников в целях укрепления национальной идентичности; государственный контроль за системой исторического образования и патриотического воспитания.

Восточно-европейские и украинские официальные конструкторы политики памяти активно используют теорию тоталитаризма для дискредитации всего периода советской истории с целью закрепления в коллективной памяти однозначно негативной оценки всей истории СССР и ее политической символики. Ключевой технологией в данном случае является *технология конструирования «близнецов»*, посредством которой происходит уравнивание по силе бесчеловечности гитлеровского и сталинского режимов путем подведения их под общий знаменатель нравственно и политически осуждаемого тоталитаризма. При этом осуществляется еще одна операция отождествления: сталинизм рассматривается в качестве родового имени всего советского строя и синонима коммунизма.

В итоге под лозунгами осуждения всех разновидностей тоталитаризма восточно-европейскими идеологами политики памяти целенаправленно транслируется агональный дискурс, направленный на формирование, с одной стороны, сугубо отрицательного восприятия всей

политики СССР, включая политику в отношении стран социалистического блока, а с другой — сознательно формируется и закрепляется в коллективной памяти жертвенный образ собственного народа. При этом эмоциональный накал агонального дискурса существенно усиливается путем конструирования *образа двойной жертвы*, поскольку считается, что восточно-европейские страны, народы Прибалтики и Украины являются жертвами оккупации сразу двух страшных тоталитарных режимов — нацистского и коммунистического.

Дискурс двойной исторической жертвы находит свое воплощение в определенных политических инициативах и законодательных актах, закрепляющих в правовом порядке антисоветский и антикоммунистический дискурс, а также учреждающих новые памятные даты, символизирующие переосмысление истории Второй мировой войны и СССР с позиции принципа тождества нацизма и советского строя. Так, к примеру, в апреле 2009 г. по инициативе стран Балтии и Польши Европейский парламент принял «Резолюцию о европейской совести и тоталитаризме», в которой 23 августа (дата подписания известного пакта Молотова—Риббентропа) было объявлено Общеευропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов. Данный день памяти стал трактоваться как дополнение ко дню памяти 27 января⁴.

В том же русле концептуального переосмысления истории Второй мировой войны с использованием приема отождествления национал-социализма и коммунизма как тоталитарных режимов, равно ответственных за военные и иные преступления, работает современное украинское руководство. В марте 2015 г. с одобрения Верховной Рады президент Украины П. А. Порошенко подписал Указ «О мероприятиях празднования в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны», в тексте которого полностью отсутствуют термины «Великая Отечественная война», «Советский Союз», «советские воины», «Красная армия», а ветераны войны, воевавшие в рядах Советской армии, уравниваются по своему вкладу в борьбу с нацизмом с ветеранами «украинского освободительного движения времен Второй мировой войны». Согласно Указу на Украине вводится новый государственный праздник — День памяти и примирения, который следует отмечать 8 мая. Делается это в целях закрепления в массовом сознании формулы «героического равенства» советских ветеранов войны и ветеранов УПА (Украинская повстанческая армия). Кроме того, дата нового праздника призвана символически обозначить интеграцию Украины в Европу, поскольку в Европе

день Победы отмечается именно 8 мая⁵. Официальный Киев данным указом дает сигнал европейским патронам о своем принципиальном размежевании с российской политикой памяти и с теми, кто продолжает придерживаться формулы победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Логическим продолжением Указа Порошенко стал закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», принятый Верховной Радой 9 апреля 2015 г.

Данным законом запрещается пропаганда коммунистического режима и его символики, так как это квалифицируется как надругательство над памятью миллионов жертв, понесенных украинским народом в результате сталинской политики.

Согласно закону пропагандой коммунистического тоталитарного режима считается:

- публичное отрицание преступного характера данного режима;
- распространение информации, оправдывающей преступный характер коммунистического режима, деятельности советских органов госбезопасности, борьбы против сражавшихся за независимость Украины в XX в.;
- производство, распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима.

Под символикой коммунистического режима подразумевается какое-либо изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР и других советских республик, а также стран «народной демократии» (ГДР, Чехословацкой социалистической республики и др.). Исключение составляют только те флаги и гербы, которые являются действующими до сих пор. Под запрет попадают символы, соединяющие серп и молот; серп, молот и пятиконечную звезду; плуг, молот и пятиконечную звезду. Запрещены памятные знаки, посвященные руководителям коммунистической партии и сотрудникам советских органов госбезопасности. Также должны быть демонтированы памятники, посвященные коммунистическим деятелям и знаменательным событиям коммунистической партии, кроме изгнания фашистских оккупантов из Украины⁶. В пояснительной записке к проекту закона «О дне памяти и примирения», написанной группой депутатов Верховной Рады, давалась следующая переработанная в новом концептуальном ключе версия значения Дня Победы для Украины: «Вторая мировая война, которую развязали два преступных тоталитарных режима, стала наибольшей трагедией человечества в XX веке... К сожалению,

капитуляция 8 мая 1945 года нацистской Германии не положила конец жертвам украинцев от тоталитарных режимов. В 1945 году на территории Украины имела место победа одного тоталитарного режима над другим, но не победа Украины... Для украинцев вторая мировая война началась в 1939 году с оккупации независимой Карпатской Украины и продолжалась до середины 1950-х годов, пока подполье оказывало сопротивление советскому режиму. Поэтому трактовка второй мировой войны как “Великой Отечественной”, как и празднование 9 мая как дня победы, для украинцев некорректна и является рудиментом идеологических штампов»⁷.

Курс на декоммунизацию в рамках современной украинской политики памяти в значительной степени является идеологическим заимствованием у европейских соседей. В ряде стран Центральной и Восточной Европы в 2000-е годы были приняты законы, запрещающие коммунистическую пропаганду и использование коммунистической символики. Например, Венгрия в 2000 г. внесла в Уголовный кодекс уголовное наказание за использование как фашистской, так и коммунистической символики (серп и молот, красная звезда). Впоследствии, в 2008 г., рассматривая дело «Важной против Венгрии»⁸, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Венгрию за нарушение свободы выражения мнения в связи с применением уголовного наказания к одному члену партии за прикрепление к одежде коммунистического символа во время публичной демонстрации.

В апреле 2013 г. венгерский парламент проголосовал за новую редакцию закона, осуждавшего тоталитарные режимы, с тем чтобы привести его в соответствие с замечаниями, на которые указал ЕСПЧ.

В 2010 г. Литва ввела уголовные санкции за публичную поддержку, отрицание или значительное умаление международных преступлений, а также преступлений, совершенных Советским Союзом или нацистской Германией против Литовской Республики или ее жителей. Сейчас законодательство запрещает использование коммунистических и советских символов, за исключением памятных манифестаций.

В Молдавии с 1 октября 2012 г. вступил в силу закон, который запрещает использование в стране в политических целях коммунистической символики. Согласно принятым молдавским парламентом поправкам в закон о партиях и в Кодекс о правонарушениях за использование символа «серп и молот» в политических целях партиям и иным юридическим, а также физическим лицам грозит штраф. В том случае, если политические партии не исполнят требование о запрете спустя две недели после штрафа, их деятельность может быть запрещена.

Конституционный суд Республики Молдова обратился к Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) за правовой оценкой этих ограничений.

В итоге «Венецианская комиссия» признала введенный властями Молдавии запрет на использование коммунистической символики противоречащим Европейской конвенции по правам человека.

«Венецианская комиссия» сообщила, что запрет коммунистических символов на территории Молдавии противоречит сразу нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека (ст. 10 и 11), касающимся свободы выражения мнения и свободы собраний и объединений. Комиссия Совета Европы за демократию через право также отметила, что серп и молот не могут рассматриваться исключительно в качестве символа коммунистического тоталитарного режима. По ее мнению, не прослеживается связь между существовавшей в прошлом тоталитарной коммунистической идеологией и символами серпа и молота, которые Партия коммунистов Молдовы использует с 1994 г.

Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) участвовала с этой символикой во всех парламентских, президентских и местных выборах, и сейчас является крупнейшей оппозиционной партией, представленной в парламенте и не планирующей насильственно свергнуть демократический конституционный порядок. Венецианская комиссия полагает, что лишение кандидатов от коммунистов права участвовать в выборах под своим символом является посягательством на свободу ассоциации с партией, а запрет символики ПКРМ может привести к тому, что партия прекратит свое существование.

Комиссия не видит реальной или возможной угрозы восстановления в Молдавии коммунистической диктатуры и поэтому считает, что «запрет символики в качестве превентивной меры по защите демократии не может рассматриваться как насущная социальная потребность». В заключении комиссии говорится, что закон о запрете коммунистической символики «следует признать неконституционным и отменить, поскольку в противном случае Молдавии не избежать очередного проигранного дела в Европейском суде по правам человека»⁹.

В итоге Конституционный суд Республики Молдова принял Постановление № 12 от 04.06.2013 г. «О контроле конституционности некоторых положений, касающихся запрещения коммунистической символики и пропаганды тоталитарных идеологий (Обращение № 33а/2012)», которым фактически признал неконституционным запрет коммунистической символики в Молдове.

В современной Европе, считают эксперты в области политики памяти¹⁰, назревает опасный идейный раскол между теми, кто чтит память о жертвах Холокоста, и теми, для которых первоочередное значение имеет память о жертвах коммунизма. Исследователи приходят к выводу, что пока в Европе нет общей политики памяти в отношении феномена и уроков Второй мировой войны. Наблюдается асинхронность и противоречивость исторической памяти. К сожалению, многие в Европе приветствуют общий день памяти жертв национал-социализма и коммунизма. В то же время значительная часть европейцев задается вопросами: приемлемо ли в один и тот же день помянуть жертв разных преступлений; можно ли считать советский режим столь же преступным и ответственным за развязывание Второй мировой войны, как режим нацистской Германии, если именно Красная армия внесла решающий вклад в победу над фашистской Германией?

Проблема актуализации стратегий политики памяти сегодня поднята на уровень государственной политики России. Предпринимаются своевременные усилия по созданию линейки учебников истории для средней школы, которые могли бы способствовать выработке общественного консенсуса в области интерпретаций противоречивых фактов и событий прошлого, став тем самым идейным базисом для укрепления национально-государственного единства страны. Создание нового учебника истории вызывает активный общественный интерес, в отечественных научных и политических кругах ведутся острые дискуссии по проблемам интерпретации истории России различных периодов.

Очевидно, что острота внимания к «спорным» (или малоизвестным) вопросам современной истории возникла не на пустом месте и носит отнюдь не только академический интерес¹¹. Крупнейшая геополитическая катастрофа современности (как бы мы к ней ни относились) — разрушение СССР — повлекла за собой целую лавину развалов и разрушений, которые инициаторы беловежского соглашения вряд ли могли предположить.

К сожалению, «в конце XX в. Россия вновь оказалась страной зависимого развития (катастрофически нарастающие долги западным банковским корпорациям, продовольственная помощь и т.п.)»¹² с криминальной олигархической экономикой и многократно ослабленным научно-образовательным потенциалом страны.

Существенным элементом сформировавшегося в первые постсоветские годы идеологического ландшафта стали следующие установки сложившейся в 1990-е годы политики памяти.

Прежде всего — отказ от объективной интерпретации существа и последствий Октябрьской революции. Особого внимания удостоился основатель Советского государства В. И. Ленин, мавзолеем которого вот уже несколько лет стыдливо заколачивается фанерой во время праздничных торжеств. В этом же контексте следует упомянуть вычеркивание из праздничного календаря дня 7 ноября. Можно только догадываться, какая реакция последовала бы со стороны общества, например, во Франции при попытке вычеркнуть из истории 14 июля.

Далее — это дискредитация всего наследия советского периода отечественной истории — социального государства, социальной политики, достижений советской науки и искусства, политики мирного сосуществования, интернациональной поддержки рабочего и национально-освободительного движения и т.п.

Наконец, логика радикально-негативного переосмысления советской истории не могла не привести к закономерному итогу — отождествлению гитлеровского национал-социализма и большевизма (или сталинского коммунизма). В частности, печальным свидетельством результатов этих систематических усилий стали слова известного физика о том, что «еще более определенным последствием Октябрьской революции, особенно порожденного ею сталинского режима, стал приход Гитлера к власти, Вторая мировая война»¹³ (!).

Наряду с односторонне интерпретированной подачей секретных протоколов к пакту «Молотова—Риббентропа» (1939) подобный подход открыл дорогу к тезису о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. В этой связи не стоит удивляться, что во многих странах Центральной и Восточной Европы возобладала именно такая трактовка европейской истории середины XX века.

Все более очевидным сегодня становится политический смысл перекройки исторической памяти. То, что происходит сейчас с историей Великой Отечественной войны — спекуляции относительно «советской агрессии против Украины и Германии», «освобождения Освенцима украинскими солдатами» и «нецелесообразности празднования Дня Победы над фашизмом в Москве», — есть не что иное, как новые признаки реформирования сложившегося после Второй мировой войны мирового порядка и формирования образа врага из современной России¹⁴.

В условиях углубления международного конфликта, связанного с кризисом на Украине, политика памяти становится чрезвычайно значимым инструментом современной информационной войны. В ход

идут такие технологии, как героизация нацистских преступников; ревизия оценок ключевых событий и итогов Второй мировой войны, вытеснение из коллективной памяти жестокостей Холокоста путем целенаправленного снижения градуса эмоционального восприятия вещественных и документальных доказательств геноцида еврейского народа; снижение значимости тех исторических событий, которые выступают общими символами для идейных и политических противников, и др.

В ответ на попытки возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на советский коммунистический режим участникам современных «войн памяти» следовало бы напомнить многочисленные свидетельства об экономической, военной и политической поддержке нацистского режима в Германии со стороны западного капитала. Общеизвестно, что во время Нюрнбергского процесса бывший президент Имперского банка Я. Шахт в беседе с американским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс». Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания *ITT*. Не остановил производство во Франции после оккупации ее немцами автогигант «Форд», при этом особое покровительство деятельности «Форда» в Европе оказывал лично Герман Геринг, возглавлявший промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». О чем говорить, если даже далекая от военных дел компания «Кока-кола» наладила в Германии производство напитка «Фанта»! Война не помешала компании «Стандарт ойл» заключить через британских посредников контракт с германским химическим концерном «И. Г. Фарбенидустри» на производство авиационного бензина в Германии. За время Второй мировой войны ни один танкер «Стандарт ойл» не был потоплен немецкими подводными лодками¹⁵. С нацистами сотрудничали также фирмы IBM, Random House, Kodak, Hugo Boss, General Elektrik (GE) и другие.

Нельзя забывать также стремление Запада использовать разбитые части вермахта для возможной войны с СССР, использование части немецкого генералитета для создания Бундесвера и оживления послевоенного германского реваншизма, одностороннего провозглашения ФРГ, до сих пор окутанного подозрительной секретностью¹⁶.

Многие политики Евросоюза упорно не желают замечать не просто героизации позорных страниц истории сотрудничества ряда правительств восточно-европейских стран с гитлеровским фашизмом в период Второй мировой войны, но и современных попыток возрождения нацизма. Всего один пример: так называемые «луковские марши» неонацистов в Болгарии 2003 г. регулярно проводятся в февральские дни при поддержке более десятка национальных организаций¹⁷. Эти акции осуждаются в официальных заявлениях дипломатических ведомств России и даже США, и от этих маршей в 2014 г. болгарское правительство впервые стыдливо открестилось, официально запретив их.

Мнение ряда западных теоретиков политики памяти о том, что в настоящее время сложились наиболее благоприятные условия для переписывания истории Второй мировой войны, объясняется рядом причин, в том числе и отмеченной выше крайне недалёковидной политикой отечественной бюрократии эпохи 1990-х годов. Поэтому эффективная защита Россией своих национальных интересов, о которой неоднократно говорил Президент РФ В. В. Путин, является насущной задачей государственного строительства.

Примечания

¹ См.: *Шерпер Ютта*. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et Contra. 2009. Т. 13. № 3–4 (46). С. 107.

² *Касьянов Г.* «Национализация» истории в Украине // Историческая политика в XXI веке: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 217–255.

³ *Бордюгов Г. А.* «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Предисловие Алана Касаева. М.: АИРО-XXI, 2011.

⁴ В 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Израиля решила объявить 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, связанным с днем освобождения узников Освенцима. В Германии этот день с 1996 г. объявлен национальным днем памяти жертв национал-социализма.

⁵ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.president.gov.ua/documents/19104.html> (Дата обращения: 09.04.2015).

⁶ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://4vlada.net/politika/budvnimatelnym-chto-zapreshchaet-zakon-ob-osuzhdenii-kommunisticheskogo-i-natsistskogo-rez> (Дата обращения: 16.04.2015).

⁷ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://yug.svpressa.ru/society/article/117738/?mrat=1> (Дата обращения: 16.04.2015).

⁸ Заявитель на тот момент являлся заместителем председателя Рабочей партии Венгрии и был осужден за ношение красной звезды на одежде.

⁹ CDL-AD(2013)004. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282013%29004-e> (Дата обращения: 16.04.2015).

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛЬНОСТЬ В РАКУРСЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

¹⁰ *Эгберт Ян*. Спорные политические вопросы с точки зрения современной истории / Пер. с нем. М.А. Елизарьевой. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 50–53.

¹¹ В контексте политики памяти крайне спорными выглядят часто озвучиваемые тезисы о том, что «историю надо оставить историкам». В свою очередь историкам «следует задать и другой вопрос. Понимают ли они, чем закончится для Украины и России преобладание западной украинистики (особенно «модерновой») в той области, которую именуют сейчас «политикой исторической памяти»? Суть «политики исторической памяти» — в «мягком» (по технологии *softpower*) внедрении в историческое знание и в системы образования представлений о роли «украинской нации» в строительстве Российской империи и СССР, в отрицании культурно-исторического единства народов русского геополитического пространства, в «дисквалификации» общерусского наследия, русского языка, русской культуры. Главная ставка в этой «большой игре» на поле «изменения сознания» десятков миллионов людей сделана на «европеизацию азиатской России». Российская Федерация представлена страной с «неопределенной» ролью по отношению к своему же наследию и «неопределенным» местом в Русском мире // Виктор Бегер. О пахарях на «поле истории». Каждая страна имеет право на «национализацию» своей истории? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=19857> (Дата обращения: 17.02.2015).

¹² *Данилов В. П.* Возникновение и падение советского общества: социальные истоки, социальные последствия // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. С. 88.

¹³ *Гольданский В.* Эпитафия XX веку // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М.: Наука, 2000. С. 66.

¹⁴ *Селиванов Ю.* Европейский союз Адольфа Гитлера. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://politikus.ru/articles/42267-evropeyskiy-soyuz-adolfa-gitlera.html>.

¹⁵ См. об этом: Как американские корпорации помогали Гитлеру. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://infoglaz.ru/?p=22965>.

¹⁶ См.: *Gerd-Helmut Komossa*. Die deutsche karte. Das verdeckte Spiel der geheimen Dienste. Ares-Verlag, Graz 2007. URL: <http://svpressa.ru/world/article/102180/> (Дата обращения 14.02.2015).

¹⁷ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.voininatangra.org/modules/news/article.php?storyid=540>.

4

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

4.1. Мировоззренческое кредо инновационной модернизации социума

Сегодня общественно-политическая мысль все чаще обращается к тематике гуманизма. Объясняется это не только крупными научными достижениями в археологии, палеонтологии, генетике, астрономии, побуждающими думающих людей переосмысливать казавшиеся незыблемыми представления о происхождении человека, его месте и роли в окружающем мире, об эволюции и перспективах человеческой цивилизации¹. Интерес к потенциальным ресурсам гуманизма в не меньшей мере вызван крутыми переменами в жизнедеятельности глобального социума, обусловленными наметившимся переходом человеческой цивилизации к инновационному типу развития (ИТР). Возникает острая потребность в идейном осмыслении сути и последствий начавшейся великой трансформации человеческой цивилизации, которая по праву может быть названа «социетальной революцией» или «большим переформатированием социума». Не удивительно, что эти перемены оказывают шоковое воздействие на устоявшиеся стереотипы общественного сознания. Когда-то Гегель определил философию как «эпоху, постигнутую в мышлении»². Эпоха «большого переформатирования» остро нуждается в своей, гуманистической философии — мировоззренческой основе инновационной модернизации социума.

Инновационный тип развития

Что представляет собой инновационный тип развития в сравнении с уже известными формами общественного прогресса? ИТР означает качественный перелом в производительных силах общества: их

главным двигателем становится живое творчество разума, черпающее энергию в аккумулированных наукой знаниях, в волевых усилиях осмысленного целеполагания. Конечно, и раньше человеческий разум одухотворял вещественные компоненты производительных сил. Но масштабы воздействия были крайне ограничены в силу того, что материальные факторы деятельности человека имели гигантский перевес над факторами духовными. «Живое творчество» человеческого разума и воли было скованно цепями жесткой зависимости (вплоть до физического выживания) от природной среды, от материальных предметов и орудий труда.

По сути, вся предыстория человечества есть время мучительного высвобождения *homo sapiens* из природного пленения, сдерживавшего раскрытие и развитие креативного потенциала человека и человечества и тем самым одновременно побуждавшего двигаться в этом направлении. Выдающиеся мыслители прошлого, особенно в XIX–XX вв., предвидели, что на этом пути предстоит перейти Рубикон, за которым человеческая цивилизация окажется в принципиально иной ситуации.

В Экономических рукописях 1857–1859 гг. Карл Маркс писал, что с развитием крупной промышленности «*непосредственный труд* как таковой перестает быть базисом производства» и «превращается главным образом в деятельность по наблюдению и регулированию», а «в качестве производителя выступает скорее комбинация общественной деятельности»³. В итоге этого процесса, означающего «подчинение сил природы общественному разуму», мерой богатства будет отнюдь не рабочее время, а свободное время, необходимое для «полного развития индивида, которое само в свою очередь, как величайшая производительная сила, обратно воздействует на производительную силу труда»⁴. В этом развитии К. Маркс усматривал показатель того, «до какой степени условия самого общественного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего интеллекта»⁵.

Не равнозначна ли перспектива, на которую указывал основоположник марксизма, с открывшейся ныне перспективой инновационного типа общественного развития? И не тот же ли самый смысл регулирующего воздействия человеческого разума на среду обитания социума лежит в основе провидческой идеи В. И. Вернадского о становлении ноосферы? Во всяком случае, очевидно, что социум выходит сегодня на более продвинутый и еще не вполне им осознанный рубеж креативности в сотворении и регулировании среды обитания. Сквозь туманную дымку грядущего все явственней проступают контуры гуманистической цивилизации более высокого порядка.

Поворота такого масштаба еще не было в истории человечества. Разве что само появление на земле *homo sapiens*, для чего потребовались сотни тысяч лет. Сейчас же историческое время сжато, спрессовано. Никто не ведает, преодолет ли человечество этап «большого переформатирования» или будет отброшено вспять. Выбор не predetermined. Перспективе рождения ноосферы, прозорливо предупреждал известный политолог Г. Шахназаров, угрожает альтернатива одичавшей «зоосферы». На это указывают тревожные тенденции дегуманизации общества: неспособность отказаться от национально-государственного эгоизма в мировой политике, экспансия «второсортной культуры», коммерциализация «производства и распространения духовных ценностей», чреватая необратимым снижением уровня интеллекта. «И в этом отношении — отмечал ученый, — мы не приближаемся, а отдаляемся от вождельной ноосферы»⁶.

Причина коллизии и скрывающейся за нею мрачной угрозы регресса цивилизации — в несоответствии ныне существующих форм общественного устройства требованиям ИТР. Инновационное развитие требует максимального раскрытия потенциала креативности человека и социума. ИТР нуждается в многомерном человеке разносторонних знаний, человеке-созидателе, свободно мыслящем и действующем в сети солидарных связей с другими людьми, ответственными за общие дела и поступки. Между тем сложившиеся механизмы освоения новых возможностей нацелены преимущественно на то, чтобы втиснуть как субъектов общественной жизни, так и плоды их деятельности в прокрустово ложе исторически изживших себя форм социального взаимодействия. Из-за этого в социуме доминируют процессы дегуманизации, обедняющие творческий потенциал человека.

Дегуманизация социума

Пагубная тенденция к дегуманизации в развитом индустриальном обществе подвергалась критике еще философами франкфуртской школы. Один из ее представителей, кумир леворадикальной молодежи 1960-х годов Г. Маркузе в книге «Одномерный человек» показал, что культивируемый в индустриальном обществе потребительский образ жизни «восстает против качественного изменения. В итоге возникает *форма одномерной мысли и поведения*, в которых идеи, стремления и цели, выходящие по содержанию за пределы установленного порядка рассуждений и действий, либо изгоняются, либо сводятся к условиям того же самого порядка»⁷.

С помощью рекламы и других средств манипулирования сознанием людям навязывается неумная жажда обладания и потребления нескончаемого потока поступающих на рынок товаров. Страсть к приобретательству становится своего рода «биологической» потребностью, определяющей круг интересов и кругозор человека. Тотальная зависимость от рынка порождает равнодушие к духовным ценностям и политический конформизм. «Репрессивные потребности», насаждаемые индустриально-потребительской системой, «представляют собой, таким образом, в высшей степени стабилизирующие, консервативные потребности: контрреволюция бросает якорь в самой структуре инстинктов»⁸.

На дегуманизацию общества путем растворения индивидуальностей в безликой массе усредненных посредственностей обращал внимание и видный социальный философ Хосе Ортега-и Гассет. Он видел в этом трагедию человека, который не поспекает за быстрыми темпами развития своей цивилизации. Испанский мыслитель сетовал, что о новой концепции существования человека, которая могла бы стать ответом на опасный вызов, говорят лишь «вскользь и вполголоса», и предсказывал, что об этом «скоро, быть может, придется кричать»⁹.

Время не заставило себя ждать. Начиная с 1980-х годов в ведущих западных странах возобладал неолиберальный курс социально-экономического развития, который сопровождается безудержным культом рынка, стремлением редуцировать ценности общественной жизни к экономической эффективности и коммерческой выгоде, аннигилировать само понятие общего блага. По словам американского историка Тони Джадта, это привело к «коррозии публичного пространства» и в конечном счете к правовому произволу, к подмене гуманистических норм права «законами джунглей». «...Мы, — пишет он, — утрачиваем понимание того, что общие интересы и общие потребности должны быть выше частных предпочтений и индивидуальной выгоды. А раз мы перестанем считать публичное выше частного, у нас со временем возникнут затруднения в поисках ответа на вопрос, почему это мы должны признавать верховенство закона (преимущественно публичное благо) над силой»¹⁰.

Узкопрагматические установки рыночного фундаментализма, о которых пишет американский историк, закрывают саму возможность сознательного регулирования социума с гуманистических позиций. Напротив, они толкают к дегуманизации как в масштабах отдельных стран, так и на глобальном уровне.

Дегуманизация общественных отношений угрожает содержанию и демократическим целям российской реформации. В постперестро-

ечный период Россия движется по вязкой колее обесчеловеченного прагматизма всеобщей коммерциализации. Человек, не замкнутый на мотивацию выгоды, по логике доморощенных рыночных фундаменталистов превращается в тяжкое «обременение» экономики, подрывающее ее эффективность.

Чем объясняется дегуманизация в нынешней России? Исторически алгоритм развития российской политической культуры — конфронтация (расколы, противостояния, идеологическая нетерпимость). В XX в. России суждено было пройти все «круги ада»: кровь, ненависть, насилие, страх (три революции, жестокая гражданская война — брат на брата, две мировые войны с многомиллионными человеческими потерями, большой террор и ГУЛАГ). Ранящие тернии пройденного пути запечатлелись в исторической памяти народа, вошли в социальный генетический код российского общества.

Вектор, заданный «лихими 1990-ми», начиная с авторитарного правления и кончая избыточным социальным неравенством и глубоким расслоением общества, также противоречит сути гуманистического обновления, ведет к разрушению гуманитарной среды. Дегуманизация проявляется в самых разнообразных формах: флюсы «рентной экономики», деградация целых отраслей производства и регионов страны, вопиющее социальное неравенство, культ достигнутого любой ценой материального успеха, всепроникающая коррупция и произвол бюрократии, подрыв трудовой этики, разрушение систем образования и здравоохранения, падение морали, ожесточение межчеловеческих отношений, духовное опустошение.

Тотальная коммерциализация под предлогом эффективности производства и управления выхолащивает из общественной жизни гуманистическую составляющую. Идеалы, благородные устремления, вообще одухотворенность как высшая ценность человеческой культуры улетучиваются из социума; подрываются устои человечности. В общественной жизни превалирует тенденция к тому, чтобы все отношения между людьми «загнать» в гипертрофированный рынок, которому нет противовесов. Гуманистические мотивы в социальном поведении людей оцениваются как проявление патернализма и иждивенчества. Творческий индивид в такой обстановке задыхается. Нормативы общественного поведения кроются правящей элитой по лекалам индивидуальной и групповой выгоды для богатых и сильных.

Дегуманизация общественной жизни блокирует инновационную модернизацию российского общества. В глобализирующемся мире Россия поставлена перед выбором: перейти к инновационному типу

развития или оказаться на задворках мирового социума. Правящая элита оказывается в противоречивом положении. С одной стороны, она и хотела бы включиться в мейнстрим инновационной модернизации; с другой стороны, опасаясь за монополию на власть, противодействует ее главной составляющей — раскрепощению и свободному развитию человеческого и социального капитала.

Ростки нового гуманизма

В условиях нарастающих угроз дегуманизации, преграждающей дорогу инновационной модернизации, творчески мыслящая среда общества обязана взять на себя ответственность за защиту культуры и нравственности, за сохранение гуманитарной среды, за развертывание по всем городам и весям просветительской деятельности, ориентированной на очеловечение социума. Общество стоит перед дилеммой: или удастся переломить ситуацию в русле инновационной модернизации; или нам угрожает деградация на периферии глобального мира, и, перефразируя Е. Замятина, нам придется сказать: у российской культуры нет иного будущего, кроме ее прошлого. Именно в этом контексте возрождение и развитие нового гуманизма приобретает большой исторический смысл.

По контрастности и драматизму противоборства сил разума и невежества XXI в. в чем-то очень напоминает XV–XVI вв. европейской истории. В обоих случаях луч знаний высвечивает людям возможность нормальных гуманистических отношений в социуме. И одновременно наблюдается мощный всплеск антигуманных акций, попирающих человеческое достоинство. И здесь, и там общество переживает полосу турбулентной тряски, которая вносит в жизнь людей хаос неустойчивости и неопределенности, сопряженный с бедствиями и ожесточением. В обоих случаях назревает время для больших социальных перемен.

В XV–XVI вв. надвигалась эра буржуазных революций, открывших эпоху индустриального общества. В XXI в. мерцают зарницы эры «инновационной модернизации», которая открывает принципиально новую эпоху «постиндустриального» информационного общества. Такие времена отличаются множеством возможностей и противостоянием альтернатив.

На заре эпохи индустриализма, когда в нарождавшихся капиталистических отношениях обнаружились антигуманные коннотации, возникло мощное течение просветительского гуманизма. Гуманистическое мировоззрение пронизало атмосферу европейского общества,

стало противовесом жестоким тенденциям беспощадного угнетения, которые нес с собой «манчестерский капитализм» — символ бесчеловечности. Тогдашний гуманизм был по-детски наивным, полагался на безграничную мощь разума, рассчитывал, что одной силой убеждения можно утвердить в социальных отношениях полную гармонию и всеобщую справедливость. Но при всех слабостях гуманистическое движение эпохи Возрождения сыграло великую роль в нейтрализации самых отвратительных черт нарождавшегося капитализма, заложило идейно-нравственные предпосылки развернувшейся впоследствии борьбы за гуманизацию капиталистического общества.

Начавшееся ныне глобальное переформатирование общества создает острую потребность в новом гуманизме. Конечно, он не может быть простой копией гуманизма прошлого. Мы знаем, что полная гармония в социуме недостижима, что мир по своей природе антиномичен, и надо уметь жить с противоречиями и конфликтами, обладать культурой толерантности, овладевать искусством сохранения единства человеческой сущности в растущем многообразии проявлений ее креативности. Если гуманисты XV–XVI вв. заложили идейные основы освобождения личности, востребованной рождением индустриального общества, то миссия нового гуманизма шире и сложнее. Она — в установлении более высоких стандартов свободы и креативности человека и социума, которые позволили бы решить назревшие задачи перехода цивилизации к ИТР.

Новый гуманизм требует переосмысления фундаментальных основ политики под углом зрения ее соотношения с моралью. Вместо противопоставления политической *этики ответственности* нравственной *этике убеждения* должна быть найдена формула их оптимального сопряжения в рамках единого гуманистического алгоритма. Пока на рубеже двух тысячелетий видны лишь не всегда ясные проблески зарождающейся модели гуманистической политики. Они проявляются в сетевых социальных движениях (ССД), нацеленных на достижение более высокой гуманности в отношениях между людьми. По мнению испанского социолога М. Кагельса, эти движения преследуют цель «изменения ценностей общества» и поэтому при существующей модели политики выглядят неадекватными, непрактичными, не могут реализовать свой протестный потенциал. Для их успеха необходима «трансформация властных отношений, которая стартует в сознании народов и получает развитие в форме сетей, создаваемых проектами новых акторов, выдвигающихся на роль субъектов вновь творимой истории»¹¹.

Иначе говоря, капитальная трансформация социума, направление которой пунктирно намечено практикой ССД, потребует целой исторической эпохи продвижения по «неизведанной дороге создания новых форм общения», выработки «фундаментальной культурной матрицы современных обществ», освоения новых ценностей и смыслов общественной жизнедеятельности, «поиска нового социального контракта»¹².

Слабости ССД по критериям нынешней модели политики (отсутствие единой политической программы, общепризнанных лидеров, приоритет горизонтальных связей над вертикальными) оборачиваются преимуществами в перспективе поиска гуманистической модели политики. Горизонталь, опирающаяся на электронные технологии коммуникации, разрушает лимиты участия граждан в политике, неизбежно возникающие в любой вертикальной иерархии власти. Сетевые связи ведут к изменению конфигурации властного поля, закладывая предпосылки для преодоления извечного отчуждения власти от общества, фатального доминирования в политике наиболее сильных групп частных интересов.

Пока еще слабые ростки новых тенденций в политике наталкиваются на мощное сопротивление закостеневших структур идеологического восприятия действительности. Люди не могут воспринимать объективные параметры своего бытия и происходящие в нем перемены независимо от того, какое положение они занимают в социуме и соответственно в чем видят смысл и цели своей деятельности. В этом причина существования идеологии — системы идей и воззрений, выражающих интересы различных сообществ, социальных классов и групп, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу.

Идеологический плюрализм и государство

Современный социум чрезвычайно многообразен и многолик по самым различным признакам — начиная с географических и национально-этнических особенностей и кончая экономическими, культурными, политическими условиями. Глобализация мира, спрессовывая социум во взаимосвязанную целостность, не только не уменьшает, но даже увеличивает это многообразие. Это не может не приводить к своеобразию общественного положения различных человеческих групп, классов и сообществ, а значит, и к специфике восприятия ими мира. Вследствие этих обстоятельств, характеризуя состояние обществен-

ного сознания в социуме, необходимо учитывать широкий диапазон идеологических различий.

Плюрализм проявляется не только в классических идеологиях — таких как либерализм, консерватизм, социализм или национализм. Понятно, что в этих идеологических концепциях аккумулирован опыт больших общественных движений, заложивших основу исторических традиций, которые находят отклик у последующих поколений. Но плюрализм проявляется и в воззрениях небольших групп, сообществ и отдельных личностей, социальный опыт которых выходит за рамки существующих идеологических течений и абсорбируется в каких-то особых представлениях или понятиях.

Итак, идеологический плюрализм — это данность, порожденная многообразием социума. Однако эта данность вступает в противоречие с другой тенденцией развития современного мира — стремлением к консолидации и даже к унификации. Тенденция эта наглядно проявляется в деятельности государства — политического института, который сплавливает и представляет исторически сложившиеся суверенные национальные и национально-гражданские общности. Трудно переоценить значение идеологических и духовно-ценностных скреп в консолидирующей деятельности государства — важнейшей части государственной политики.

На этой почве у сторонников чрезмерного вмешательства государства в сферу идеологии возникает искушение редуцировать идеологический плюрализм и упаковать идеологию общества в универсальную оболочку. Исторический опыт побуждает осторожно относиться к строительству единой государственной идеологии, которое несет в себе не меньшие риски, нежели «безбрежный идеологический плюрализм». Нельзя забывать и о факте, что «единая идеология» — один из атрибутов авторитарных обществ.

Исследуя истоки тоталитаризма, немецкий социальный мыслитель Ханна Арендт указывала на три авторитарных свойства всякого идеологического мышления: 1) склонность объяснять не то, что есть, а то, что нарождается или отмирает (логика истории); 2) освобождение тотальной мысли от опыта и реальности; 3) абсолютизация дедукции как логической процедуры для аргументации и доказательства. «Самообудывающую силу абсолютной логичности пускают в ход, чтобы никто никогда даже не начал по-настоящему мыслить, ибо мышление как самый свободный и чистый вид человеческой деятельности есть прямая противоположность автоматически-принудительному процессу дедукции». Поэтому демократическое понимание идеологии, писала

А. Арендт, предполагает «свободу в качестве политической реальности», которая «тождественна существованию некоторого пространства между людьми для их самочинного движения»¹³.

Общественно-политическую реальность во всей ее сложности и полноте люди не могут воспринять через свой собственный неизбежно ограниченный опыт. Из-за этого и возникает потребность в идеологических концепциях, сублимирующих многообразие социального опыта социума. Но этот опыт не должен быть воспринят на веру как совокупность догматов, которым надо слепо следовать, он должен быть пропущен через «самочинный» опыт, осмыслен на базе собственного опыта. Иначе идеология превращается в орудие авторитарного правления обществом.

Это относится и к государственной идеологии советского периода российской истории. Граничившее с религиозным фанатизмом навязывание обществу в качестве официальной государственной доктрины упрощенной версии марксизма-ленинизма нанесло ущерб духовным ценностям и духовному развитию российского социума. Извлекая уроки из этого опыта, Конституция РФ наложила вето на создание государственной идеологии. «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», — сказано в части 2 ст. 13 Конституции¹⁴.

Тем не менее ряд тенденций в функционировании и развитии политической системы России служит источником запроса на государственную идеологию. Бытует мнение, что она способна нейтрализовать негативные последствия для единства общества глубокого социального расслоения, которое произошло в ходе российской реформации. Но доминирование государства в духовной сфере может привести также к унификации идеологии, обеднению ее палитры.

Между государственной политикой в духовной сфере и «идеологическим плюрализмом» возможны противоречия. Всякое государство (даже самое демократическое), выполняя функцию политической консолидации общества, ограничивает идеологический плюрализм, поэтому идеологию не следует отдавать исключительно на откуп государству. Демократическая практика разработала инструментарий сдержек и противовесов, используемый организациями гражданского общества, социальными движениями и политическими партиями в целях защиты интересов представляемых ими слоев населения. Для выполнения этой роли они используют различные идеи, аккумулирующие интересы и опыт разных общественных групп. Эти идеи являются идейно-теоретическим обоснованием соответствующих программ по-

литических действий. С этой точки зрения единая идеология могла бы возникнуть в таком обществе, в котором базовые интересы и ценности разделяются, по крайней мере, большинством населения.

В современной России при демократическом векторе развития единая идеология вряд ли возможна. Трансформирующееся общество при нынешнем уровне социального неравенства расколото. Оно расколото и по восприятию реальности — больше трети россиян считают неоправданным нынешний уровень дифференциации доходов, а доля согласных с этим уровнем тоже близка к трети¹⁵.

Расколото российское общество и по ценностным ориентациям: более трети граждан хотели бы жить в обществе индивидуальной свободы, в то время как две трети населения предпочли бы общество социального равенства¹⁶.

При подобном раскладе, принимая также во внимание национально-этническое и социокультурное многообразие России, духовно-идеологическая среда нынешнего российского общества не может не быть плюралистичной. Установление здесь обязательной единой идеологии способно положить бы конец демократическому развитию страны и закрепило бы авторитарный выбор политической элиты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Метаидеология нового гуманизма

Вышесказанное не означает, что государство должно быть индифферентным по отношению к идеологии. В качестве института власти и управления государство возникает и развивается как органическая составная часть гетерогенных территориальных и национально-этнических сообществ. Общность исторической судьбы населения этих сообществ, не устраняя глубоких различий социальных интересов и воззрений (а значит идеологического плюрализма), порождает объединяющие всех интересы, обычаи и традиции совместного проживания и взаимодействия, общее видение своего места в истории, своего предназначения. Собственно, благодаря этой не всегда определенной общности возникает сама возможность объединиться в одном государстве.

Эта общность исторической судьбы россиян генерирует своего рода метаидеологическую матрицу, позволяющую государству, опираясь на веками сложившиеся духовно-нравственные ценности и традиции российского социума, использовать идеологический компонент в качестве фактора консолидации трансформирующегося общества. По существу это есть вопрос о формировании *гуманистической мета-*

идеологии, демократически толерантной по отношению к инакомыслию. Взаимодействуя с традиционными идеологиями, она могла бы аккумулировать в себя общие для всех них идеи, выражающие общие интересы всех субъектов жизнедеятельности общества.

Проблема, однако, в том, что внутренний демократизм государственной метаидеологической концепции не может возникнуть самопроизвольно. Демократическим трендам противостоят авторитарные и националистические тренды. В российском обществе, отягощенном авторитарным наследием исторического прошлого, эти тренды особенно устойчивы. В силу особенностей российской истории они укоренены в стереотипах массового сознания.

Российское общество глубоко расколото, и сторонников перемен у нас меньшинство. «Народное большинство» склоняется к конформистским позициям. Противоречивое состояние общественного сознания трансформирующегося общества объясняется многими причинами. Среди них — опасение любых перемен, которые сквозь призму негативного опыта недавнего прошлого видятся простым людям как знак надвигающейся беды; отсутствие сколько-нибудь убедительной альтернативы нынешнему политическому курсу; инертность общественного сознания и приверженность традициям авторитарной политической культуры. И, конечно, это синдром «рентного пирога» сырьевой экономики, от которого, надо признать, хотя и далеко не в равной мере, получают все слои общества.

Конформизм не вечно будет довлеть над общественным сознанием и поведением российских граждан. Дегуманизация общества в России продолжается, и она все сильнее препятствует инновационной модернизации. Негативные последствия этого процесса в нарастающей степени будут побуждать граждан к осознанию необходимости гуманистического прорыва. Но это — растянутый во времени, сравнительно долгий процесс. Перипетии политического развития общества показывают, что Россия не может сразу, одним рывком выбраться из вязкой авторитарно-патерналистской колеи инерционного развития. Но в обществе нарастает гражданская тяга к инновационным преобразованиям, императивно требующим демократизации политической системы и всего общественного устройства российского социума.

Удастся ли направить этот процесс в русло эволюционной демократизации социума? От того, каким будет ответ на этот вопрос, зависит исход российской реформации. Главные узлы и факторы положительного ответа: подъем роли и престижа науки как важнейшего инструмента прорыва к инновационному типу развития; «окультуривание»

и профессионализация государственного аппарата; расширение функций гражданского общества, вовлечение его в сферу властных отношений. В развязке этих узлов — надежда и шанс на успех демократической реформации общества и создание в России благоприятной среды для формирования нового гуманизма.

Понятие «метаидеология» довольно широко используется в современной политологии. Хотя и не так часто, оно встречается на страницах учебных пособий. В учебнике английского профессора Эндрю Хейвуда метаидеология определяется как «идеология высшего порядка, основа для дискуссий по более частным идеологическим проблемам»¹⁷.

Как бы ни были разнообразны интересы и воззрения различных объединений и сообществ людей (а значит, и уникальная специфика их идеологий), они всегда представляют *homo sapiens, человека*. Значит, за различиями и несовместимостью традиционных идеологий («за» выражено приставкой *мета*, по-гречески — *по ту сторону, после, между*) скрывается некий *общий знаменатель*. Это знаменатель *родового* свойства — потребности и запросы, инстинкты и потенции человека как такового. В той или иной форме они присутствуют в уникально-специфичной реальности, образуя потенциальную основу для метаидеологии.

Более того, метаидеологические черты присущи и всем традиционным идеологиям, претендующим на универсальность. Отчетливо это проявляется в идеологии марксизма. Стремясь раскрыть объективную логику всемирной истории, марксистская методология выходила за пределы конкретной истории в поиске общих законов исторического процесса. «Марксизм, — говорится в одной из статей неомарксистской направленности, — по существу и есть система взглядов на общество с точки зрения трансисторических человеческих отношений в обществе»¹⁸. Не противоречит ли такое утверждение открытому признанию классового характера марксистской идеологии? Противоречие между классовым и общечеловеческим трансидеологическим содержанием в марксизме снималось учением Маркса о всемирно-исторической роли рабочего класса как освободителя человечества. Провозглашая свое учение идеологией пролетариата, основоположники марксизма исходили из того, что интересы рабочего класса совпадали с логикой всемирной истории, которая в их трактовке объективно отвечала общечеловеческим интересам.

В современную эпоху проблема поиска идейных постулатов метаидеологии, способной консолидировать человечество, приобретает жизненное значение как для выживания цивилизации, так и для

определения перспектив ее развития. Глобализация мира и решение порождаемых ею острейших глобальных проблем создают необходимость интеграции разделенного на сегменты общественного сознания в «планетарное сознание» человеческого рода, сохраняя и даже расширяя многообразие ныне существующего цивилизационно-культурного плюрализма. Эта грандиозная по масштабам и сложности задача предполагает осознание инвариантности базовых ценностей человеческого сообщества и прежде всего основополагающих постулатов — человек есть высшая ценность; расширение рамок гражданственности до все-ленских масштабов; конструирование институционального каркаса «мира миров» — модели социума, живущего по принципу: «единство в многообразии».

Новый гуманизм — это отнюдь не идеология, отражающая положение и интересы каких-либо социальных групп и вступающая в противоборство с уже существующими идеологиями. И не «конвергенция» существующих идеологий или выработка некой «синтетической идеологии»¹⁹. Это скорее консолидирующий духовно-нравственный *этнос* вселенского многообразия рода людского; это — мировосприятие, объединяющее людей, готовых к соблюдению гуманистических принципов и норм гражданского единения и толерантности независимо от их идеологической ориентации, социальной и национально-государственной принадлежности. Это — планетарная *метаидеология граждан земной цивилизации*.

Несмотря на гетерогенность и даже антиномичность интересов и воззрений, гражданское общество как носитель самостоятельного начала в социуме потенциально таит в себе неисчерпаемые ресурсы общегуманистической солидарности — краеугольного камня гражданского фундамента «исторических компромиссов», способных сохранить и оформить целостное единство глобального «мира миров». От того, как эти ресурсы будут задействованы, зависит социальная, международная и цивилизационная устойчивость человеческого общества.

Неблагоприятный фон — обострившиеся межнациональные и цивилизационные противоречия, открытые геополитические столкновения, разрывающие мир кровопролитные схватки «своих» и «чужих» — порождает большие сомнения в способности нынешнего поколения землян задействовать эти ресурсы. Сможем ли мы обуздать кипящие страсти, умерить агрессивные инстинкты, подавить в себе фатальную одержимость фанатизма и встать на путь конструктивного диалога в поиске общих для всех людей принципов жизнедеятельности земной цивилизации? Такой исход действительно не предопределен. За него

надо бороться, и тем большее значение приобретает спорадическая активность гуманистических движений.

Новый гуманизм — жизненная потребность глобального социума в самосохранении. Для ее реализации нужна всеобщая международная солидарность в противостоянии дегуманизации — этой осовремененной форме варварства. Защита и развитие гуманистических традиций, осмысление новых форм, стандартов, ценностей, образцов, критериев гуманизма в нарождающемся информационном обществе — глобальная проблема, от которой зависит, перешагнет ли человеческая цивилизация через порог ноосферы, или драматическая история земного очага разума завершится самоуничтожением. Ставка — существование человеческой цивилизации — достаточно высока, чтобы отнестись к этой проблеме с должной мерой ответственности.

* * *

Эпоха больших перемен — время неопределенности и сомнений. Неясно, куда движется мировая цивилизация, какие метаморфозы претерпит социум, сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы современности. Вправе ли мы в этих условиях ждать, что метаидеология гуманизма высветит нам путь в будущее? Законный вопрос. Но....

Быть может, мы находимся на великом переломе, когда перед человеческим разумом приоткрывается захватывающая перспектива *проектировать и творить* мир, пробуждая и мобилизуя креативный потенциал социума. Хотелось бы верить, что ноосфера одержит верх над зооферой.

Примечания

¹ См.: *Марков А.* Эволюция человека. М.: Астрель: CORPUS, 2012. Кн. 1 и 2.

² *Гегель.* Философия права: Соч. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. Т. VII. С. 16.

³ *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 46. Ч. II. С. 218.

⁴ Там же. С. 221.

⁵ Там же. С. 215.

⁶ Миропорядок XXI века: ноосфера или зоосфера? Исследовательский проект «Россия в формирующейся глобальной системе». М.: Горбачев-Фонд, 2001. С. 41.

⁷ *Marcuse H.* One-dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston, 1968. P. XVI.

⁸ *Marcuse H.* An Essay on Liberation. Boston, 1969. P. 4.

⁹ *Ортега-и Гассет Х.* Восстание масс: Избр. труды, М.: Весь мир, 2000. С. 163.

¹⁰ *Judt T.* III Fares the Land. A Treatise On Our Present Discontents. L.: Penguin Books, 2011. P. 129.

¹¹ *Castells M.* Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity Press, Cambridge, UK-USA, 2012. P. 227–228.

¹² *Ibid.* P. 230–231.

¹³ *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 610–615.

¹⁴ Конституция Российской Федерации. М.: К65 Юрид. лит., 1993. С. 8.

¹⁵ *Горшков М., Тихонова Н.* Социокультурные факторы консолидации российского общества: Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН. М.: ИС РАН, 2013. С. 41.

¹⁶ Там же. С. 39.

¹⁷ *Хэйвуд Э.* Политология. М.: Юнити, 2005. С. 53, 516.

¹⁸ Неомарксизм как метаидеология (по данным Русского журнала). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://marsiaada.ru/359/519/4140/4250>.

¹⁹ *Байдаков М., Белкин С.* Идеологии и ценности. Развитие и экономика, научный и общественно-политический альманах. Июнь 2013. № 6. С. 12.

4.2. Массовая политика: эффект «эмпауэрмента»*

Возникновение новых трендов массовой мобилизации и массового включения в политический процесс сегодня чаще всего связывается аналитиками с процессом «эмпауэрмента» (англ. *empowerment*)¹. Этот процесс во многом предопределяет существенные различия в формах бытования массовой политики либо в качестве «политики масс», либо в качестве «политики граждан». Если главным агентом политики масс является толпа — безликая, гомогенная, лишенная субъектности и подчиненная «внешней» политической воле, то субъект политики граждан плюралистичен и самодостаточен. Он сконструирован как набор действующих лиц — мужчин и женщин, пожилых и молодых, высоко- и не слишком образованных, представителей различных этносов и рас, находящихся во множественных отношениях. Их действия тем не менее предопределены общими для всех них принципами свободы, равенства, самостояния.

Различия в формах массовой политики становятся очевидными во многом благодаря вторжению в ее поле новых акторов, подвергающих критическому переосмыслению наследие прошлого и меняющих ее практики. Это переосмысление многим обязано теоретикам, работающим как в русле институционализма, постмодернизма, активистской социологии, так и в русле гендерных исследований. Всех их объединяет критический подход к таким моделям политики, которые сопровожда-

* Подготовлено в рамках исследовательского проекта Института социологии РАН «Институциональные проблемы массовой политики: методологические и теоретические аспекты».

ются усилением доминирования одних лиц и дискриминацией других. Именно поэтому они, ссылаясь на социальные опыты, связанные со стратегией (и концептом) «эмпваэрмент», подвергают сомнению традиционно негативные подходы к феномену масс в политике, которых в свое время придерживались классики политологии и политической психологии Э. Канетти², Г. Ле Бон³, Х. Ортега-и-Гассет⁴.

Что означает это труднопроизносимое понятие? «Эмпваэрмент» определяется одновременно как «критическая теория» и как «антидискриминационная практика», нацеленная на расширение массового участия в социальной и политической жизни — не только в форме массовых протестов, но и в различных видах участия в повседневной жизни местных сообществ, коммун, в гражданских объединениях, движениях, в экспертной деятельности, в расширении возможностей общественного контроля и т.д.⁵.

Приступая к рассмотрению концепта «эмпваэрмент», важно обратить внимание на семантику и этимологию положенного в ее основу английского понятия, так как с его переводом на русский язык возникают определенные смысловые напряжения. Отечественные исследователи толкуют его по-разному: «уполномочение» или «самоуполномочение»⁶, «эмансипация», «обретение/ осознание силы», «обретение возможностей»⁷. Все эти значения адекватны, но не равнозначны данному английскому термину, корнем которого является слово «*power*» — власть. Словари предоставляют дополнительные возможности для поиска его русских аналогов⁸. Приведу только некоторые из них: «*empowerment*» — **полномочие, доверенность; усиление влияния, наделение силой, расширение прав и возможностей, укрепление потенциала; содействие в достижении самостоятельности. В скобках чаще всего добавляется: перевод зависит от контекста. На сайте «Академик.ру» отмечается:** «в глубинном значении слова «*empowerment*» лежит идея самостояния — обретения самостоятельной роли или содействия в достижении самостоятельности». Некоторые специалисты попутно уточняют, что в английском языке сосуществуют два понятия для обозначения русского термина «власть» — «*authority*» и «*power*». Первое связывается с представлением о власти как позиции в определенной структуре управления, второе — с реальным авторитетом, реальной способностью воздействовать на других, которой обладает далеко не каждый⁹. В русской речи термин «власть» объединяет оба английских значения, не делая между ними никакого различия. И это не случайно, язык фиксирует реальность. Тем не менее В. Г. Ледаев, один из специалистов по теории власти, сопоставляя семантические поля русского слова «власть» и английского «*power*», говорит об их совпадении в зна-

чениях «способность», «возможность», «господство» «преобладание». И на этом основании заключает: «Власть — это нечто, присущее субъекту; это потенциал, возможность, которая может быть реализована при определенных условиях»¹⁰.

Учитывая все эти соображения, я бы предложила переводить термин «*empowerment*» на русский язык, ориентируясь на его корневую основу «*power*». В этом случае перевод может звучать как «обретение власти». Но поскольку устоявшегося русского перевода данного понятия все еще не существует, а мне не хотелось бы терять какой-то из его глубинных смыслов, я решила использовать в этой работе англоязычный термин «эмпауэрмент», прекрасно понимая, какие нарекания со стороны коллег меня ожидают. В качестве оправдания сошлюсь на то, что, по моему мнению, термин «эмпауэрмент» логически включается в ряд новых категорий анализа, пополнивших в последние десятилетия инструментарий отечественной политической науки. В их числе уже получившие признание понятия: политический менеджмент, политический маркетинг, политический пиар. По верному наблюдению С. Н. Пшизовой, «появление новых терминов стало ответом на потребности жизни и следствием того, что прежних категорий оказалось недостаточно для описания появившихся реалий. Содержательное наполнение новых понятий пока еще не устоялось, хотя научное сообщество и проявляет стремление разграничить термины, определиться с их содержанием»¹¹. С аналогичными трудностями при переводе термина «эмпауэрмент» сталкиваются не только отечественные исследователи. Авторы недавно вышедшей во Франции книги «Эмпауэрмент: практика эмансипации» оговариваются, что во французском языке ему нет аналога. Поэтому они также вынуждены либо использовать его напрямую, без перевода, либо как фразеологизм «*pouvoir d'agir*», что в буквальном переводе на русский язык означает «власть действовать». И дело здесь не в том, что переводчикам недостает фантазии, а в том, что сама идея «эмпауэрмента» чужда и языку, и социально-политической традиции Франции, в которой государство все еще остается основным актором, а измерения «коллективного», «коммунитарного» утверждаются с усилием. По словам авторов, «социология отчуждения и доминирования, пронизывающая французские подходы к социальному миру, оставляет мало места акторам и их способности к действию, их *agency* — понятие, которое описывает способность действовать у индивидов»¹². Такого рода аргументы вполне применимы и к российской политической традиции — отсюда и трудности адекватного перевода.

Важно также учитывать время и место (хронотоп) возникновения и распространения термина «эмпауэрмент». И здесь — новые сложно-

сти. Понятие «эмпваэрмент» развивается во множестве интерпретаций, в зависимости от разных контекстов, и во множестве полей. Корневой глагол «*to empower*», приведший к его образованию, появился в Британии XVII в. для описания власти или формального авторитета. Термин «эмпваэрмент» возник там же в середине XIX в., когда складывалась современная политическая система, для определения одновременно и состояния власти, и действий по ее достижению.

В основном с этим временем связана и генеалогия феномена «обретение власти». Она стала предметом специального исследования известного политического философа Ханны Арендт, которая посвятила ему одну из своих самых значимых книг «О революции»¹³. Книга вышла в свет в 1963 г. В ней Арендт, многие годы разрабатывавшая проблематику тоталитаризма¹⁴, опиравшегося на политику мобилизации масс, которая принимала порой формы массового психоза, попыталась заново прочесть историю великих революций, проходивших под знаменем прав человека, — от американской и французской, через русские (революция 1905 г., Февральская и Октябрьская 1917 г.), до венгерских событий 1956 г. Она стремилась обнаружить в них те новации в массовой политике, которые вселяли бы надежду на эмансипацию человечества и разрешение основного политического вопроса истории: свобода или тирания. И нашла то, что искала.

По мнению Арендт, все эти революции, где-то ярко, очевидно (американская 1775 г.), а где-то не слишком (французская 1789 г.), свидетельствуют об одном и том же — о возникновении некоего пространства публичной свободы и прав человека для всех и каждого, о стремлении человека к обретению «счастья публичности», благодаря чему он начинает осознавать себя полноценным гражданином. Выстраивая свою концепцию, Арендт опиралась на те определения «человека», которые давал Аристотель: «человек есть существо политическое», «человек есть существо, одаренное речью»¹⁵. Оба эти качества, утверждала Арендт, реализуются лишь во взаимодействии с другими людьми. Во взаимодействии в особой сфере человеческой жизни — в мире политики, который человек надстраивает над миром природным, и существование в котором является его отличительным признаком. Вне мира политики, например в условиях тоталитаризма, отнимающего у людей возможность самостоятельного политического действия, человек, как общественное существо, низводится до уровня *animal laborans*, он становится придатком к государственной машине. Непременными условиями такого взаимодействия, с точки зрения Арендт, должны быть свобода и равенство всех граждан. Отсылая к опыту прошлого, Арендт

подчеркивает, что «равенство выступало условием для всякой политической деятельности в античном мире... это было равенство в той особой политической области, где люди контактируют как граждане, а не как частные лица»¹⁶. А содержание понятия «свобода», по ее убеждению, подразумевало в первую очередь «участие в публичных делах или доступ к сфере политической власти»¹⁷.

Самыми очевидными образцами политики как пространства «публичной свободы и равенства» всех, кто участвует в публичных делах во имя «общего блага», являются для Х. Арендт, во-первых, греческие полисы, а во-вторых, городские общины Новой Англии периода борьбы за независимость; «революционные общества» времен Великой французской революции; Парижская коммуна; Советы времен первой русской революции 1905 г, влияние которых обнаруживается в венгерских событиях 1956 г. По мнению Арендт, во всех этих случаях в ходе революций возникала совершенно новая система правления: ее отличительная черта — наличие публичного пространства гражданского участия и свободы. Арендт пишет, что «советам» «назначено было являться на авансцену истории на протяжении XIX и XX вв. в ходе практически каждой революции, которую мы могли бы назвать подлинной. Они возникали всякий раз в виде спонтанно сложившихся органов народного управления, не только независимо от каких-либо революционных партий, но и неожиданно для их лидеров»¹⁸. Общее между этими случаями Арендт обнаруживает прежде всего в мотивации создававших их акторов, заключавшейся в том, что «никто не может быть назван «счастливым», если не принимает участия в публичных делах; никто не может быть назван свободным, если он не имеет собственного опыта публичной свободы; и никто не может быть назван ни счастливым, ни свободным, если он не принимает участия в публичной власти»¹⁹. Эту триаду: участие в публичных делах, наличие собственного опыта публичной свободы, участие в публичной власти — Арендт относит к признакам «подлинных революций». И доказывает на этой основе, что «революции представляют собой нечто большее, чем просто успешно завершившееся восстание», что «едва ли оправданно называть каждый *coup d'état* (государственный переворот) революцией или усматривать ее признаки в гражданской войне»²⁰. Почему? Арендт разъясняет: «в перечне прав, привилегий и вольностей, которые имел народ, право на прямое участие в делах управления государством явно отсутствовало. Право на самоуправление не подразумевается даже ...в праве представительства в целях уплаты налогов. Чтобы править, человек должен был родиться правителем: в античности это свободнорожденный, в феодальной Ев-

ропе — представитель дворянского сословия. И хотя в политическом лексиконе предшествовавших эпох существовало достаточно много слов для описания восстания подданных против своего правителя, среди них не найдется ни одного, которое описывало бы столь радикальную переменную, как превращение подданных в правителей»²¹.

В этом «превращении» Арндт видит суть великих революций, поставивших во главу угла публичной жизни проблематику свободы и прав человека и гражданина, что и было, собственно, расценено современниками как «революция». В этом же — корни знаменитого высказывания Прудона о «перманентной революции» или, более выразительно, *révolution en permanence*, а вместе с этим — и идеи, что «нет отдельных революций, но только одна и та же непрерывная революция»²². Отмечу, что это изречение Прудона принято считать афоризмом, но, ссылаясь на логику Арндт, можно допустить, что Прудон имел в виду оформление права «на революцию», на массовый протест в защиту прав человека как на особый, мерцательно функционирующий институт политики.

Завершая этот раздел, хочу подчеркнуть еще два обстоятельства. Первое. Ханна Арндт, впервые исследовавшая феномен современных революций сквозь призму массового политического участия и обнаружившая в них «дух публичности» как имманентное свойство, или «основной инстинкт» человека и гражданина, заканчивает книгу «О революции» достаточно пессимистичными выводами. Ей представляется, что надежда на преобразование государства, на новую форму правления, которая позволила бы каждому члену общества стать «участником в ведении публичных дел», «оказалась похороненной в катастрофах XX в»²³. Парадоксально, но эти выводы она делает в самый канун зарождения новой волны массовых протестных действий, которые окрестили «студенческими революциями». Правда, в тот момент ничто не предвещало их наступления.

Второе. Арндт, проанализировавшая на фактах процесс, который приводит к превращению массовой политики в политику граждан — за счет «обретения» ими публичной власти, не использует для его определения понятие «эмпauerмент», ключевое в сегодняшней политологии²⁴. Она применяет другие термины: «воля-к-власти» или «сила воли» (англ. *will-to-power, will-power*). Хотя именно в эти годы об эмпauerменте начинают говорить все чаще и чаще.

Всплеск интереса к понятию «эмпauerмент» пришелся на конец 60-х — 70-е годы XX в., когда массовые волнения и возникшие на их фоне так называемые новые социальные движения стали определять

повестку дня текущей истории. Понятие утверждается «снизу». Его берут на вооружение активисты движения за народное образование в Латинской Америке; активистки женского движения, работающие в местных ассоциациях США, а затем и Южной Азии; активисты движения черных, требующие политического представительства, и др. Все они так или иначе приходят к выводу о необходимости «эмансипации» («эмпваэрмента») маргинальных, ослабленных с точки зрения социального сознания и гражданского участия групп сограждан, обретения ими статуса социального субъекта.

На Американском континенте особую роль в продвижении концепта сыграли идеи бразильского психолога, философа и педагога Паулу Фрейре, изложенные им в книге «Педагогика угнетенных». Книга вышла в свет на португальском языке в 1968 г., на английском — в 1970 г., а затем неоднократно переиздавалась на разных языках²⁵. В этой книге, сочетая неомарксистскую социальную критику и теорию борьбы с колониализмом (по Францу Фанону), П. Фрейре предлагал создать такую систему образования, которая была бы построена на сотрудничестве педагога и ученика как активного участника сотворения знаний. П. Фрейре доказывал, что пробуждение самосознания учащихся с целью овладения знанием об исторических силах, определяющих человеческое существование, — главная задача современной педагогики. Педагогика должна быть направлена на преодоление различных форм доминирования одних людей над другими, ибо социальное доминирование дегуманизирует человеческую жизнь. В интенции социальная критика Фрейре выходила за пределы педагогики как таковой и была нацелена на радикальное преобразование общественных отношений путем «освобождения индивидуального сознания». Этот процесс «освобождения», или развития, индивидуального сознания Фрейре определял с помощью понятия «*conscientizacao*».

Оно мгновенно обрело популярность в среде участников новых социальных движений. При переводе на английский язык в качестве его аналога был выбран термин «*empowerment*». В данном контексте концепт «эмпваэрмент» означал процесс, направленный на обретение социально ослабленными группами граждан (женщинами, представителями не белой расы, бедными и т.д.) «коллективного» или «критического сознания». Каким образом? Путем равноправного участия индивидов в групповой деятельности по развитию внутренних способностей к гражданскому действию — «власти действовать». Причем такая власть рассматривалась одновременно и как личностная, и как коллективная, нацеленная в перспективе на радикальные социальные

перемены. Важно отметить, что понятие «эмпваэрмент» в этом случае концептуализируется в связи с действиями индивида по принятию на себя ответственности, самостоятельности, самодеятельности²⁶. При этом речь идет не о власти, которую уступили, подарили «сверху», а о власти, которую генерируют «снизу». В данной трактовке «эмпваэрмент» превращается в концепт, преобразующий смыслы массового участия и массовой мобилизации — в свете становления политики граждан.

Взяв концепт на вооружение, активисты новых социальных движений сохранили оба его измерения — наличие власти и процесс обучения навыкам ее достижения. Они полагали, что и состояние, и процесс могут быть как индивидуальными, так и коллективными, как социальными, так и политическими. В этой парадигме «эмпваэрмент» — путь к эмансипации и самореализации индивидов, к гражданскому признанию различных социальных групп и сообществ²⁷.

Социальная критика, связанная с этими движениями, по-новому формулировала цели протестного действия, перенося акцент с классовый борьбы как его основной формы на протесты против иных форм социального неравенства, скорее связанных с проблемами идентичности во всем ее многообразии. Вот почему со всей остротой поднимались вопросы о равноправии женщин, расовый вопрос, вопросы региональной идентичности, экологии и т.д. Именно в этот узел анализа вводился и вопрос о власти — одновременно на ее индивидуальном, коллективном и социальном уровнях. А параллельно рассматривалась проблема «agency» (как способности действовать), т.е. развития гражданской компетенции индивидов и групп²⁸. Таким образом, «эмпваэрмент» оформлялся в качестве особой стратегии массовой политики, направленной на обретение «угнетенными некогда личностями способности распоряжаться своими судьбами, на расширение участия в делах общества и присутствия в соответствующих властных и политических структурах»²⁹.

Особый вклад в теоретическое и практическое развитие стратегии «эмпваэрмента» вносит в эти годы феминистская критика, озабоченная проблемами подчиненности женщин. В дебатах активисток и теоретиков женского движения того времени три темы оказались особенно значимыми для содержательного переопределения проблем современной массовой политики. Во-первых, тема идентичности и политической субъектности, сопряженная с проблематикой права угнетенных на автономию. Во-вторых, тема «права на различие», тесно переплетенная с идеей гражданского разнообразия, или множества, связанного

не с «онтологией», а с многообразием социальных отношений и конфликтов в современном обществе. В-третьих, тема новой властной парадигмы. Поиски новых подходов к «власти» требовали ревизии ее классической либеральной концепции — власти «мужской», «инструменталистской», выраженной формулой «власть над кем-то...». Этой концепции была противопоставлена принципиально иная, выраженная формулами «власть для чего-то...», «власть вместе...», «власть как энергия и компетенция» вместо «подавления», власть, не дарованная сверху, а приобретенная снизу.

Эта интеллектуальная операция проводилась с опорой на мыслительные разработки теоретиков самого разного плана — от Х. Арендт до М. Фуко, А. Турена, Н. Пуланзаса и др. Работам Арендт и Фуко уделялось при этом особое внимание — именно их определения «власти» и «политики» позволили найти дополнительные аргументы в пользу обоснования субъектности новых акторов в пространстве «политического». У Фуко феминистская критика обнаруживает в первую очередь аргументы в пользу права на различие, на субъектное разнообразие и существование в качестве «Другого». Особенно значимым в этом случае оказывается скептический взгляд Фуко на «субъект-объектные» теории власти, а также его акцент на вопрос о том, как субъекты конституируются через властные отношения, или, по Фуко, как «дисциплинарная власть осуществляется через тела и души людей»³⁰. Основные отсылки приходится в этом случае на работы Фуко «Надзирать и наказывать»³¹, «История сексуальности»³², в которых он раздвигает границы «политического», включая в его поле разнородную группу властных отношений, складывающихся на микроуровне человеческих коммуникаций. Используя «восходящий» анализ, Фуко показывает в них, как механизмы власти на микроуровне общества становятся частью доминирующей системы властных отношений. Этот анализ власти «снизу вверх» позволил его последователям иначе оценить и необходимые формы сопротивления доминированию — тоже по принципу «снизу вверх». Такой подход заставлял усомниться в общепринятом постулате о некоем бинарном принципе разведения сил власти и сопротивления, и одновременно — в необходимости единственного центра сопротивления, противопоставив ему видение социального поля как множества неустойчивых и разнородных властных отношений, порождающих и различные варианты сопротивления. Фуко высоко ценили за то, что он, усложнив конструкт власти, изменил ее «дистанцию», расположил очаги сопротивления в непосредственной близости от человека, что в принципе повышало сам потенциал сопротивления.

Отношение к наследию Х. Арендт оказалось более сложным. Ее подвергли достаточно жесткой критике за «андроцентризм политической теории» — за отсутствие анализа исключенности женщин из публичной сферы на протяжении всей истории человечества. Ведь Арендт выстраивала свой анализ публичной политики, отталкиваясь от греческого полиса, в котором женщинам было отказано в гражданстве. Однако более прозорливые исследовательницы сумели найти в идеях Арендт отправную точку для развития собственных подходов к «политическому». Их особое внимание привлекла ее концепция политики, предполагающая такую деятельность, которая основана на «множественности» человеческих отношений, выстраиваемых как отношения равенства, но равенства с учетом «уникальных различий» каждого. Наиболее востребованным оказалось следующее положение Арендт: «Множественность является условием человеческого действия потому, что все мы одинаковы, т.е. люди, но одинаковы таким образом, что никто не является похожим ни на кого другого, кто когда-либо жил, живет или будет жить»³³. Ее последовательницы выстроили на этой основе концепцию «политики различия», или «политической теории действия и различия», попутно сняв с Арендт часть изначальных обвинений в андроцентризме. Они утверждали, что Арендт не предписывала «ничего врожденного или сущностно маскулинного публичной сфере», т.е. того, что объективно являлось бы преградой для включенности женщин в политический процесс³⁴.

Тема гражданского разнообразия, множества оказалась крайне востребованной для развития стратегии «эмпваэрмент», в том числе и в русле практической деятельности женских организаций. Как пишут американские исследовательницы В. Тейлор и Н. Уиттьер, «альтернативные институты первоначально представлялись... способом получения власти путем улучшения жизни женщин и расширения их ресурсов»³⁵. Такими институтами могли быть центры здоровья, центры реабилитации после изнасилования, приюты для пострадавших от домашнего насилия; книжные магазины и объединения художниц и поэтесс; газеты, издательства, кредитные союзы и т.д. В каждой из таких групп ее участницы обменивались личным опытом, который интерпретировался в категориях «политического». Фраза «личное есть политическое», произнесенная на одной из таких встреч Кэрол Хэниш и развитая в работе Кейт Миллет «Сексуальные политики», стала «клеймом» этой стратегии»³⁶.

Обсуждение тематики гражданского разнообразия на низовом уровне сопровождалось порой острыми конфликтами. В том числе — чуть ли не бунтом представительниц женского «черного» движения

против «гегемонии» белых образованных женщин и их «ограниченного понимания задач женского движения». Наиболее полно эту позицию выразила исследовательница белл хукс³⁷ в ставшей широко известной книге «Феминистская теория: от края к центру». Исследовательница не без прозорливости, настаивала в ней на том, что целью стратегии «эмпауэрмент» в женском движении должно быть не просто включение женщин в политическую деятельность, а «искоренение культурного базиса и причин сексизма, равно как и других форм группового угнетения»³⁸.

Характерно и размышление на эту тему политолога Н. Фрейжер, которая доказывала, что «борьбу групп, сплотившихся под знаменами национальности, этничности, расы, гендера и сексуальности, питают требования «признать различие» с точки зрения социального равенства..... классовый интерес как основное средство политического сплочения заменяется групповой идентичностью, а эксплуатация как фундаментальная несправедливость — культурным доминированием»³⁹. Философ Дж. Скотт в свою очередь так подводила итог этим теоретическим поискам: «Современные теории не предполагают фиксированных отношений между сущностями, а трактуют их как изменчивые эффекты временной, культурной или исторической специфики, динамики власти... Ни индивидуальная, ни коллективная идентичность не существует без Другого; включенности не существует без исключенности, универсального — без отвергнутого частного, не существует нейтральности, которая не отдавала бы предпочтение ни одной из точек зрения, за которыми стоят чьи-то интересы, власть играет существенную роль в любых человеческих отношениях... Для нас различия — это факт человеческого существования, инструмент власти, аналитический инструмент»⁴⁰.

Толкование «различий» в идентичности, субъектности не как маргинальности, исключенности из культуры, не как отклонения от нормы, а как некоей ценности резко расширяло границы применения стратегии «эмпауэрмент». Ведь в этой парадигме «Другой» (другая субъектность) получал свой полновесный статус, за «Другим» признавалось право на полноценное существование, включая гражданские, политические полномочия. Этот подход утверждал многоликость, пестроту социального пространства, которое держится в напряжении не одним — центральным конфликтом, не одним противоречием — классовым, расовым или национальным, а множеством разных конфликтов, разных противоречий, по-разному и разрешаемых. Это был кульминационный момент в развитии концепта «эмпауэрмент» в русле радикальной социальной критики.

В 1980–1990-е годы идею «эмпауэрмента» перехватили другие политические и социальные игроки — от реформаторов, воплощавших ее в проекты развития массового самоуправления на низовом уровне, до менеджеров Всемирного банка, а также — экспертов ООН, озадаченных проблемой массовой бедности и пытавшихся на основе этой идеи выстроить технологии обретения самостоятельности социально уязвимыми слоями населения за счет «микрофинансирования», предоставления различных грантов, включения во всевозможные социальные «программы развития»⁴¹. В то же время под напором женского движения гендерные вопросы были включены в международную политику, в повестку дня крупнейших международных организаций, что сопровождалось пересмотром их приоритетов и ориентиров⁴².

В тех или иных видах стратегия «эмпауэрмент» была распространена в самых разных регионах — от Южной Америки до Африки и Юго-Восточной Азии. Какие-то реформаторские опыты были успешными, а какие-то сопровождались содержательным выхолащиванием концепта «эмпауэрмент» — вместо «обретения возможностей» «реципиенты» либо втягивались в опыты «самоуправления бедных», либо в «самоэксплуатацию»⁴³. Но это не повлияло на популярность самой идеи.

В конце XX в. понятие «эмпауэрмент» пришло на Европейский континент — в литературу и публичные дебаты, связанные с проблемами «демократии участия»⁴⁴. Оно же стало ключевым в различных публикациях, адресованных медикам, педагогам, социальным работникам, которые с его помощью описывали возможности «коллективного действия» по социальным преобразованиям; в работах по менеджменту, предназначенных для управленческого персонала предприятий⁴⁵. В нем видели рецепт по перестройке кризисных профессиональных практик, с ним же связывали перспективу развития гражданского общества⁴⁶. Одновременно, в условиях кризиса 2008–2009 гг., концепт позволил осуществить перетолкование неолиберальных идей в духе повышения ответственности индивидов — их «включения»⁴⁷ в социальные процессы и участия в них⁴⁸.

В наши дни специальная литература по этой теме появляется в таких различных отраслях знания, как социальное действие, образование, международное развитие, в разных направлениях — университетские курсы, профессиональная, управленческая или политико-административная деятельность. Концепт «эмпауэрмент» раскрывается через множество определений и методов оценки. Отсюда — его многозначность и размытость, отсюда же — ослабление его радикальной направленности. Тем не менее ключевой посыл концепта — самостояние акторов, вовлеченных в тот или иной процесс, их сотрудничество поверх иерар-

хических и бюрократических барьеров, сохраняется повсеместно. Он используется для описания новых подходов к социальной реальности, нацеленных на разрыв с методологией социальной политики или менеджмента, пронизанных духом патернализма и социального неравенства⁴⁹.

С этой точки зрения «эмпауэрмент» может рассматриваться как некий ключевой концепт, сопряженный с самыми разными теоретическими поисками, объясняющими и обосновывающими демократическую направленность современной массовой политики⁵⁰. Так, один из столпов социологии Петр Штомпка убежден в том, что в последние десятилетия у наших современников формируется некое особое качество, которое он определяет, вводя понятие «цивилизационная компетентность». П. Штомпка трактует его как «широкое собрание культурной предрасположенности, охватывающей готовность к участию в политической и самоуправленческой деятельности»⁵¹.

О «цивилизованности граждан», как о главном условии демократии, пишут и институционалисты Дж. Марч и Й. Ольсен⁵². Параллельно схожее понятие «гражданская компетентность» развивает патриарх политологии Роберт Даль⁵³. С близких позиций смотрит на массы современников американский социолог Говард Рейнгольд, еще в начале нулевых годов выпустивший в свет книгу с красноречивым заглавием «Умная толпа: новая социальная революция». В ней он объявил устаревшим подход к массовой толпе как некоей угрозе, особо подчеркнув, что классический «закон толпы» вот-вот перестанет работать. По его мнению, люди, использующие новые коммуникационные технологии, теперь будут собираться только в «умную толпу». Разновидностью «умной толпы» уже стали флешмобы — мгновенная толпа, спланированная акция, которая собирает большую группу людей с помощью их коммуникации⁵⁴.

Политолог К. Вельцель в свою очередь разъясняет, что «добиться гражданских свобод нелегко; для этого необходимо, чтобы большие группы населения были *способны* оказывать давление на элиту и *стремились* его оказывать»⁵⁵. И Вельцель поясняет: «Как актеры, максимизирующие свою власть, политические элиты имеют склонность к тому, чтобы как можно меньше этой властью делиться. Они естественным образом противостоят распространению в обществе гражданских свобод, так как последние ограничивают власть элитных групп»⁵⁶. Решающее значение для возникновения такой *способности* имеют массовые убеждения. К. Вельцель и его соавтор Р. Инглхарт доказывают, что убеждения людей представляют собой «опосредующую переменную между общественной структурой и коллективным действием»⁵⁷. Те или иные массовые убеждения предопределяют характер политических режимов — они «конгруэнтны» этим режимам. Импульсом к демократи-

зации являются массовые предпочтения в пользу демократии, которая понимается как освобождение от притеснений и дискриминации, т.е. как эмансипация. В свою очередь люди, располагающие на шкале ценностей выше других ценности свободы, равенства, толерантности, автономии, эгалитаризма, самовыражения (*versus* — строгое соблюдение норм, авторитет власти, диктат патриархата и т.д.), являются сторонниками так называемых «эмансипационных ценностей»⁵⁸. Эмансипационные ценности, с точки зрения К. Вельцеля и Р. Инглхарта, являются основной предпосылкой развития стратегии «эмпваэрмент». Именно эти ценности мотивируют людей на сопротивление авторитаризму во всех его проявлениях, они составляют «мотивационный фундамент» мирных массовых акций, которые либо обеспечивают победу демократии, либо предотвращают ее поражение⁵⁹.

Как это сказывается на характере политического режима? Один из самых влиятельных теоретиков власти Чарльз Тилли утверждает: «Режим можно признать демократическим, если политические отношения между гражданами и государством выражены широкими, равноправными, защищенными и взаимообязывающими процедурами обсуждения»⁶⁰. Иными словами, если реализуется стратегия «эмпваэрмент». Противоположный процесс, который Тилли называет «де-демократизацией» (а Вельцель и Инглхарт — «де-эмпваэрментом»), вызывается, как правило, резким сокращением влияния граждан на процессы принятия решений, или их «исключением», «выходом» из этих процессов. К. Вельцель добавляет: «демократизация маловероятна, если массы неспособны преодолеть нежелание властей наделять их правами и возможностями»⁶¹. В этом случае нет оснований для развития стратегии «эмпваэрмент», а также сопряженной с ней политики граждан. М. С. Фиш и Дж. Виттенберг, специально изучавшие факторы «обращения демократизации вспять», среди прочих выделяли следующие из них: экономическая зависимость страны от углеводородов («нефтяное проклятие»), массовая бедность, этническая и религиозная гетерогенность, низкий статус и уровень социального сознания женщин⁶². По поводу последнего политологи замечали: «Сокращайте неравенство между полами, даже если это требует продолжительных усилий, а в короткие сроки не станет источником чудесных изменений»⁶³.

Некоторые влиятельные теоретики в принципе оспаривают и стратегию эмпваэрмента, и идею «гражданской» компетентности, а шире — субъектности, у рядовых, и уж тем более у социально «ослабленных» категорий граждан. В качестве примера сошлюсь на модного в последние десятилетия философа Славоя Жижека, убежденного в том, что основной дефект демократии участия — это недостижимость идеала

«всезнающего гражданина». Жижек не отрицает, что время от времени действительно возникают моменты интенсивного «коллективного участия», когда местные сообщества дискутируют, принимают решения, когда люди живут в «чрезвычайном положении», беря инициативу в свои руки, и никакой вождь («хозяин», «господин», «мэтр» — синонимы у Жижек) их не ведет вперед. Но Жижек убежден в том, что такие состояния не могут долго длиться — от них у рядового гражданина возникает «усталость», которую философ относит не к категории «психологии», а к **«категории социальной онтологии»**. И объясняет: «Огромное большинство людей, включая и меня, хотят быть пассивными и полагаться на эффективный государственный аппарат, гарантирующий плавный ход всего государственного механизма, почему я и могу тихо-мирно делать свою работу»⁶⁴.

С. Жижек стремится развенчать «миф о прямой самоорганизации» масс, выстроенной в расчете на вовлеченность, активность, самостоятельность граждан, на «самоорганизацию множеств», т.е. на «эмпваэрмент». Он доказывает, что молекулярное «самоорганизованное множество» может быть альтернативой иерархическому порядку только «под сенью» харизматического лидера. По его мнению, абсолютно неверен широко распространенный тезис: «Люди знают, чего они хотят». В действительности рядовые граждане «этого не знают и знать не хотят, им нужна хорошая элита! Вот почему настоящий политик не просто отстаивает интересы людей — через него сами люди начинают понимать, чего они «хотят на самом деле»⁶⁵.

С. Жижек ссылается при этом на опыт Венесуэлы, подчеркивая, что в этой стране многие увидели образец зарождения прямой демократии в различных вариантах — местные советы, кооперативы, рабочее управление на заводах. Но в Венесуэле опыты самоуправления проводились под патронатом президента Уго Чавеса — харизматического лидера, который остался таковым в памяти людей. Используя этот пример, С. Жижек утверждает: чтобы индивиды покончили с «пассивностью политического представительства» и начали действовать как непосредственные политические агенты, необходима фигура вождя, который «должен знать», чего они хотят. «Субъекту нужен Хозяин, чтобы он поднялся над уровнем «человека-животного» и осуществил бы верность Истине-как-событию»⁶⁶.

Так в общих чертах выглядит основная дилемма в экспертных подходах к современной массовой политике, которая рассматривается в одном случае как процесс, развивающийся «снизу» на основе «эмпваэрмента», эмансипации и самоорганизации «множеств» граждан,

включенных в диалог с государством; а в другом — как процесс мобилизации масс, народного «большинства», выстраиваемый «сверху» Хозяином, лидером, на основе его воли и видения мира, что скорее исключает «эмпауэрмент»⁶⁷.

Примечания

¹ См., в частности: *Миронюк М.* Предисловие научного редактора русского издания // Демократизация: Учеб. пособие / Сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель; Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИД Высшей школы экономики, 2015. С. 23.

² *Канетти Э.* Массы и власть. М.: Ad Marginem, 1997.

³ *Ле Бон Г.* Психология масс. М.: Изд-во Бахрах, 2010.

⁴ *Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. С. 43–164.

⁵ *Lord J., Hutchison P.* The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice // Canadian Journal of Community Mental Health. Spring 1993. No 12:1. P. 5–22.

⁶ *Бикбов А.* Представительство и самоуполномочение // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://logosjournal.ru/arch/24/88_9.pdf (Дата обращения: 11.06.2015).

⁷ *Чикалова И.* Гендерная проблематика в политической теории // Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. Ч. 1. С. 94.

⁸ Сайт «Академик.ру». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://translate.academic.ru/empowerment/en/ru/1> (Дата обращения: 20.06.2014).

⁹ *Урмина И.* Современные стратегии управления. См.: сайт «Современный детский сад». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [www. http://arkty.ru/](http://arkty.ru/) (Дата обращения: 06.07.2013).

¹⁰ *Ледяев В. Г.* Власть // Концептуализация политики / Под ред. М. В. Ильина. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. С. 212.

¹¹ *Пишизова С. Н.* Можно ли управлять демократией? Ч. 1 // Полис. Политические исследования. 2013. № 6. С. 175.

¹² *Vasquié M.-H., Biewener C.* L'empowerment, une pratique emancipatrice. Paris: La Découverte, coll. « Sciences Humaines / Politique et sociétés », 2012. P. 7.

¹³ *Арендт Ханна.* О революции. М.: Европа, 2011.

¹⁴ *Арендт Ханна.* О тоталитаризме. М.: ЦентрКом, 1996.

¹⁵ *Арендт Ханна.* О революции. С. 15.

¹⁶ Там же. С. 33.

¹⁷ Там же. С. 37.

¹⁸ Там же. С. 347.

¹⁹ Там же. С. 355.

²⁰ Там же. С. 39.

²¹ Там же. С. 49.

²² Там же. С. 63.

²³ Там же. С. 369.

²⁴ Демократизация... С. 23.

²⁵ *Freire P. Pedagogy of the Oppressed.* N.Y.: Continuum, 2000. Книга частично переведена на русский язык. См.: *Фрейре П. Педагогика угнетенных: Материалы к учеб. семинарам Школы трудовой демократии.* М.: Школа трудовой демократии, 1998.

²⁶ *Fortin-Pellerin L. Contributions theoriques des representations sociales a l'etude de l'empowerment: le cas du mouvement des femmes // Journal International sur les Representations Sociales.* 1996. Vol. 3. № 1. P. 57.

²⁷ *Vacqué, Biewener.* Указ соч. P. 13–14.

²⁸ *Lukes S. Power: A Radical View.* L.: Macmillan Press, 1974. P. 14.

²⁹ *Чикалова И.* Указ. соч. С. 94.

³⁰ *Савицки Яна.* Фуко и феминизм: к политике «различия» // *Феминистская критика и ревизия политической философии* / Сост. М. Л. Шенли, К. Пейтмен. М.: РОССПЭН, 2005. С. 301, 302.

³¹ *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem. 1999.

³² *Фуко М.* История сексуальности. Т. III: Забота о себе. Київ: Дух и литера, 1998.

³³ *Диц Мэри Г.* Ханна Арент и феминистская политика // *Феминистская критика и ревизия истории политической философии.* С. 323.

³⁴ Там же. С. 338.

³⁵ *Тейлор В., Уиттбер Н.* Коллективная идентичность в группах общественных движений // *Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия* / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 972.

³⁶ Там же. С. 980.

³⁷ Исследовательница в знак солидарности со всеми угнетенными нарочито писала свое имя не с заглавной, а с маленькой буквы.

³⁸ *Белл хукс.* Феминистская теория: От края к центру // *Антология гендерной теории.* Минск: Пропилей, 2000. С. 253.

³⁹ *Фрейджер Н.* От перераспределения к признанию? Дилеммы справедливости в «пост-социалистическую» эпоху // *Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия.* С. 258.

⁴⁰ *Скотт Дж.* Отголоски феминизма // *Гендерные исследования.* Харьков: ХЦГИ, 2004. № 10. С. 11, 25.

⁴¹ *Lord J., Hutchison P.* The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice. P. 22.

⁴² *Роденберг Б., Вихтерих К.* Влияние женщин на характер власти. Результаты исследований Фонда Г. Белля. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.owl.ru/win/books/empowerment/index.htm> (Дата обращения: 10.07.2013).

⁴³ *Regmi S.* Women's Empowerment through Microfinance: Interrogating the Economic and Socio-cultural Structure // *Perspectives on global issues. The academic Journal of New York University's Center for Global Affairs.* URL: <http://www.perspectivesonglobalissues.com/archives/spring-2011-women/microfinance/> (Дата обращения: 1.07.2013).

⁴⁴ *Avenel C., Duvoux N.* Le pouvoir aux habitants? Réformer la Politique de la Ville // *La Vie des idées*. 2013. 7 mai. URL: <http://www.laviedesidees.fr/Le-pouvoir-aux-habitants.html> (Дата обращения: 10.07.2013).

⁴⁵ *Sheafor B., Horejsi Ch.* Techniques and Guidelines for Social Work Practice. Colorado State University, 2011.

⁴⁶ *Sheafor B., Horejsi Ch.* To empower people: From state to civil society. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1996.

⁴⁷ *Филиппова Л. Е.* Институциональное включение/исключение // Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка / Отв. ред. С. В. Патрушев. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 51–55.

⁴⁸ Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. PREM. World Bank. 2002. May 1. P. 10–22.

⁴⁹ *Kirszbaum T.* Vers un empowerment a la francaise? URL: http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20131112_kirszbaum.pdf (Дата обращения: 25.05.2014).

⁵⁰ *Павлова Т. В.* Демократия *versus* кликократия // Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка / Отв. ред. С. В. Патрушев. М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. С. 88–94.

⁵¹ *Штомпка П.* Доверие — основа общества. М.: Логос, 2012. С. 50.

⁵² *March J. G., Olsen J. P.* Demicratic Governance. N.Y.: Free Press, 1995.

⁵³ *Даль Р.* О гражданской компетентности. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.civencyclopedia.org> (Дата обращения: 26.07.2010).

⁵⁴ *Рейнгольд Г.* Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР ПРЕСС, 2006.

⁵⁵ *Вельцель К.* Теории демократии // Демократизация... С. 149.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ *Вельцель К., Инглхарт Р.* Политическая культура, массовые убеждения и изменение ценностей // Демократизация... С. 236.

⁵⁸ Там же. С. 237.

⁵⁹ Там же. С. 260, 257, 256.

⁶⁰ *Тилли Ч.* Демократия. М.: АНО «Институт общественного проектирования», 2007. С. 29.

⁶¹ Там же. С. 160.

⁶² *Фиш М. С., Виттенберг Дж.* Неудавшаяся демократизация // Демократизация... С. 431.

⁶³ Там же. С. 450.

⁶⁴ *Жижек С.* Простая смелость решения: с благодарностью Тэтчер от левых. Интернет-журнал «Гефтер». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://gefter.ru/journal/politics/page/2> (Дата обращения: 8.08.2013).

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ *Чечель И.* Европа и Россия «норм». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://gefter.ru/archive/12631> (Дата обращения: 30.06.2014).

4.3. «Кризис демократии» и «зависшие» демократизации

Введение

В 1975 г., 40 лет назад, был опубликован сразу же получивший известность доклад Трехсторонней комиссии «Кризис демократии», написанный М. Крозье, С. Хантингтоном, и Д. Ватануки¹. Авторы писали о дисфункции институтов государственного управления и растущей угрозе неуправляемости от «избытка» демократического участия в развитых странах Запада, о «перегрузке» демократии и ее «экспессах». С тех пор тема кризиса современной либеральной демократии и ее самых различных «болезней» вновь и вновь оказывается в фокусе идейных и политических дискуссий, особенно после разочарований от несбывшихся иллюзий и надежд на глобальное торжество «третьей волны демократизации», провозглашенной тем же С. Хантингтоном в самом начале 1990-х годов.

Юбилейный номер существующего уже 25 лет *Journal of Democracy* устами своего главного редактора задается вопросом: «Демократия в упадке?»². Известная американская организация «Freedom House» в своем ежегодном докладе за 2015 г. прямо утверждает: «Демократия находится в обороне в Европе и Евразии»³. Российский Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) в приуроченном к 40-летию упомянутого доклада Трехсторонней комиссии сборнике статей российских и зарубежных авторов «Демократии XXI века: смена парадигмы» пишет о растущем списке «несовершенств», «перегибов» и «парадоксов» демократии, предупреждая против ее «сакрализации»⁴. Примеры такого рода, причем, обосновываемые с очень различных, подчас диаметрально противоположных идейных и политических позиций, можно приводить сколь угодно много...

Действительно, демократию сегодня часто и много критикуют. Впрочем, как и всегда — по крайней мере, со времен Платона, Аристотеля и Полибия и до А. Токвиля и М. Вебера множатся аргументы о всевозможных изъянах демократического правления и «кризисе демократии». Но как таковой *кризис* — это естественное состояние демократии. Демократия всегда живет и развивается *через преодоление своих кризисов* — политических, идейных, ценностных, институциональных и др. Не стоит поэтому думать, что и обильно раздающиеся сегодня обвинения демократии в самых разных «изъянах» и «грехах» — что-то

экстраординарное. Другое дело, что нужно разобраться в их реальных мотивах и используемых аргументах. Без этого непонятыми останутся и реальные — и очень разные (*NB!*) — интересы всех тех, кто сегодня говорит о «кризисе демократии», о ее «дефиците» или «излишестве», критикует ее недостатки ради их исправления или же, напротив, стремится к ее девальвации как ценности и практики.

Критика и самокритика демократии

В самом деле, за последние десятилетия либеральная демократия в качестве нормативной идеи и реальных практик была и остается объектом как мучительной внутренней «самокритики» с целью преодоления свойственных ее развитию кризисов, так и все более интенсивной и зачастую утонченной «внешней» критики с целью ее ценностного «размывания» и подмены разнообразными субститутами. Достаточно эффективное приспособление современных автократий к идейному и институциональному контексту после подъема «третьей» волны (и даже «четвертой» и «пятой» волн — если говорить о посткоммунистических и постсоветских трансформациях, разнородных «оранжевых революциях» и неоднозначных событиях «арабской весны») демократизации, выявившаяся относительная устойчивость недемократических политических порядков в современном мире — все это становится еще одним мощным фактором, используемым для дискредитации как реально существующих демократий, так и трудных и далеко не всегда успешных попыток строительства новых демократических институтов и практик.

Подчеркнем еще раз, что *критическая саморефлексия* — это характерное свойство демократической делиберации как таковой. Да и сами авторы упомянутого выше доклада «Кризис демократии» (1975) вовсе не были противниками либеральной демократии — напротив, они как раз самокритично фиксировали ее проблемы и предлагали те или иные рецепты их решения (насколько эффективные — другой вопрос). И в этом они были не одиноки. В том же 1975 г. Ю. Хабермас с тревогой пишет о кризисе легитимности институтов современной демократии⁵. С конца 1990-х годов многие авторитетные исследования вскрывают все новые проблемы, каждая из которых может свидетельствовать о том или ином «кризисе демократии». Б. Манен, например, предупреждает о кризисе институтов демократического представительства и об угрозе их перерождения в «аудиторную демократию»⁶. К. Крауч вводит в оборот концепт «пост-демократии»⁷, указывая на разрыв между формаль-

ными демократическими институтами, которые все хуже воплощают волю масс, и реальной властью олигархических элит. Даже корифей транзитологии А. Пшеворский предупреждает о реальных пределах демократического самоуправления⁸. Л. Морлино поднимает одну из ключевых проблем в современных дискуссиях о демократии и демократизации: каков, условно говоря, демократический «инвариант» для всех существующих сегодня различных моделей реальной, но не имитационной демократии, и как постепенно достичь все более высоких уровней в ходе роста демократических «качеств»⁹.

В общем и целом, диагноз этого авторитетного «консилиума» вряд ли может вызывать сомнения: современная либеральная демократия стоит перед чередой очень серьезных вызовов, если угодно — «кризисов», через преодоление которых только и возможно ее развитие и совершенствование¹⁰. Это, если обобщить, такие ее нынешние проблемы, как кризис эффективности демократических институтов, кризис демократических авторитетов и легитимности, кризис демократического представительства, кризис партий и партийных систем, кризис коммуникации групп и интересов и, конечно, кризис, вызванный «зависшими» и неудавшимися демократизациями и устойчивостью старых и появлением новых альтернативных — недемократических и относительно успешных — моделей политических и экономических порядков (характерные примеры — Китай, Казахстан, но не только).

Но наряду с этой внутренней и вполне конструктивной «самокритикой» современной демократии в последнее время получает все большее распространение также ее новая *критика «извне»*, т.е. с совсем иных политических и идеологических позиций. Особенно в этом отношении выделяется набор аргументов, оправдывающих интересы старых и новых номенклатурных «победителей» и обосновывающих «зависшие» посткоммунистические трансформации, а также и попятные движения к старым и новым автократиям. Среди таких подходов, лишь внешне и отчасти повторяющих мотивы демократической «самокритики», но фактически требующих не их преодоления в рамках развития собственно демократических идей и практик, а напротив — фактически дисквалификации либеральной демократии как таковой, выделяются следующие:

«Релятивизация» демократии и размывание ее «инварианта». Это едва ли не самая распространенная модель критической аргументации, в соответствии с которой основной упор сделан на тезис о существовании специфически очень разных — и практически несравнимых друг с другом — моделей «демократического устройства», обусловленных

историческими, национальными, социально-политическими и экономическими обстоятельствами, стечение которых объясняет появление демократий «с прилагательными» («народно-демократическая», «суверенная», «нелиберальная», «управляемая» и пр.). «Электоральная» демократия здесь практически растворяется в «электоральном авторитаризме». В этом случае вопрос о демократическом «инварианте» (реальная политическая конкуренция, подотчетность и сменяемость власти, независимость ветвей власти, свобода информации и объединений и др.) фактически снимается или уходит на второй план.

«Незападные» демократии. Еще одна мощная группа аргументов, в основе которых противопоставление, с одной стороны, индивидуалистических и «конфликтных» («Запад»), а с другой — коллективистских и «консенсусных» («Восток») социально-политических порядков, причем и те, и другие трактуются как принципиально различные модели, но — обе по-своему «демократические». Понятно, что здесь критически важный вопрос о демократическом «инварианте» (см. выше) просто не стоит.

Искушение «авторитарной модернизации». Действительно, это очень сильное политическое и интеллектуальное искушение думать, что демократизация может прийти после успешной социально-экономической модернизации, спускаемой и навязываемой «сверху», тем более что примеры, в частности из Юго-Восточной Азии, это, казалось бы, подтверждают. Но на самом деле это драматические примеры индустриальных прорывов из доиндустриальной эпохи, которая, по крайней мере в европейском мире, была преодолена намного раньше. Современный постиндустриальный мир требует для своего развития совсем другого — раскрепощения творческих инициатив «снизу», что невозможно в условиях автократий. Отсюда — и объективные ограничения потенциала авторитарной модернизации «сверху», практически неприемлемого сценария для современного экономического и социального развития. Смысл продвижения этого сценария в тех или иных формах сегодня преимущественно лишь в дополнительных политических и идеологических аргументах против вектора демократизации.

«Цивилизационная исключительность». Как правило, эта линия аргументации связана и дополняет тезис о «незападных демократиях»: мы — «другие», «особые», «не такие, как все». Поэтому и демократия у нас «особая», к ней неприменимы общие правила и критерии. И, в частности, как следствие — вообще неправильно, да и нет возможности сравнивать и ранжировать специфические национальные демократии по каким-либо общим параметрам.

«*Rally 'Round the Flag*». Фактически этот популярный тезис о «единении под флагом» снимает демократию и демократизацию с повестки дня: в ситуации обострившихся внешних и внутренних угроз главный приоритет заключается в общественной и политической консолидации ради сохранения и поддержания суверенитета и независимости. Эта широко распространенная в мире аргументация может проблематизировать национальное демократическое развитие, если она используется в ситуации не реальных, а вымышленных угроз для национального существования. Призывы к консолидации могут быть использованы как аргумент против демократических институтов и процедур.

«*Государство превыше всего*». В теоретическом и практическом планах это, вероятно, один из самых сильных аргументов, который может быть обращен против приоритета демократии и демократизации. Общепринятым в науке и практике является положение о том, что «без государства нет демократии». Однако следствия из него могут быть разными. Ключевых вопросов здесь два: во-первых, есть ли (и какова) при становлении новых демократий последовательность в строительстве эффективных институтов государственного управления и демократических институтов и практик (так называемая проблема «*Sequencing*»), и во-вторых, есть ли (и каковы) параметры и критерии «сильного» государства как предполагаемого условия демократического правления?

Как говорилось выше, за этой критикой либеральной демократии стоят разноплановые факторы. Это и четко проявившаяся приспособляемость современных автократий к новому внутреннему и международному контексту, в том числе вполне умелое использование демократических по форме институтов (партии, выборы, легислатуры) для стабилизации и продления авторитарного правления. И стремление обосновать и оправдать «зависшие» и обратившиеся вспять попытки демократизации «третьей волны». Но также сложные проблемы и непростые дилеммы, перед которыми стоят современные реальные демократии. Понятно, что их много, но можно выделить, как минимум, четыре ключевые проблемы, которые интенсивно обсуждаются в современной литературе:

Во-первых, *взаимосвязь демократии и модернизации*, в том числе экономического развития. По этой уже классической для политической науки проблеме существует множество эмпирических и теоретических дискуссий, в рамках которых, в частности, предлагаются и обосновываются разные аргументы в отношении причинных связей между экономическим ростом и режимными характеристиками (например, тезис о том, что автократии в определенных случаях могут обеспечить

экономический рост). Тем не менее современные эмпирические исследования показывают, что *ceteris paribus* в демократиях экономические показатели выше, чем в диктатурах¹¹. Это же относится к снижению остроты социальных конфликтов, повышению качества жизни и развитию человеческого капитала — демократии здесь лидируют. Вместе с тем относительно проблемы неравенства в демократиях и других режимах ясности меньше.

Во-вторых, *последовательность реформ* и преобразований в ходе демократизации (проблема «*Sequencing*»). Является ли создание «сильного» государства предпосылкой и предварительным условием для последующего строительства демократических институтов или оба процесса могут идти параллельно? И что делает государство «сильным» — силовой потенциал или качественные институты, позволяющие успешно выполнять основные функции современного социального государства? По этим вопросам в литературе нет единства, дискуссии продолжаются¹².

В-третьих, *условия и пределы демократизации*. Это по-прежнему один из наиболее спорных теоретических и практических вопросов. Традиционно, по крайней мере с конца 1950-х годов, считалось (С. Липсет, Б. Мур, Г. Алмонд и С. Верба и др.), что демократия произрастает только из определенного набора структурных предпосылок — уровни экономического развития, появление класса буржуа, распространение политической культуры «гражданского» типа и др. С подъемом «третьей» волны демократизации получил распространение иной подход, в соответствии с которым демократию можно не «выращивать», а успешно «строить» в соответствии с определенным институциональным дизайном (Г. О’Доннелл, Ф. Шмиттер, А. Пшеворский и др.). Сравнительные исследования последнего времени на широком эмпирическом материале и с использованием современных статистических методов свидетельствуют скорее в пользу второго подхода — стратегические решения политических акторов могут способствовать созданию демократических институтов даже в неблагоприятных условиях, но, как показывает практика, не всегда и не везде¹³.

Какие же обстоятельства в таком случае создают непреодолимые препятствия для демократизации? На этот счет тоже нет единства, но в литературе выделяют, в частности, ситуации острых этнических, религиозных и иных расколов, гражданских войн и «несостоятельных государств», нищеты большинства населения, «ресурсной иглы», революционных режимов, однопартийных режимов в ситуации экономического роста и др.¹⁴. При этом решающим фактором, способствующим

щим или препятствующим продвижению к демократии, выступают все же стратегические решения ключевых политических акторов.

В-четвертых, соотношение и *взаимосвязь между демократией (и другими политическими режимами) и качеством институтов*, прежде всего — институтов государственного управления¹⁵. В последнее время эта проблематика вышла на передний план сравнительных исследований. Имеющиеся научные результаты позволяют говорить о четко выявленной зависимости между демократиями и высоким качеством институтов (верховенство закона, контроль над коррупцией, соблюдение прав собственности и контрактов, эффективное регулирование и др.)¹⁶. Вместе с тем сохраняются серьезные разногласия в отношении качества институтов в автократиях. Некоторые эмпирические исследования свидетельствуют в пользу аргумента о так называемом *J-curve* (самое высокое качество институтов достигается в развитых демократиях, но и в автократиях типа Сингапура эти уровни относительно высоки — по крайней мере, намного выше, чем в переходных и гибридных режимах)¹⁷. С другой стороны, наши собственные исследования свидетельствуют об обратном, по крайней мере на постсоветской выборке: постсоветские автократии не обладают качественными институтами государственного управления¹⁸.

Возникает вопрос: почему это так? В поисках ответа мы далее (а) проверяем наши выводы, полученные ранее на постсоветской выборке, на выборке всех посткоммунистических (или «экс»-коммунистических) стран, (б) используем предложенную нами в предшествующих работах аналитическую модель «Царя горы» для объяснения, почему постсоветскому автократу не нужны хорошие институты, и (в) предлагаем сценарии, наиболее выгодные с точки зрения его рационального выбора, возможных стратегических решений в отношении сохранения *«status quo»* или частичных реформ, направленных на улучшение качества институтов государственного управления.

При этом, имея в виду поставленный выше вопрос о «зависших» демократизациях, мы учитываем выводы целого ряда современных исследований о том, что едва ли не главная причина демократических «откатов» последнего времени заключается как раз в слабом качестве управленческих институтов, в *«Bad Governance»*¹⁹.

Качество институтов в «зависших» демократизациях

В нашем эмпирическом исследовании взаимосвязи качества институтов и уровней демократии-автократии в посткоммунистических стра-

нах мы опираемся на данные «*World Governance Indicators*» (проект Всемирного банка) и «*Freedom House*» (в обоих случаях — за 2014 г.). Данные и методологии обоих проектов подвергаются разного рода критике, в том числе справедливой, однако в настоящее время это наиболее распространенные в научной и аналитической литературе индексы, и в данном случае мы считаем оправданным их использование в аналитических целях. Из шести индексов *WGI* мы используем пять, в наибольшей степени отражающих качество институтов государственного управления — Политическая стабильность и отсутствие насилия; Эффективность и качество государственного управления; Качество государственной поддержки развития частного сектора; Верховенство права и закона и Контроль над коррупцией. Шестой индекс — Свобода слова и подотчетность властей — в значительной мере пересекается с индексами Политических прав и Гражданских свобод *FH* и поэтому исключается из анализа, чтобы по возможности избежать проблемы эндогенности.

Заметим, что индексы *WGI* в значительной мере воплощают и основываются на нормативном идеале «хорошего управления» (*Good governance*), предложенного Всемирным банком в качестве общей цели и критерия оценки институционального состояния и динамики, прежде всего в развивающихся странах. Однако уже с начала 2000-х годов в академическом и экспертном сообществах растет скептицизм в отношении универсальности и практической достижимости институционального качества «*Good governance*» в странах догоняющего развития. В этой связи предлагается концепция «*Good enough governance*» в качестве более реалистичного институционального ориентира для развивающихся стран²⁰. Мы ниже рассмотрим этот вопрос более подробно.

Приведенная на рис. 1 диаграмма рассеяния на посткоммунистической выборке убедительно демонстрирует прямую линейную (а вовсе не типа *J-curve*) зависимость между уровнями демократии и качеством институтов²¹. «Свободные» (по классификации *FH*) страны являются лидерами институционального качества; «несвободные» обладают институтами наихудшего качества (*Bad governance*), а «частично свободные» («гибридные режимы») располагаются, условно говоря, посередине.

Заметим при этом, что в соответствии с предложенной выше схемой «несвободные» страны (и в определенной мере «частично свободные») — это как раз те, которые по тем или иным причинам либо «зависли» в процессах демократизации, либо пошли по попятным траекториям («назад к автократии» — старого или нового «мимикрирующего» типа), либо фактически так и не приступали к реальной демократизации. Чем это можно объяснить?

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

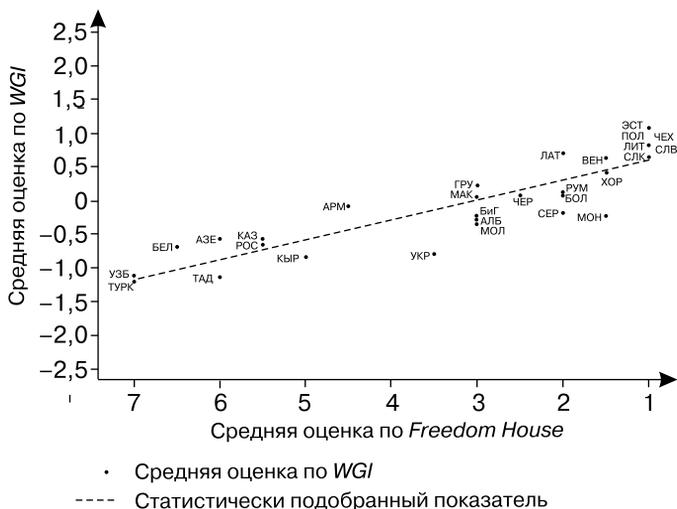


Рис. 1. Диаграмма рассеяния: качество институтов (*WGI*) и уровни демократии-автократии (*FH*)

Сокращения: АЗЕ — Азербайджан, АЛБ — Албания, АРМ — Армения, БЕЛ — Белоруссия, БиГ — Босния и Герцеговина, БОЛ — Болгария, ВЕН — Венгрия, ГРУ — Грузия, КАЗ — Казахстан, КЫР — Кыргызстан, ЛАТ — Латвия, ЛИТ — Литва, МАК — Македония, МОЛ — Молдова, МОН — Монголия, ПОЛ — Польша, РОС — Россия, РУМ — Румыния, СЕР — Сербия, СЛВ — Словения, СЛК — Словакия, ТАД — Таджикистан, ТУРК — Туркменистан, УЗБ — Узбекистан, УКР — Украина, ХОР — Хорватия, ЧЕР — Черногория, ЧЕХ — Чехия, ЭСТ — Эстония

Как представляется, именно особенности институциональных трансформаций и стоящие за ними реальные интересы являются здесь очень важным фактором. Конечно, как уже отмечалось выше, скорее всего, существуют и своего рода «заградительные барьеры», препятствующие демократизации (предельно низкие уровни социально-экономического развития, крайне острые этнополитические, религиозные и иные расколы вплоть до гражданских войн, «ресурсное проклятие» и др.). И тем не менее именно обращение к анализу институтов и интересов, объективно препятствующих демократизации, позволяет лучше понять особенности траекторий трансформаций целой группы стран, находящихся в фокусе нашего внимания.

Для объяснения низкого качества институтов и в целом ситуации «*Bad governance*» в посткоммунистических автократиях мы предлагаем

4.3. «Кризис демократии» и «зависшие» демократизации

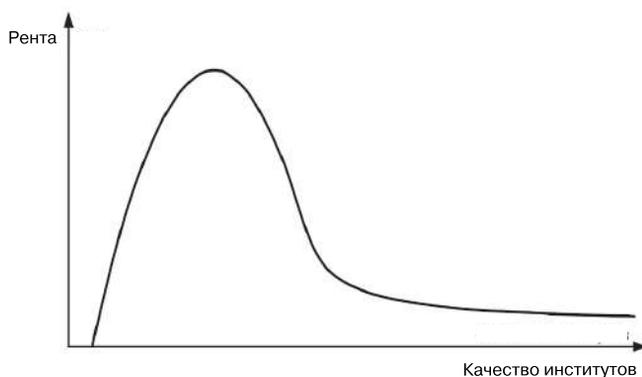


Рис. 2. Модель «Царя горы»: экономическая и политическая рента vs качество институтов

модель «Царя горы» (рис. 2)²², которая демонстрирует обратную зависимость между качеством институтов и извлечением экономической и политической ренты.

В свое время Дж. Хеллман обратил внимание на особую угрозу для демократизации, которая заключается в позиции «ранних победителей», т.е. тех представителей старой и новой номенклатуры, которые смогли воспользоваться благами приватизации и получили доступ к экономической ренте. В соответствии с так называемой «кривой Хеллмана» у них просто нет мотивов и интересов для продолжения реформ, поскольку их вполне устраивает сложившийся «*status quo*»²³. Модель «Царя горы» развивает эту логику, вводя в рассмотрение не только экономическую, но и политическую ренту. Участие в политической ренте становится обязательным условием для извлечения ренты экономической. При этом доминирующие акторы не заинтересованы в улучшении качества институтов, поскольку это может вести к подрыву их политической и экономической монополии.

Вместе с тем ситуация авторитарного равновесия, казалось бы, достигнутая в рамках модели «Царя горы», не является устойчивой — ей могут угрожать самые разнообразные внутренние (по отношению к режиму) и внешние факторы. Поскольку извлечение ренты составляет основу данного равновесия, очевидной угрозой является эрозия ресурсов, прежде всего снижение мировых цен на нефть и газ. В результате может произойти радикальное сокращение ресурсов, используемых

для перераспределения в целях покупки лояльности ключевых элитных групп и населения в целом. В свою очередь такой сценарий может повлечь за собой поворот к более репрессивной политике и поиску иных (неэкономических) способов режимной легитимации в расчете на сохранение «*status quo*». Другой важный фактор потенциальной неустойчивости связан с общей и фундаментальной проблемой авторитарного правления — неопределенностью во взаимоотношениях доминирующих акторов с различными элитными группами внутри самого режима, угрозой их нелояльности и участия в конкуренции за власть, вплоть до переворотов. Как свидетельствует современная история, массовый протест, вызванный разными причинами (от реакции на манипулирование выборами до недовольства экономическим положением), тоже может приводить к крушению автократии. Наконец, общее ухудшение экономической ситуации в свою очередь может побудить ключевых игроков к неизбежному поиску альтернативных стратегий — от усиления жесткости режима до кооптации представителей оппозиционных групп и перехода к частичным реформам²⁴.

Каков же диапазон возможных альтернативных решений в ситуации угроз для авторитарного равновесия, основанного на монополии экономической и политической ренты и институтах низкого качества, и каковы их вероятные последствия?

Варианты стратегий

Рассматривая теоретически возможные альтернативные стратегии в рамках модели «Царь горы» и их вероятные результаты (рис. 3), мы, в частности, стремимся определить наиболее оптимальные решения исходя из позиции рационального выбора доминантного актора. С точки зрения методологии отправным пунктом здесь являются варианты его взаимодействий с различными группами внутри режима («консерваторы»/«реформаторы») и в оппозиции («радикалы»/«умеренные»). Эти группы основных «игроков» были выделены еще А. Пшеворским в его ставшей классической работе «Демократия и рынок»²⁵, которая в данном отношении развивает линию аргументации Г. О'Доннелла и Ф. Шмиттера²⁶. С этой точки зрения исходы «игр демократизаторов» зависят от соотношения сил между указанными группами и принимаемыми ими стратегическими решениями²⁷.

В предлагаемой нами игровой модели исследовательский фокус иной — не возможные действия «демократизаторов» в условиях разных соотношений сил между «игроками», а варианты наиболее оптималь-

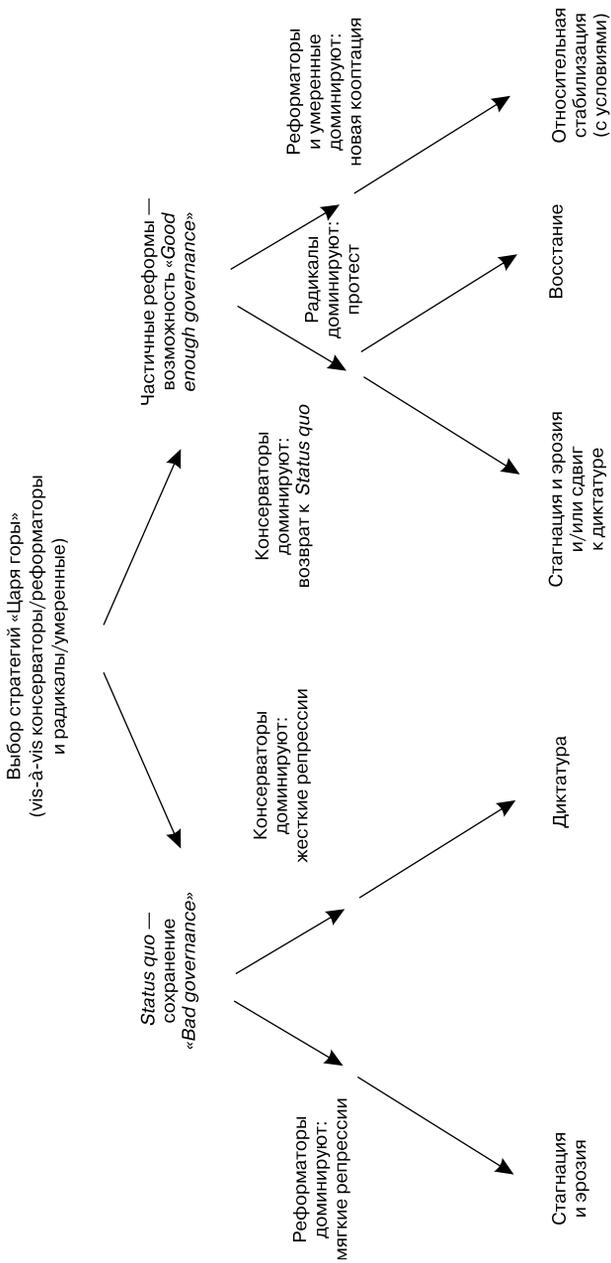


Рис. 3. Выбор стратегий «Царя горы» и их возможные последствия

ных решений доминантного актора и их последствия, с точки зрения целей обеспечения стабильности режима и его долговременной устойчивости.

Принципиальных решений здесь два — либо (а) попытки сохранения авторитарного равновесия, основанного на экономической и политической ренте и «плохих» институтах, либо (б) переход к частичным реформам ради улучшения качества институтов, которые в тенденции могли бы привести к «*Good enough governance*». Эти частичные реформы даже не обязательно предполагают политическую либерализацию и демократизацию, поскольку их цель состоит в нахождении новых ресурсов и инструментов для сохранения авторитарного равновесия в ситуации внешних и внутренних угроз. Парадокс в том, что ради сохранения стабильности режима оптимальным решением может стать частичное улучшение качества институтов, что в тенденции увеличивает неопределенность и конкуренцию.

Первый стратегический выбор в пользу неизменности «*status quo*» получит безоговорочную поддержку «консерваторов» и будет встречен с сомнениями и даже возможными опасениями со стороны «реформаторов». «Умеренные» и «радикалы», естественно, останутся в оппозиции. Последствия такой стратегии при условии в целом слабой оппозиции будут преимущественно зависеть от баланса сил между «консерваторами» и «реформаторами». При доминировании «реформаторов», даже если частичные реформы отменены из-за выбора стратегии «*status quo*», это приведет к продолжению «мягких» репрессий и «*Bad governance*», в конечном счете ведущему к стагнации и эрозии режима по «советскому образцу».

Преимущество режимных «консерваторов» и выбор доминантного актора в пользу «жестких» шагов может привести к установлению диктатуры, что является достаточно «дорогим» решением с точки зрения внешней и внутренней легитимности режима, даже не говоря о его социально-экономической эффективности. К тому же, в логике этого сценария, нельзя исключать возможность появления более «жесткого» альтернативного претендента на лидерство — своего рода идеологического «пуриста», что не в интересах ключевых игроков.

Второе теоретически возможное стратегическое решение ключевых игроков может, напротив, предполагать частичные реформы и улучшение качества институтов ради сохранения основ режима. Последствия такого решения в соответствии с предложенной игровой моделью будут также во многом зависеть от баланса сил внутри режима и в оппозиции. В ситуации доминирования режимных «консерваторов» и блокирования ими даже частичных реформ результа-

том скорее всего станет возврат к стратегии *«status quo»*, что, как было показано выше, приводит либо к стагнации и эрозии режима, либо к установлению диктатуры.

В случае маловероятного, но в принципе все же возможного превосходства «радикалов» в оппозиции как над «умеренными», так и над «консерваторами» и «реформаторами», исходом станет массовый протест, способный привести к восстанию. Такой вариант, особенно в случае применения насилия, является, как свидетельствует история, наихудшим с точки зрения перспектив демократизации. В то же время ненасильственный протест, ведущий к массовой мобилизации, способен привести к смене режима²⁸, что по определению недопустимо с точки зрения доминантных игроков.

Наконец, если преимущество на стороне режимных «реформаторов» и оппозиционных «умеренных», и они получают поддержку со стороны ключевого актора, могут появиться совсем новые политические возможности. Они могут привести к кооптации новых лидеров и групп, находящихся вне режима, и к частичным реформам, направленным на улучшение качества институтов государственного управления, обеспечение верховенства закона, реального разделения и подотчетности властей, ограничение коррупции, соблюдение прав собственности и др. Такая траектория может способствовать продвижению к *«Good enough governance»* — и, как ни парадоксально, одновременно к относительной стабилизации режима. Конечно, подобное стратегическое решение потребует от принимающих решения лиц незаурядных усилий по нахождению баланса между осуществляемыми институциональными реформами и обеспечением стабильности, так чтобы они не привели к подрыву авторитарической власти. Тем не менее с точки зрения рационального выбора именно этот путь представляется оптимальным — с учетом описанных выше угроз для политического равновесия.

Понятно, что такой сценарий может показаться отнюдь не идеальным для игроков, стремящихся к политической и экономической монополии. И даже в неблагоприятных экономических и иных условиях у него может быть искушение не идти на реформы и пользоваться рентой, пусть даже сокращающейся, при сохранении институтов плохого качества. Однако цена таких решений может оказаться чрезмерной как для доминантных игроков, так и для режима.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные аспекты проблемы так называемого «кризиса демократии», в том числе в контексте «зависших» де-

мократизаций «третьей волны» и попятных трансформаций в направлении авторитаризма. Как таковые, кризисы разного рода являются естественным состоянием демократии, а их преодоление — органическим способом демократического развития. «Самокритика» демократии как раз и нацелена на выявление проблемных и кризисных моментов и поиск их разрешения. Совсем другие мотивы и интересы стоят за разнообразными вариантами критики самой демократии как ценностной нормы и реальной практики. В частности, это попытки оправдать и «зависшие» демократизации, и появившиеся новые автократии.

Проведенный эмпирический анализ показывает, что по крайней мере на выборке посткоммунистических стран не подтверждается достаточно популярный в современной литературе аргумент *J-кривой* («хорошие» институты в авторитарных режимах). Причины отсутствия институтов государственного управления хотя бы относительно высокого качества в посткоммунистических автократиях были объяснены нами с использованием модели «Царя горы», в соответствии с которой у режима, основанного на монопольном доступе к политической и экономической ренте, нет мотивов и интересов для улучшения институтов. Вместе с тем предложенный нами анализ вариантов его стратегических решений приводит к выводу о том, что с точки зрения рационального выбора наиболее оптимальный вариант для относительной стабилизации режима в ситуации усиления внешних и внутренних угроз и эрозии его ресурсной базы заключается как раз в частичных реформах, нацеленных на улучшение качества институтов. В дальнейшем мы предполагаем расширить выборку анализируемых стран и провести сравнительное эмпирическое исследование эффективности различных реальных стратегий авторитарных правителей в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры.

Примечания

¹ Crozier M., Huntington Samuel P., Watanuki J. The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. N.Y.: New York University Press, 1975.

² Plattner M. Is Democracy in Decline? // Journal of Democracy. 2015. No 26 (1). P. 5.

³ URL: <https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2015#.VZlzzmwVj3g>.

⁴ Демократии XXI века: смена парадигмы. М.: ИСЭПИ, 2015. С. 6–7.

⁵ Habermas J. Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 1975.

⁶ Manin B. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

⁷ *Crouch C.* Post-Democracy. Cambridge: Polity Press, 2004.

⁸ *Przeworski A.* Democracy and the Limits of Self-Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

⁹ *Morlino L.* Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes. Oxford: Oxford University Press, 2012.

¹⁰ *Merkel W.* Is There a Crisis of Democracy? Can We Answer the Question? // Paper for delivery at the 2013 Annual Meeting of the APSA. 2013. August 29 — September 1.

¹¹ *Przeworski A., Alvarez M. E., Cheibub J., and Limongi F.* Democracy and Development. N.Y.: Cambridge University Press, 2000; *Epstein D. L., Bates R., Goldstone J., Kristensen I., and O'Halloran S.* Democratic Transitions // American Journal of Political Science. 2006. No 50 (3); *Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., and Robinson J. A.* Democracy Does Cause Growth // NBER Working Paper 20004. March 2014. URL: <http://www.nber.org/papers/w20004>; *Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., and Robinson J. A.* Democracy, Redistribution and Inequality // NBER Working Paper 19746. December 2013. URL: <http://www.nber.org/papers/w19746>; *Gerring J., Bond Ph., Barndt W. T., and Morenó C.* Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective // World Politics. 2005. No 57. P. 323–364; *Gerring J., Thacker S. C., and Alfaro R.* Democracy and Human Development // The Journal of Politics. 2012. No 74 (1); *Barro R. J.* Determinants of Democracy // The Journal of Political Economy. 1999. No 107 (6).

¹² *Mansfield E., and Snyder Jack J.* The Sequencing “Fallacy” // Journal of Democracy. 2007. No 18 (3); *Carothers T.* Misunderstanding Gradualism // Journal of Democracy. 2007. No 18 (3); *Moller J., Skaaning S.-E.* Stateness First? // Democratization. 2011. No 18 (1); *Fortin J.* Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity in Post-Communist Countries // Comparative Political Studies. 2011. No 45 (7); *Back H., Hadenius A.* Democracy and State Capacity: Explaining a J-Shaped Relationship // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2008. No 21 (1); *Carbone G., Memoli V.* Does Democracy Foster State Consolidation? // A Panel Analysis of the “Backwards Hypothesis”. 2012. URL: http://www.sociol.unimi.it/papers/2012-04-19_G.%20Carbone%20e%20V.%20Memoli.pdf; Democracy in a Russian Mirror / Ed. by A. Przeworski. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

¹³ *Hadenius A., Teorell J.* Pathways From Authoritarianism // Journal of Democracy. 2007. No 18 (1); *Teorell J., Gadenius A.* Determinants of Democratization: Taking Stock of the Large-N Evidence // Dirk Berg-Schlosser (ed.). Democratization. The State of the Art. Opladen and Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2007; *Teorell J.* Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 1972–2006. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

¹⁴ Исследований на этот счет множество; из последних значимых выводов см., напр.: *Levitsky S., Way L.* The Myth of Democratic Recession // Journal of Democracy. 2015. No 26 (1).

¹⁵ *Diamond L.* Facing Up to the Democratic Recession // Journal of Democracy. 2015. No 26 (1). P. 148.

¹⁶ *Charron N., Lapuente V.* Does Democracy Produce Quality of Government? // *European Journal of Political Research*. No 49; *Croissant A., Wurster Stefan.* Performance and Persistence of Autocracies in Comparison: Introducing Issues and Perspectives // *Contemporary Politics*. 2013. No 19 (1).

¹⁷ *Back H., Hadenius A.* Democracy and State Capacity: Explaining a J-Shaped Relationship // *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 2008. No 21 (1).

¹⁸ *Мельвиль А., Стукал Д., Миронюк М.* «Царь горы», или Почему в посткоммунистических автократиях плохие институты // *Полис*. 2013. № 2; *Melville A., Stukal D., Mironyuk M.* “King of the Mountain”, or Why Postcommunist Autocracies Have Bad Institutions” // *Russian Politics and Law*. 2014. No 53 (2); *Melville A., Mironyuk M.* “Bad Enough Governance”: State Capacity and Quality of Institutions in Post-Soviet Autocracies // *Post-Soviet Affairs*. (published online 19 June 2015).

¹⁹ *Fukuyama F.* Why is Democracy Performing So Poorly? // *Journal of Democracy*. 2015. No 26 (1).

²⁰ *Grindle M. S.* Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries // *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 2004. No 17 (4); *Andrews M.* Good Governance Means Different Things in Different Countries // *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 2010. No 23 (1); *North D. C., Wallis J. J., Webb S. B., Weingast B. R.* Limited Access Orders: Rethinking the Problems of Development and Violence // *Policy Research Working Paper 4359*. 2011. URL: http://econweb.umd.edu/~wallis/MyPapers/Limited_Access_Orders_in_the_Developing_World-WPS4359.pdf; *Evans M.* Beyond the Integrity Paradox — Towards ‘Good Enough’ Governance? // *Policy Studies*. 2012. No 33 (1). P. 97–113; *Is Good Governance Good for Development? / Jomo Kwame Sundaram, and Anis Chodhury (eds). L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2012.*

²¹ Вместе с тем необходимо признать, что само наличие этой зависимости ничего не говорит о направлении причинности: существующие в настоящее время исследования не позволяют сделать вывод о том, влияют ли характеристики режима на качество институтов управления, или наоборот (и даже есть некая «третья причина», о которой мы не знаем).

²² См.: *Мельвиль А., Стукал Д., Миронюк М.* «Царь горы», или Почему в посткоммунистических автократиях плохие институты // *Полис*. 2013. № 2; *Melville A., Stukal D., Mironyuk M.* “King of the Mountain”, or Why Postcommunist Autocracies Have Bad Institutions” // *Russian Politics and Law*. 2014. No 53 (2); *Melville A., Mironyuk M.* “Bad Enough Governance”: State Capacity and Quality of Institutions in Post-Soviet Autocracies. *Post-Soviet Affairs* (published online 19 June 2015).

²³ *Hellman J. S.* Winners Take All. The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions // *World Politics*. 1998. No 50 (2).

²⁴ Варианты стратегий автократа в условиях экономического спада представляют собой пока что слабо разработанное, но крайне важное и перспективное поле для сравнительных исследований. См., в частности: *Tanneberg D., Stefes C., Merkel W.* Hard Times and Regime Failure: Autocratic Responses to Economic Downturns // *Contemporary Politics*. 2013. No 19 (1).

²⁵ *Przeworski A.* Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

²⁶ *O'Donnell G., Schmitter Ph. C.* Transitions From Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

²⁷ Аналогичный подход успешно использует Дж. Браунли в своем анализе факторов и условий выживания современных неопатримониальных режимов. См.: *Brownlee J.* 'And Yet They Persist': Explaining Survival and Transition in Neopatrimonial Regimes // *Studies in Comparative International Development*. 2002. No 37 (3).

²⁸ Некоторые недавние примеры подобного развития событий приводятся в: *Bunce V., Wolchik Sh.* Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

4.4. Институциональные модели организации власти в полиэтнических обществах: варианты, проблемы и решения

Подавляющее большинство современных государств представляют собой полиэтничные политии. По статистике лишь около 20 стран относятся к категории этнически гомогенных, когда одна этническая группа составляет более 95% населения¹. При этом полиэтничность сама по себе, разумеется, совсем не обязательно требует трансформации институционального дизайна государственной власти. Более того, в идеально-типическом «национальном государстве» (*nation-state*), где доминирующее значение имеет национальная гражданская идентичность, этничность² выводится за рамки политики в частную сферу, и в политике члены этнической группы ведут себя как граждане. Эмпирическая реальность, конечно, всегда отклоняется от идеально-типических конструкций, хотя следует заметить, что в истории есть немало примеров, довольно сильно приближающихся к идеально-типической модели. Достаточно назвать американскую концепцию и практику «плавильного котла» или французскую «якобинскую» концепцию гражданства. Тем не менее в большинстве случаев отклонения от идеального типа *nation-states* были достаточно существенными, а в настоящее время есть все основания полагать, что политическое значение этничности, ее «проникновение в политику» возрастает³.

По всей видимости, именно этим объясняется тот факт, что и в российской, и зарубежной политической науке этнополитические

исследования привлекают все большее внимание. Для описания и осмысления отмеченной тенденции используются различные термины. Наряду с понятием «этническая политика» (этнополитика, *ethnic politics*), которое давно утвердилось и продолжает активно использоваться в политической науке⁴, в последние десятилетия появились новые концепты. Среди них — предложенный Д. Ротшильдом термин «этнизация политики»⁵, а также «политизация этничности», введенный в широкий оборот Д. Горовицем⁶. Нередко они используются как синонимы, и у них действительно есть нечто общее, так как оба термина указывают не столько на «состояние», сколько на процесс, связанный с изменением либо этничности («политизация»), либо политики («этнизация»). Тем не менее концептуально следовало бы развести эти категории хотя бы потому, что они схватывают разные моменты/траектории взаимодействия между политикой и этничностью.

Политизация этничности/этнизация политики — многослойное явление, в котором можно увидеть несколько составляющих. В рамках формирования и реализации политических курсов есть основания говорить о политизации этнических проблем/этнизации социальных проблем⁷. В контексте теории групп интересов политизация этничности проявляется в активном взаимодействии этнокультурных организаций с органами публичной власти. Еще одна грань политизации этничности/этнизации политики связана с процессами борьбы за власть, распределения властных позиций. Здесь речь идет о том, что в политических взаимодействиях члены этнической группы ведут себя не как граждане, а исходят из этнической групповой идентичности. Это проявляется в таких явлениях, как создание этнических партий⁸, этническое голосование⁹ и т.д. Вследствие этого политическое пространство (политический порядок) фрагментируется на этнополитические сегменты¹⁰.

Фрагментация политического порядка зачастую сопровождается этнополитическими конфликтами¹¹. Нередко этнополитические сегменты избирают сепаратистскую стратегию, стремясь отделиться от существующего государства и создать свое собственное. Однако значительно чаще они (по разным причинам) не выступают за отделение, а требуют политического признания своей «особости» в рамках существующего государства. Удовлетворение (в той или иной мере) этих требований предполагает существенные изменения в институциональной организации власти в обществе. Именно в этом случае возникает проблема, о которой идет речь в данной статье, — как трансформируется институциональная организация власти в условиях сегментации политического порядка? Каковы основные варианты, их сильные и слабые стороны?

В современной политической науке сложилось несколько теоретических (и по существу нормативных) подходов к решению проблемы институциональной организации власти в условиях сегментированного общества: 1) консоциативный (или аккомодационный) — модель *power-sharing*; 2) интеграционный; 3) модель *power-dividing*, которая предполагает адаптацию к полиэтническим обществам западных институциональных моделей разделения властей¹². Ключевые различия между ними суммированы С. Вольфом (табл. 1)¹³.

Таблица 1

Теоретические подходы к решению проблемы институциональной организации власти в условиях сегментированного общества

	Консоциативный подход	Интеграционный подход	<i>Power-dividing</i>
Принципиальные рекомендации	Межэтническая кооперация на элитном уровне поощряется институциональной структурой, требующей совместного принятия правилительственных решений	Межэтническая кооперация и модель поощряются электоральной системой, требующей получения голосов разных этнических групп	Формирование различных политических коалиций и сотрудничество между ними поощряются разделением властей (и системой сдержек и противовесов)
1. Территориальное устройство государства			
Гетерогенность или гомогенность федеративных единиц	Предпочтительны единицы, основывающиеся на самоуправляемых сообществах	Предпочтительны гетерогенные единицы	Предпочтительны гетерогенные единицы
Количество единиц в соотношении с этническими группами	Предпочтительны единицы, соответствующие этническим группам	Предпочтительно большее количество единиц, нежели число этнических групп	Нет связи между количеством групп и территориальных единиц
2. Композиция власти			
Система правления	Парламентская или президентская (но с ротацией должности президента)	Президентская	Президентская

Окончание табл. 1

	Консоциатив- ный подход	Интеграцион- ный подход	<i>Power-dividing</i>
Участие сегментов в правительственной власти	Да: гарантированное	Да, но без гарантий	Нет, за исключением переходной фазы после гражданской войны
Участие сегментов в законодательной власти	Да: гарантированное	Да, но без гарантий	Нет, за исключением переходной фазы после гражданской войны
Избирательная система (для парламента)	Пропорциональная (партийные списки или преференциальная)	Преференциально-мажоритарная	Плуральная
Судебная власть	Независимая и репрезентативная	Независимая	Независимая
Легальное закрепление	Да	Да	Да
3. Права и идентичности			
Индивидуальные vs групповые права	Комбинация индивидуальных и групповых прав	Акцент на индивидуальные права	Акцент на индивидуальные права
Признание различных идентичностей	Да, и частные и публичные имеют значение	Да, и частные и публичные имеют значение	Да, и частные и публичные имеют значение

Основополагающее значение для аккомодационного подхода имеет консоциативная теория демократии А. Лейпхарта¹⁴. Две ее базовые характеристики — участие сегментов в осуществлении власти (*power-sharing*) и автономия. «*Power-sharing* означает участие представителей всех значимых групп в принятии политических решений, особенно на правительственном уровне. Групповая автономия означает, что эти группы обладают властью в решении внутренних вопросов, особенно в области образования и культуры»¹⁵. Этот принцип дополняется такими институтами, как взаимное вето и пропорциональность представительства (на выборах, при назначении на посты в государственной службе и распределении общественных фондов).

Аккомодационный подход подвергается острой критике. С точки зрения теории демократии его критикуют в первую очередь за то, что эта модель, гарантируя участие во власти сегментам, устраняет (или, по крайней мере, существенно ослабляет) соревновательность политического процесса. Помимо этого, сегментарная композиция власти консервирует власть и снижает ее эффективность, ведет к ригидности правительства. Поскольку каждый сегмент должен быть в нем представлен и имеет право голоса (а порой и право вето), это снижает оперативность и в плане принятия решений, и с точки зрения реакции на предпочтения избирателей¹⁶.

С точки зрения теорий управления этнополитическими конфликтами главный аргумент оппонентов состоит в том, что консоциативные институциональные устройства приводят к акцентуации групповых различий и вследствие этого не устраняют причины конфликта между этническими сегментами, а напротив, даже усиливают их, в лучшем случае лишь на время приглушая остроту противоречий. В перспективе же это провоцирует политизацию все большего и большего количества этнических групп, и при этом возникает вопрос, кто будет решать, какие из сегментов должны быть представлены в органах власти¹⁷.

В противовес консоциативному Д. Горовицем был выдвинут интеграционный, или, как его часто называют, «центростремительный» (*centripetalism*), подход¹⁸. Признавая необходимость включения этнических сегментов во властные структуры, Горовиц полагает, что такое включение необходимо производить таким образом, чтобы ослаблять групповые идентичности, т.е. не фиксировать политическую фрагментацию, а стимулировать межгрупповые политические взаимодействия, контакты и коалиции. Так, не выступая против территориальной автономии и федерализма, поборники интеграционизма полагают, что необходимо «распылять» этнические группы по разным территориально-административным единицам, что должно препятствовать их замыканию в себе. Особое значение в качестве инструмента интеграции уделяется электоральным институтам. Для поощрения межгрупповых взаимодействий предлагается использовать не пропорциональный принцип, а такие избирательные системы, как преференциально-мажоритарную, альтернативное голосование и т.п., т.е. варианты, когда для избрания кандидату (партии) необходимо иметь поддержку за рамками какой-то одной группы¹⁹. Соответственно модель *power-sharing* в интеграционном подходе рассматривается скорее как «наименьшее зло», она может быть краткосрочным инструментом разрешения этнополитических конфликтов, но никак не долгосрочной моделью организации власти.

Еще одна альтернатива консоциативному подходу, прежде всего идее *power-sharing*, — модель разделения властей (*power-dividing*), — была предложена Ф. Редером и Д. Ротшильдом²⁰. В отличие от Горовица, они делают акцент не столько на интеграцию, сколько на создание институтов, подобных западной (в первую очередь американской) модели демократии, которая противодействует формированию одного большинства. Система сдержек и противовесов ведет к формированию различных вариантов большинства (*multiple majorities*), и ее реализация позволит добиться распределения власти в обществе так, чтобы не допустить концентрации политических ресурсов в руках одной этнической группы.

Таким образом, подходы Редера—Ротшильда и особенно Горовица в долгосрочном плане нацелены скорее на преодоление политического значения (деполитизацию) этничности, в то время как консоциативный подход, напротив, институционально закрепляет фрагментацию политического порядка. Как представляется, по существу здесь речь идет о переосмыслении фундаментальных принципов политического порядка современности, так как в противовес универсалистскому и моноцентричному государству-*state* предлагается существенно иной способ организации власти. Несмотря на то что он облекается в форму привычных властных институтов (парламенты, выборы и т.д.), такой способ в значительной мере противоречит принципу «государственной состоятельности» — *stateness*, т.е. способности государства быть единственным властным центром и в институциональном, и в культурном плане²¹.

* * *

Ключевое понятие для описания институциональных моделей власти в рамках консоциативной модели — *power-sharing*. Необходимо, однако, учитывать, что этот термин используется в разных смыслах. Во многом это связано с тем, что концепция Лейпхарта, хотя и применялась автором к полиэтничным обществам (*divided societies*), «выросла» из теории демократии, и в этом контексте *power-sharing* понимается без привязки к этническим сегментам, а как своего рода «картель элит», т.е. практика создания «больших коалиций» из всех основных политических сил — политико-идеологических течений (Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Австрия). Нередко исследователи еще больше расширяют понятие, обозначая как *power-sharing* любые институциональные устройства, которые обеспечивают включение различных политических сил в политические процессы, — парламентская модель, пропор-

циональное представительство, децентрализация и т.д.²². С другой стороны, понимание *power-sharing* как «картеля элит» нашло применение в казалось бы противоположном предметном поле — в исследованиях авторитарных режимов. В последние десятилетия сделан вывод, что устойчивые авторитаризмы требуют создания вокруг авторитарного правителя достаточно широкой коалиции элитных групп. Диктатор должен делиться (*share*) с ними властью, чтобы обеспечить поддержку. Для описания подобных авторитарных коалиций также используется термин *power-sharing*²³.

В рамках проблемы организации власти в этнически сегментированных обществах *power-sharing*, разумеется, понимается иначе. Здесь это отнюдь не любая элитная или партийная коалиция, а такая, которая предполагает включение всех значимых этнополитических сегментов в композицию власти. Многие авторы говорят не только о властных структурах, а — более широко — о распределении между этническими сегментами самых разных ресурсов, выделяя в модели *power-sharing* несколько измерений: 1) политическое (включение сегментов в органы власти); 2) территориальное (децентрализация — автономия территориальных единиц, где локализуются сегменты); 3) военное — включение вооруженных отрядов сегментов (поскольку речь идет о *power-sharing* как инструменте решения вооруженных конфликтов) в армию и в другие силовые структуры; 4) экономическое — обеспечение сегментов экономическими ресурсами (земля, контроль над месторождениями полезных ископаемых или получение ренты от их разработки и т.п.)²⁴. Такой вариант, на наш взгляд, чрезмерно растягивает понятие. Более продуктивным представляется предложенное группой исследователей во главе с Л.-Э. Цедерманом выделение двух моделей *power-sharing* — правительственной (*governmental*) и территориальной (*territorial*)²⁵. Рассмотрим их более подробно.

Один из признаков правительственной *power-sharing* — практика резервирования для этнополитических сегментов мест в парламенте (*parliamentary reserved seats*), достаточно широко распространенная в современном мире²⁶. Институциональные механизмы при этом варьируются в зависимости от того, какая избирательная система используется на парламентских выборах²⁷. Если парламент формируется по пропорциональному принципу, самый очевидный механизм — разрешить участвовать в выборах этническим партиям. Если на выборах принята мажоритарная система, используется особая нарезка избирательных округов (джерримендеринг) либо создаются «специальные округа» по экстерриториальному принципу, чтобы члены этнической

группы могли проголосовать за «своего кандидата» независимо от того, где они проживают. Наиболее радикальный способ обеспечения парламентского представительства этнических групп — квотирование, когда за данной этнической группой закрепляется заранее определенное количество мест в парламенте.

Тем не менее, на наш взгляд, гарантированное представительство этнополитического сегмента в парламенте недостаточно для реализации *power-sharing*, если представительство этнической группы в парламенте не влечет за собой их участие в правительственной власти. Иными словами, парламентские квоты для сегментов могут быть дополнением (в ряде случаев весьма важным), но ключевым признаком модели *power-sharing* является все же представительство в правительстве. Механизмы такого представительства зависят, вполне естественно, от принятой формы правления. В парламентских системах с пропорциональным представительством самая типичная практика — хорошо описанная Лейпхартом «большая коалиция». В президентских более важным оказывается закрепление ключевых властных позиций за определенными этническими сегментами (это может использоваться как в сочетании с «большой коалицией», так и без нее). Оно может производиться как через закрепление за сегментами конкретных позиций, так и через установление квот для сегментов в общем количестве позиций. Так, в Ливане конституционно установлено, что президентом страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром — суннит, председателем парламента — шиит. В Боснии и Герцеговине используется вариант ротации: Совет министров возглавляет один человек, сменяемый каждые восемь месяцев представителем другой «основной национальности» (сербы, хорваты, мусульмане).

Определяя признаки и характеристики правительственной *power-sharing*, необходимо подчеркнуть, что эта модель предполагает институциональное закрепление, а не просто участие этнических сегментов в правительственной коалиции. Нередко коалиция из разных этнических сегментов создается лишь с целью прекращения острого этнополитического конфликта, как это было, например, в Зимбабве (1981–1987), Кении (2006–2008), Кот-д’Ивуаре (2000–2005), Либерии (2000–2003) и т.д. Переходные коалиционные правительства в этих случаях обеспечивали прекращение военных действий и проводили выборы, но гарантий представительства этнических сегментов в постпереходный период не предполагалось. Правда, если этническая сегментация достаточно высока, ни одна из этнических партий не способна победить на выборах, и тогда возникают межэтнические коалиции.

Тем не менее об институционализации *power-sharing*, на наш взгляд, следует говорить лишь тогда, когда властные позиции закрепляются за этническими группами независимо от результатов выборов. Скорее наоборот, институциональное закрепление властных позиций за этнополитическими сегментами является своего рода превентивной мерой против рисков электорального процесса, да и в целом против рисков, связанных с текущей политической конъюнктурой. Примеров таких договоренностей в мировой практике немало. Так, знаменитые Дейтонские соглашения 1995 г. положили конец войне в Боснии и Герцеговине, Таифская хартия 1989 г. — гражданской войне в Ливане, Соглашение Страстной пятницы (1998 г.) остановило кровопролитие в Северной Ирландии. Во всех этих случаях вводилось институциональное закрепление властных позиций между сегментами на долговременной основе.

Еще один вопрос, требующий уточнения, связан с самим пониманием «представительства сегмента». При определении этого понятия возможны разные логики. В частности, его можно понимать как всего лишь наличие в составе органов власти лиц, которые принадлежат к разным этническим категориям по неким «объективным признакам» — расовым, языковым, конфессиональным и т.д. Такая логика соответствует примордиалистскому пониманию этничности и одной из широко известных концепций представительства — так называемой «модели сходства», которая действовала, например, в Советском Союзе. Более убедительной представляется другая логика, которая предполагает достаточно устойчивую «связь» между представителем и соответствующим этническим сегментом. Необходимой предпосылкой этого, очевидно, является политизация этничности, и принципиально важно, чтобы представитель воспринимался этническим сегментом как именно его («свой») представитель, да и сам представитель должен воспринимать себя как представителя данной («своей») этнической группы.

Механизмы, через которые устанавливается такая «связанность», могут быть разными. Самый очевидный — связь через этнические партии. Если этнический сегмент участвует, например, в правительственной коалиции через свою собственную партию, политические деятели (министры, президенты, депутаты и т.д.) связаны со своим сегментом не персонально, а институционально. Другой вариант — политический деятель занимает властную позицию по специальным процедурам, связанным с конкретным этническим сегментом: специальные «этнические» округа на выборах в парламенты, этнические квоты и т.д. Представитель здесь может и не быть членом этнической партии (такие

партии могут быть запрещены), более того, он даже может не «принадлежать» к данной этнической группе по «объективным характеристикам». Тем не менее, если он занимает властную позицию в результате специальных (созданных для данной этнической группы) процедур, значительно больше шансов, что он будет восприниматься как представитель группы, да и сам он будет воспринимать себя также.

Как бы то ни было, ключевое значение, на наш взгляд, имеет то, как распределение властных позиций воспринимается в обществе, т.е. как оно коллективно осмысливается. При этом очевидно, что коллективное осмысление — это отнюдь не единогласие, а всего лишь доминирующее в обществе восприятие того или иного явления, своего рода мейнстрим. В нашем случае речь идет о том, что распределение властных позиций осмысливается в этническом ключе, т.е. в соответствии с доминирующим представлением: люди (в массе своей) ожидают, что при замещении данной должности (при назначении на нее, при избрании и т.д.) этничность *имеет значение*. Как представляется, только в этом контексте имеет смысл вести разговор об институциональном закреплении властных позиций за этническими группами.

* * *

Что касается территориальной power-sharing, институционально она связана в первую очередь с децентрализацией власти и предоставлением этническим сегментам территориальной автономии. Речь идет в первую очередь о случаях, когда данный сегмент локализован, т.е. сконцентрирован на определенной территории. «Автономия» обычно определяется через термины самоуправления, самоорганизации, саморегулирования и т.д. Иначе говоря, в рамках государства как некой «политической единицы» существует территориальная «субъединица», которая пользуется определенной самостоятельностью, в частности — возможностью самостоятельно формировать собственные органы власти, которые обладают правом и способностью самостоятельно осуществлять политические курсы в определенных (установленных государством) рамках. Очевидно, автономным состоянием могут обладать разные социальные группы, организации, органы власти и так далее. Поскольку речь идет об этнической территориальной автономии (ЭТА), границы группы в данном случае определяются на основе комбинации двух признаков: территориального и этнического. ЭТА, таким образом, обладает «особостью» («особым статусом») по сравнению с другими автономными территориальными (но не этническими) единицами, как минимум, в том смысле, что она так или иначе «привя-

зана» не только к территории, но и к этнической группе. В таком понимании к этническим территориальным автономиям относят широкий круг феноменов — этнические субъекты федераций (Квебек в Канаде, некоторые штаты в Индии и т.д.), этнические автономные регионы в унитарных государствах (Шотландия, Каталония, Сардиния и многие др.), этнические муниципалитеты и т.д. Очевидно, что публично-правовой статус таких территориальных образований, а также степень их автономии существенно различаются.

Зачастую достаточным основанием для отнесения автономной территориальной единицы к ЭТА оказывается фиксация в ее наименовании этнического признака (Корсика, Гагаузия и т.д.). Тем не менее немало случаев, когда название ЭТА содержит не этноним, а географическое название (Аландские острова), и, наоборот, территориальная автономия с этнонимом в названии может и не быть этнической. Наименование, таким образом — явно недостаточный критерий для концептуализации этнической территориальной автономии. Многие авторы полагают, что ключевым критерием ЭТА является гарантированный доступ соответствующей (так называемой «титულიной») этнической группы к власти²⁸. Если так, то возникает вопрос, как институционально это достигается.

Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что «естественным образом» данный вопрос решается лишь при условии территориальной концентрации этнической группы на территории этнической автономии, а также ее численного доминирования в составе населения. Однако оба этих условия соблюдаются достаточно редко, в большинстве случаев значительную долю населения ЭТА составляют представители других («нетитულიных») этнических групп, причем нередко этнический сегмент не является даже большинством населения в «своей» этнической автономии. Например, из тех субъектов РФ, которые имеют статус «национальных республик», лишь в трех — Чечня, Ингушетия и Тыва — «титულიная национальность» составляет подавляющее большинство населения (более 80%) и еще в двух — Чувашия, Северная Осетия — существенное большинство (65–70%). Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых других ЭТА — Северная Ирландия в Великобритании, Воеводина в Сербии и т.д.

Разумеется, вполне возможна ситуация, когда проблема распределения властных позиций в регионе, который обозначается как этническая автономия, не воспринимается в этнических категориях, т.е. этничность не имеет политического значения. Но это, на наш взгляд, как раз и свидетельствует о том, что этноним сам по себе не является су-

шественным признаком ЭТА, и такие случаи можно лишь номинально отнести к этническим автономиям. И наоборот, придание значимости этничности при распределении властных позиций в автономной субнациональной единице служит индикатором того, что мы действительно имеем дело с этнической автономией.

В тех случаях, когда население этнической территориальной автономии разделяется на несколько этнополитических сегментов, ЭТА — весьма сложная для реализации институциональная модель, поскольку возникает необходимость не только обеспечить доступ к власти «титульной» этнической группе, но и как-то защитить права «нетитульных национальностей». Иными словами, ключевой оказывается проблема поддержания баланса в межэтнических отношениях, и от того, в какой мере удастся решить эту проблему, в значительной степени зависит судьба этнической автономии. Как показывает мировой опыт, если в одних случаях этнические автономии достаточно успешно справляются с задачей поддержания этнополитического баланса (Фарерские острова в Дании, некоторые итальянские автономные области), в других предоставление этническому сегменту автономии ведет к эскалации конфликта (Абхазия и Южная Осетия, Косово, Южный Судан и т.д.).

Поддержание баланса в межэтнических отношениях в рамках ЭТА требует таких институциональных решений, которые отсылают нас к модели правительственной *power-sharing*, правда на ином — субнациональном — уровне. Это значит, что две модели *power-sharing* — правительственная и территориальная — оказываются тесно взаимосвязаны, и этот вопрос представляется чрезвычайно актуальным для многих этнических территориальных автономий — как в зарубежных странах (самый яркий пример — Северная Ирландия²⁹), так и в Российской Федерации. При этом нельзя не заметить, что российская практика поддержания баланса в «национальных республиках» весьма оригинальна, и ее изучение российскими исследователями вносит существенный вклад в развитие представлений об институциональной организации власти в полиэтничных обществах.

Общеизвестно, что нормативно-правовое регулирование распределения власти между этническими сегментами в российских республиках отсутствует, правда, в ряде случаев можно говорить о косвенном регулировании, когда закон требует знания государственного языка для замещения некоторых властных позиций. Тем не менее изучение распределения властных позиций в российских национальных республиках доказывает, что проблема может решаться путем, так сказать, «неформальной институционализации», когда более или менее устой-

чивые практики возникают как следствие неких договоренностей (конвенций), которым политические акторы следуют в реальности³⁰.

Наибольшее значение здесь, несомненно, имеет опыт полиэтнических республик Северного Кавказа³¹. Так, в Кабардино-Балкарии по негласной договоренности между элитными группами главой субъекта является кабардинец, главой правительства — русский, главой парламента — балкарец, и эта практика воспроизводится достаточно устойчиво. В Карачаево-Черкесии после острого и явно имевшего этническую компоненту конфликта, который вспыхнул в ходе выборов 1999–2000 гг., сторонам удалось договориться о том, что позицию главы республики занимает карачаевец, вице-президентом является русский, а должность главы правительства «резервируется» за представителями черкесской общины. Примечательно, что попытка поломать эту систему, предпринятая в 2008 г., вызвала немалые сложности в межэтнических отношениях.

Но самый яркий пример неформальной институционализации распределения властных позиций по этническому принципу дает Дагестан³², где этническая фрагментация, пожалуй, самая высокая из всех субъектов РФ. Следует заметить, что в 1990-е годы на выборах в региональный парламент здесь использовалось формально (законодательно) установленное квотирование по этническому принципу. Голосование проходило в многомандатных округах, и большая часть мандатов была закреплена за представителями определенных этнических групп. Электоральная реформа 2003 г., которая обязала субъекты РФ ввести пропорциональный принцип на выборах в региональные парламенты, вынудила Дагестан отказаться от квотирования, однако по факту оно продолжается на конвенциональной основе (через соответствующее формирование партийных списков). Кроме того, в Дагестане сложилась устойчивая практика распределения ключевых должностей по этническому принципу.

В некоторых других национальных республиках РФ (в разной мере и в разной форме) также сложились достаточно устойчивые практики учета этничности при распределении ключевых властных позиций³³. В группе республик, где в составе населения преобладает «титовая национальность», высшие позиции занимают, как правило, ее представители, а «вторые должности» — русские (Калмыкия, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия — Алания). И наоборот, в случае преобладания русского населения на высших позициях оказываются русские, а на «вторых» (чаще всего это председатели парламентов) — представители «титовых национальностей» (Алтай, Бурятия). Есть и противоположные случаи

(Адыгея, Башкортостан), где институционализировалась практика распределения властных позиций между этническими группами, которая не соответствует этнической структуре населения регионов.

В остальных национальных республиках явного закрепления властных позиций за представителями того или иной этнополитического сегмента не прослеживается, но это отнюдь не означает, что этнический фактор вообще не учитывается. Скорее следует говорить о том, что это происходит более сложным путем, без институционализации данных практик.

В целом российский опыт свидетельствует об относительности институционализации закрепления властных позиций за этническими группами. Даже в тех случаях, когда в обществе доминирует «этническое» восприятие политики, оно всегда оспаривается. В результате значимость этничности в распределении властных позиций — величина переменная, она подвижна и динамична. Соответственно институционализация никогда не бывает «полной», даже если она закреплена нормативными актами, конституционно, а тем более в условиях «неформальной институционализации».

Кроме того, обнаруживается противоречие между должным и сущим. Какая-то часть общества, например, может признавать, что этничность имеет значение при распределении властных позиций как сущее, но не как должное (возможен и противоположный вариант). Тем самым они разделяют коллективное восприятие, но не считают это правильным. Наконец, исследования показывают, что индивидуальное восприятие зачастую не совпадает с коллективным. Например, лицо, принимающее решение о назначении кого-либо на должность, может субъективно руководствоваться самыми разными неэтническими критериями — профессиональными качествами, личной преданностью и т.п., однако в обществе это назначение может восприниматься под углом зрения этничности. Соответственно люди будут обращать внимание на то, к какой этнической группе принадлежит политик, получивший назначение на данную властную позицию. Возможен, конечно, и обратный вариант, когда «начальник» руководствуется этническими критериями, а в обществе это не воспринимается как этническое назначение.

* * *

Таким образом, при распределении властных позиций по этническому принципу можно выделить несколько своего рода «развилочек». Во-первых, является это краткосрочной реакцией на текущую ситу-

ацию либо такая система институционализируется на долгосрочной основе. Если в краткосрочном плане различные модели *power-sharing* достаточно эффективны, то в долговременной перспективе они демонстрируют противоречивые результаты. Второе — выбор институциональных механизмов распределения властных позиций. Третья «развилка» — способы институционального закрепления этнического фактора в распределении властных позиций, и здесь также приходится воздержаться от однозначных оценок. Нормативно-правовой (конституционный) способ чаще встречается в мировой практике, но свойственная ему ригидность может привести к серьезным проблемам, о чем свидетельствует, например, гражданская война 1975 г. в Ливане, вспыхнувшая вследствие того, что конституционные нормы перестали соответствовать изменившемуся соотношению сил между этнополитическими сегментами. В этом смысле предпочтительнее выглядит «неформальная институционализация», так как, базируясь на конвенциях, она является более гибкой, что позволяет быстрее реагировать на меняющийся контекст.

В целом можно делать вывод о том, что вопрос о выборе институциональной модели организации власти в полиэтническом обществе не имеет простых и универсальных решений. К его обсуждению, а тем более к практическому решению необходимо подходить максимально аккуратно и осторожно, взвешивая самые возможные варианты и имея в виду, что ни одно из решений не является окончательным.

Примечания

¹ *Oberschall A.* Conflict and peace building in divided societies: responses to ethnic violence. Taylor & Francis, 2007. P. 1.

² Проблема определения понятия «этничность» вызывает острые дискуссии. Не останавливаясь на них, мы будем использовать это понятие в версии, которая наиболее широко представлена в этнополитических исследованиях. В соответствии с веберовской традицией, на которой она основывается, акцент в понимании этничности делается на субъективное ощущение принадлежности к группе, которое основывается на представлении об общем происхождении («*common descent*», «*common origin*») (*Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Los Angeles: University of California Press, 1978. P. 387–393; *Wimmer A.* Ethnic Boundary Making: Institutions, Power, Networks. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 7; *Horowitz D.* Ethnic groups in conflict. University of California Press, 1985. P. 17–18; *Тушков В. А., Шабанов Ю. П.* Этнополитология: политические функции этничности. М.: Изд-во Московского университета, 2011. С. 55). Признаки (основания для представления об общем происхождении при этом могут быть самые разные) — цвет кожи, язык, религия и т.д.

³ См., напр.: *Малинова О. Ю.* Гражданство и политизация культурных различий // Полис. 2004. № 5.

⁴ *Дробижьева Л. М.* Этничность в современном обществе: Этнополитика и социальные практики в Российской Федерации // Мир России. 2001. № 1; *Савинов, Л. В.* Этнополитика в региональном измерении. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012; *Posner D.* Institutions and Ethnic Politics in Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

⁵ *Rothschild J.* Ethnopolitics: A Conceptual Frameworks. N.Y., 1981. См. также: *Ачкасов В. А.* Этнополитический конфликт как следствие этнизации социальных проблем // Политэкс. 2013. № 2; *Шустов В. Г.* Этнизация политической власти в полиэтничных регионах современной России: Дис. ... канд. полит. наук. Ростов-на-Дону, 2005; *Schraml C.* The dilemma of Recognition. Experienced Reality of Ethnicised Politics in Rwanda and Burundi. Springer, 2012.

⁶ *Horowitz D.* Ethnic groups in conflict. University of California Press, 1985; См. также: *Дробижьева Л. М.* Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013; *Тишков В. А., Шабаетов Ю. П.* Этнополитология: политические функции этничности. М.: Изд-во Московского университета, 2011; *Косухин Н. Д.* Африка: политизация этничности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2006. № 1. С. 100–108.

⁷ *Protsyk O., Garaz S.* Politicization of Ethnicity in Party Manifestos // Party Politics. 2013. No 2. P. 296–318.

⁸ *Chandra K.* Why ethnic parties succeed: patronage and ethnic headcounts in India. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

⁹ *Birnir J.* Ethnicity and electoral politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

¹⁰ См.: *Панов П. В.* Институциональная устойчивость фрагментированных партий // Политическая наука. 2012. № 3. С. 31–49.

¹¹ *Ачкасов В. А.* Этнополитический конфликт как следствие этнизации социальных проблем // Политэкс. 2013. № 2; *Большаков А. Г.* Этнические вооруженные конфликты посткоммунистических государств европейской периферии. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009; Этничность и религия в современных конфликтах / Отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман. М.: Наука, 2012; *Fearon D., Laitin D.* Ethnicity, Insurgency, and Civil War // American Political Science Review. 2003. No 1. P. 1–16; *Wimmer A., Cederman L.-E., Min B.* Ethnic politics and armed conflict: a configurational analysis of a new global data set // American Sociological Review. 2009. Vol. 74. No 2. P. 316–337.

¹² Constitutional design for divided societies: integration or accommodation? / S. Choudhry (ed.). Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2008.

¹³ *Wolff S.* Managing ethno-national conflict: towards an analytical framework // Commonwealth & Comparative Politics. 2011. No 2. P. 172–173.

¹⁴ *Лейнхарт А.* Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997.

¹⁵ *Lijphart A.* The wave of power-sharing democracy // The architecture of democracy: constitutional design, conflict management, and democracy / A. Reynolds (ed.) Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 39.

¹⁶ *Hartzell C., Hoddie M.* Crafting Peace: Power-sharing Institutions and the Negotiated Settlement of Civil Wars. Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 2007.

¹⁷ From war to democracy: dilemmas of peacebuilding / A. Jarstad, T. Sisk (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

¹⁸ *Horowitz D.* Ethnic groups in conflict. University of California Press, 1985.

¹⁹ *Reilly B., Reynolds A.* Electoral systems and conflict in divided societies. National Academies Press, 1999.

²⁰ Sustainable peace: power and democracy after civil wars / P. Roeder, D. Rothchild (eds). Cornell University Press, 2005.

²¹ Как пронциательно отмечает в своих работах М. В. Ильин, с точки зрения степени их состоятельности и автономности современные государства демонстрируют качественные различия. В результате, несмотря на то что все государства обладают такой стороной, как «статусность» (*statehood*) — принадлежность к сообществу государств, «сами эти суверенные члены мирового сообщества — не обязательно политики одного определенного типа или даже одной природы». Между ними, строго говоря, обнаруживается не типологическое «родство», а «семейное сходство» — «сродство», «подобие свойств разнородных предметов» (*Ильин М. В.* Суверенитет: вызревание понятийной категории в условиях глобализации // Политическая наука. 2005. № 4. С. 15).

²² *Norris P.* Driving democracy: Do power-sharing institutions work? Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008. В такой коннотации термин *power-sharing* похож на «консенсусную демократию», которую разрабатывал тот же Лейпхарт, но в более поздних работах.

²³ *Svolik M.* Power Sharing and Leadership Dynamics in Authoritarian Regimes // American Journal of Political Science. 2009. No 2. P. 477–494.

²⁴ *Hartzell C., Hoddie M.* Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Management // American Journal of Political Science. 2003. Vol. 47. No 2. P. 318–332; *Walter B.* Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars. Princeton University Press, 2002.

²⁵ *Cederman L.-E.* at al. Territorial Autonomy in the Shadow of Conflict: Too Little, Too Late? // American Political Science Review. 2015. Vol. 109. No 2. P. 354–370.

²⁶ *Krook M. L., O'Brien D. Z.* The Politics of Group Representation Quotas for Women and Minorities Worldwide // Comparative Politics. 2010. No 4. P. 253–272.

²⁷ *Reynolds A.* Reserved Seats in National Legislatures: A Comparative Approach // L. Handley, B. Grofman (eds) Redistricting in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 115–122.

²⁸ *Cederman L.-E.* at al. Territorial Autonomy in the Shadow of Conflict: Too Little, Too Late? // American Political Science Review. 2015. Vol. 109. No 2. P. 354–370.

²⁹ O'Leary B. The Belfast Agreement and the British-Irish Agreement. Oxford, N.Y.: Oxford University Press. 2008.

³⁰ См., напр.: *Астацатурова М. А.* Этноконфликтологический менеджмент: некоторые обобщения в региональном контексте // Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира. М.; Ставрополь, 2006. С. 286–294; *Дробижева Л. М.* Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013; *Панов П. В.* Этничность и распределение властных позиций в полиэтничном обществе: проблемы и решения // Российский Кавказ: Проблемы, поиски, решения / Под общ. ред. Р. Г. Абдулатипова, А.-Н. З. Дибирова. М.: Аспект Пресс, 2015. С. 148–158; *Подвицнев О. Б.* Разделение должностей по национальному принципу в системах управления российских регионов // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. 2012. Вып. 12. С. 375–378; *Сафин И. Ф.* Представительство этнических интересов в органах государственной власти: сравнительно-политологический анализ. Дис. ... канд. полит. наук. Уфа, 2005; *Федорченко С. Н.* Проблема квотирования в российской государственной кадровой политике // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: Материалы Всероссийской научной конференции. М.: Научный эксперт, 2010; *Сидоренко А.* Политическая власть в этнических регионах // Федерализм и этническое разнообразие в России / Под ред. И. Бусыгиной и А. Хайнеманн-Грюдера. М.: РОССПЭН, 2010. С. 94–111.

³¹ Северный Кавказ: Путь к согласию: Сборник аналитических материалов. М.: Фонд «Новая Евразия», 2009; Северный Кавказ: взгляд изнутри. Вызовы и проблемы социально-политического развития. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2012.

³² *Дибиров А.-Н. З.* Дагестан: кажимость и действительность // Регионалистика и этнополитология. М., 2008. С. 148–164; *Маркедонов С. М.* Этническая дилемма Дагестана. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.povopol.ru/-etnicheskaya-dilemma-dagestana-text81614.html>.

³³ *Габдрафиков И. М.* Этнические и общегражданские аспекты национальной политики в республиках современной России (по материалам Республики Башкортостан). М., 2001; *Галлямов Р. Р.* Правящие политические элиты российских республик в современном пространстве власти (на примере Башкортостана и Татарстана). М., 2001; *Сергеев С. А., Салагаев А. Л.* Новые маски, старые роли: трансформация провинциальной номенклатуры ТАССР в региональную правящую элиту Татарстана // Политэкс. 2010. № 2; *Тышта Е. В.* Эволюция политического представительства в республиках Южной Сибири в 1990–2000-х гг. // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 6; *Савва М. В.* Республика Адыгея: напряжения и конфликты // Северный Кавказ: путь к согласию. М., 2009. С. 13–26; *Шхачева А.* Выборы Президента Республики Адыгея в условиях полиэтничности // Региональные выборы и проблемы гражданского общества на Юге России. М., 2002. С. 68–74.

4.5. К политической экономии автократических режимов: динамическая математическая модель*

Введение

Политическая экономия автократических режимов представляет интерес и как самостоятельная область исследований, и как составляющая одного из центральных направлений современной политической науки — изучения взаимосвязи между политическим режимом и экономическим развитием (*regime-growth studies*). Примечательно, что в исследовательской традиции работы с этой проблематикой, сформировавшейся в рамках западной политологии, в качестве «отправной точки» обычно рассматривается демократия, а не автократия; фактически, в литературе господствуют «*democracy-growth studies*». Авторитаризм зачастую понимается лишь как та или иная мера «дефицита» демократии. Мы полагаем, что именно недостаточное внимание, уделяемое теоретическим и методологическим вопросам политической экономии автократий, породило ряд серьезнейших проблем в понимании механизмов и форм влияния политического устройства на экономическое развитие.

На сегодняшний день западные ученые дают прямо противоположные ответы на вопрос о том, влияет ли (и каким образом) демократия на экономический рост. Ответ «да, влияет положительно» дают такие авторы, как Асемоглу¹, Бэйтс², Балла³, Герринг⁴, Папайоанноу и Сиуоруонис⁵, Гальперин⁶, Леблан⁷, Родрик и Вакзьяр⁸. Ответ «не влияет или влияет отрицательно» содержится в работах Барро⁹, Бакхарта и Льюис-Бека¹⁰, Фенга¹¹, Курцмана¹², Пршеворски¹³, Джиаваци и Табеллини¹⁴, Вуда¹⁵. Подчас ученые предполагают более сложные по форме взаимосвязи между демократией и экономическим ростом. Например, Р. Барро в одной из своих работ утверждает, что с ростом демократии экономический рост ускоряется, но лишь до некоторого предела; по достижении определенного уровня демократических свобод связь становится отрицательной¹⁶.

* Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики по теме «Влияние обратных связей в системе «государство — общество» на процессы перераспределения ресурсов и перспективы экономического роста в демократических, автократических и гибридных режимах», реализуемой Лабораторией качественных и количественных методов анализа политических режимов.

Противоречивость и неоднозначность результатов по теме хорошо демонстрирует мета-анализ эмпирических исследований, проведенный Дукулиагосом и Улубасоглу¹⁷. Изучение 483 эмпирических оценок в 84 опубликованных работах дало следующее распределение:

- 15% оценок показывает статистически значимую отрицательную связь между демократией и экономическим развитием;
- 21% — статистически незначимую отрицательную связь;
- 37% — статистически незначимую положительную связь;
- 27% — статистически значимую положительную связь.

Столь значительная несогласованность эмпирических оценок, как и теоретических результатов, до некоторой степени может быть объяснена сложным характером воздействия политических институтов на экономическое развитие. В современной литературе все более распространенной становится точка зрения, что политический режим влияет на экономический рост не напрямую, а через определенный набор «каналов» (*channels*). Кратко рассмотрим этот вопрос на примере конкретного канала — процесса накопления физического капитала.

Ряд исследователей считает, что накоплению физического капитала в большей мере способствует автократический тип режима¹⁸. Авторитарные страны лучше — с точки зрения роста — справляются с традиционной экономической дилеммой «потребление или инвестиции». Благодаря отсутствию давления со стороны независимых профсоюзов и электората в целом автократии не испытывают необходимости выплачивать высокие зарплаты и пенсии и могут сосредоточиться на концентрации ресурсов в инвестициях. Демократии же вынуждены больше перераспределять в пользу бедных слоев населения¹⁹, которые тратят все свои доходы на текущее потребление.

В то же время даже если автократии потенциально способны сконцентрировать больше ресурсов в инвестициях, совсем не факт, что у них *окажется достаточно стимулов делать это*²⁰. Например, в «хищнических» (*predatory*)²¹ автократиях вроде режима Мобуту в Заире практически все ресурсы были сосредоточены в руках диктатора и его окружения и расходовались ими на личные нужды, не производя никакого инвестиционного эффекта. С другой стороны, СССР и современный Китай действительно оказались способны к концентрации физического капитала, что во многом и обусловило показатели их экономического роста. Почему одни страны с автократическим правлением способны концентрировать ресурсы в инвестициях, а другие нет?

Здесь мы напрямую сталкиваемся с дефицитом понимания внутренних механизмов принятия экономических решений в автократиях, без которого оценки воздействия режима на показатели развития оказываются противоречивыми.

Кроме того, накоплению физического капитала, по общему мнению, способствует более высокий уровень защиты прав собственности. Большинство исследователей полагает, что лучшей защите прав собственности способствует демократия²². Однако фактически положительная связь формируется в большей степени развитыми, консолидированными демократиями, тогда как в «демократиях с прилагательными» отнюдь не все так однозначно. Кроме того, имеются страны, сочетающие автократическое правление с высоким уровнем защиты прав собственности, такие как Сингапур. И вновь нет полной ясности, как именно происходит выбор между «хорошими» и «плохими» экономическими институтами в рамках авторитарных режимов. В последнее время появляются интересные исследования на эту тему; например, Л. Полищук и Г. Сюняев связывают уровень защиты прав собственности в недемократических режимах с одновременным воздействием двух факторов: сменяемостью властной элиты и ее контролем над рыночными активами внутри страны²³. Однако говорить о полноценной теории пока не приходится.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими каналами влияния политического режима на экономическое развитие: с процессами накопления человеческого²⁴, государственного²⁵, социального²⁶ капиталов, распространением инновационных технологий²⁷ и др.

Нам представляется, во-первых, что требуется большая концентрация усилий исследователей на выработке общей теории автократического правления, тем более что здесь имеются сильные наработки. Большим потенциалом обладают теория селектората²⁸ и ее развитие в русле «авторитарной подотчетности» (*authoritarian accountability*²⁹); анализ различных стратегий автократа (репрессивных, кооптационных, кооперационных и пр.) у С. Хабера³⁰, а также у Дж. Ганди и А. Пршеворски³¹; теория социальных порядков ограниченного доступа³² и многое другое.

Во-вторых, представляется необходимым существенное расширение методологических подходов к этой проблеме. На сегодняшний день в литературе имеют место всего две стратегии. Первая, наиболее распространенная, предполагает формулирование гипотез на основе анализа существующих теорий и их проверку посредством традиционного, хотя и все более усложняющегося технически статистического

инструментария (прежде всего регрессионного анализа). Второй подход, несколько более сложный, дополняет эмпирическую проверку гипотез их тестированием с помощью теоретико-игровых математических моделей. И в том, и в другом случае радикально недооценивается динамический и системный характер исследуемого объекта. Производство и политическое перераспределение ресурсов, накопление капиталов, внедрение инноваций, сам по себе экономический рост или спад — все это *процессы*, развивающиеся во времени. Ни теория игр (даже в ее динамической версии — *dynamic game theory*), ни регрессионный анализ (даже в его динамической версии — *time series cross sectional data analysis*) не способны «схватывать» сложные динамические взаимодействия в системе «государство—общество».

В этой работе мы предложим иной методологический подход, основанный на построении динамической математической модели, включающей две составляющие. Первый блок — экономический — отображает производство и распределение ресурсов во времени. Эти процессы регулируются набором управляющих параметров двух типов: связанных 1) с эффективностью (продуктивностью) системы и 2) с проводимым экономическим курсом (*policy*). Уровень эффективности задается в модели экзогенно, в то время как выбор экономического курса осуществляется в рамках второго блока модели — политического. Центральным в определении курса является выбор автократом позиции по отношению к общественным группам с несовпадающими экономическими интересами.

Математически модель представляет собой систему уравнений в конечных разностях (при необходимости преобразуемых в систему дифференциальных уравнений) с макропеременными. Методологически подход к построению модели сочетает в себе черты системной динамики (*system dynamics*), отечественной школы динамического моделирования Самарского—Михайлова³³, макроэкономического моделирования в целом и теории производственных функций и публичного капитала (*public capital studies*) в частности, микроэкономики и «традиционной» политической экономии в части использования функций полезности. Будет использован задел, полученный автором совместно с доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Александром Петровым³⁴. В процессе построения и исследования модели мы покажем, что она способна рассматривать политику и экономику как целостную систему. Кроме того, она дает возможность не

только проверять, но и формулировать гипотезы, не вытекающие напрямую из вербальных теорий.

Построение модели

В основе экономического блока модели лежит производственная функция Кобба—Дугласа с двумя факторами производства: частным капиталом (K) и публичным капиталом (G). Под частным капиталом понимаются все физические и финансовые ресурсы, находящиеся в частной собственности и используемые в процессе создания выпуска (Y). Публичный (государственный) капитал³⁵ представляет собой совокупность материальной инфраструктуры, создаваемой и поддерживаемой государством: сети распределения электроэнергии, железные и автомобильные дороги, канализационные системы³⁶ и т.д. Ключевыми свойствами публичного капитала являются неисключаемость и неконкурентность — именно поэтому он может создаваться только за счет средств государственного бюджета. Таким образом, в центре нашего внимания оказывается взаимодействие частных и государственных ресурсов в процессе производства благ:

$$Y(t) = AK^\alpha(t)G^{1-\alpha}(t). \quad (1)$$

Эластичность выпуска (α , $1-\alpha$) по обоим факторам производства в сумме равна единице, т.е. при увеличении всех факторов на 1% выпуск увеличивается также на 1% (так называемые постоянные эффекты масштаба). Запасы частного и государственного капиталов и, следовательно, выпуск меняются во времени; постоянными (во времени) величинами являются эластичность и общая производительность факторов A (*total factor productivity*, TFP). Последний параметр будет играть большую роль в дальнейшем изложении, и мы охарактеризуем его отдельно.

Традиционно в политико-экономической литературе эта величина трактуется как уровень технологического развития³⁷, однако такая интерпретация является лишь одной из множества возможных. Строго говоря, A представляет собой «остаточную» компоненту — она включает в себя все неучтенное в спецификации факторов производства. Иначе говоря, TFP «отвечает» за те изменения в выпуске, которые не объясняются изменениями в производственных факторах, поэтому часть специалистов характеризует TFP как «меру нашего незнания»³⁸.

В то же время существуют и гораздо более теоретически насыщенные трактовки *TFP*. Ряд исследователей рассматривают этот параметр в институциональном ключе как показатель качества «правил игры» в обществе. Так, Холл и Джонс вводят специальное понятие «социальной инфраструктуры», представляющей собой «институты и правительственную политику, формирующие экономическую среду, в рамках которой индивиды накапливают знания и умения, а фирмы аккумулируют капитал и производят продукцию»³⁹. Исходя из формы нашей производственной функции (1), мы будем отталкиваться от близкого (т.е. неоинституционального) понимания общей производительности факторов, с одним уточнением. Для нас *TFP* представляет собой меру транзакционных издержек, характеризующих взаимодействие частного и государственного капиталов, причем чем выше общая производительность факторов, тем ниже издержки. Можно сказать, что в нашей модели параметр *A* фиксирует уровень частного доступа к общественному благу. Детерминантом *TFP*, согласно нашей гипотезе, является качество институтов. Эта гипотеза еще требует эмпирической проверки; здесь же мы ограничимся анализом воздействия *TFP* на выработку политического курса и перспективы экономического роста на базе математической модели.

Продолжим ее построение. Выпуск Y облагается налогом по ставке $\tau = (0, 1)$, полученные средства образуют поток инвестиций в публичный капитал $I(t)$:

$$I(t) = \tau Y(t). \quad (2)$$

Динамика частного капитала определяется простым уравнением

$$K(t+1) = (1 - \tau)Y(t). \quad (3)$$

Другими словами, частный капитал формируют средства, не изъятые в виде налогов в предыдущий момент времени.

Несколько более сложной является динамика публичного капитала. Во-первых, без инвестиций со стороны государства он устаревает, скорость этого процесса задается коэффициентом обесценивания δ . Поток бюджетных инвестиций $I(t)$, напротив, пополняет запас общественного капитала. При этом вслед за Притчеттом⁴⁰ и Гуптой⁴¹ мы вводим в модель параметр $\gamma = (0, 1)$, регулирующий эффективность государственных инвестиций:

$$G(t+1) = (1 - \delta)G(t) + \gamma I(t). \quad (4)$$

При единичном значении γ все инвестированные средства превращаются в полезные активы; чем меньше значение параметра эффективности, тем ниже стоимость созданного капитала по отношению

к затраченным средствам. Например, при $\gamma = 0,8$ сто рублей инвестиций трансформируются в активы стоимостью 80 рублей.

Куда в таком случае уходят средства в размере $(1 - \gamma)I(t)$, в примере выше 20 рублей? В реальности часть этих денег уходит на обеспечение работы государственного аппарата управления, обеспечивающего процесс инвестирования бюджетных средств (и поэтому ни в одной стране мира γ не равна единице), часть же становится коррупционной «прибылью» бюрократии. В данной модели мы будем для простоты считать, что эти средства прямо обращаются в доход чиновников и аффилированных с ними структур. Ключевой особенностью этих доходов является то, что они получаются не от производительной, а от распределительной деятельности, и мы будем далее называть доходы $(1 - \gamma)I(t)$ *рентой*. Очевидно, что получение этой ренты напрямую зависит от доступа к распределению бюджетных средств, и вполне правомерно также определение «*бюрократическая рента*». Важно, что в данной модели эти средства не реинвестируются в экономику, поэтому нет необходимости явно выписывать для них отдельное динамическое уравнение.

Итак, уравнения (1)–(4) определяют экономический «двигатель» модели. Управляющими параметрами экономической динамики, на которых будет сосредоточено наше внимание, являются обобщенная ставка налога τ и уровень эффективности государственных инвестиций γ . Сочетание (τ, γ) определяет конкретную экономическую политику, а плоскость (τ, γ) мы будем называть далее пространством экономических политик.

Из-за связанных с объемом текста ограничений мы не будем здесь приводить полный математический анализ влияния экономических курсов на поведение системы, отметим лишь ключевые моменты. Так, со временем динамика частного и публичного капиталов, а также выпуска входит в один из двух стационарных режимов:

- 1) экспоненциальный (ускоряющийся) рост;
- 2) замедляющийся во времени спад (величины асимптотически стремятся к нулю).

Таким образом, в *долгосрочной перспективе* возможны всего два сценария: рост и спад. Однако в *краткосрочной перспективе* запасы капиталов могут меняться немонотонно; например, может наблюдаться снижение запаса частного капитала и увеличение публичного, или наоборот. Это обстоятельство будет иметь существенное значение в анализе принятия решений по поводу экономического курса.

Реализация в долгосрочной перспективе сценария роста или спада зависит прежде всего от выбираемого экономического курса (τ , γ). Область «успешных» курсов, ведущих к росту, показана заштрихованной областью на рис. 1.

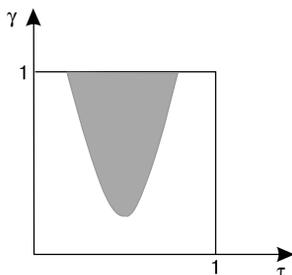


Рис. 1. Область сочетаний (τ , γ), ведущих к росту, показана закрашенной областью

Например, в данном случае выбирая курс ($\tau = 0,6$, $\gamma = 0,9$), мы попадаем в «успешную» зону и обеспечиваем экономический рост; курс ($\tau = 0,1$, $\gamma = 0,7$) попадает в «белую» область и соответственно ведет к спаду. Наибольшие темпы роста⁴² достигаются при выборе курса ($\tau = 0,5$, $\gamma = 1,0$): эффективность государственных инвестиций должна быть максимальна, общий уровень налоговой нагрузки должен составлять 50%. Снижение эффективности государственных инвестиций всегда ведет к снижению темпов роста, в то время как величина ставки налога влияет на них нелинейно. Очень большой уровень налоговой нагрузки ведет к недостаточным темпам пополнения частного капитала; слишком низкие налоги не позволяют поддерживать публичную инфраструктуру.

Еще один принципиальный момент состоит в том, что площадь «зоны роста» (см. рис. 1) меняется в зависимости от значения общей производительности факторов A . Чем больше общая продуктивность, чем эффективнее взаимодействие частного и государственного капиталов, тем обширнее область успешных экономических курсов. Фактически вместе с ростом A растет устойчивость экономики по отношению к принятию политических решений.

Перейдем к политической части модели, связанной с механизмами выбора экономического курса — определением значений параметров τ и γ . Пусть в обществе имеется две группы интересов. Первую из них мы уже фактически охарактеризовали — это группа, получающая

бюрократическую ренту. Функция полезности репрезентативного индивида этой группы (в формулах будем обозначать ее нижним индексом R) выглядит следующим образом:

$$U_R = \sum_{t=1}^{\infty} \sigma^{t-1} [(1-\gamma)I(t)]. \quad (5)$$

В этой формуле $\sigma = (0, 1)$ представляет собой дисконтирующий множитель (или дисконт-фактор), позволяющий учесть относительную ценность близких к настоящему моментов времени по сравнению с отдаленными. Более строго, дисконт-фактор позволяет выразить в текущей стоимости будущие доходы. Например, при $\sigma = 1$ рубль, полученный сегодня, имеет ту же субъективную ценность, что и рубль, полученный в сколь угодно отдаленном будущем. При $\sigma = 0,2$ текущая стоимость одного рубля, полученного через четыре момента времени, составит чуть более одной копейки. Здесь важно подчеркнуть, что функция полезности такого типа⁴³ отражает *представление* индивида о своих суммарных будущих доходах.

Вторая группа интересов в нашем модельном обществе — это люди, получающие доход от производственной деятельности: они заинтересованы в увеличении частного капитала (обозначим ее нижним индексом C). Их функция полезности имеет принципиально тот же вид, что и (5), но ее аргументом является капитал $K(t)$:

$$U_C = \sum_{t=1}^{\infty} \psi^{t-1} [(K(t))]. \quad (6)$$

В общем случае мы предполагаем, что «производственники» могут иметь значение дисконт-фактора ψ , отличное от соответствующей величины для «рантье». Однако практически в этой работе мы будем рассматривать только случай $\sigma = \psi$. Значение дисконт-фактора устанавливается в модели экзогенно.

И размер частного капитала, и размер ренты в каждый момент времени зависят от выбранного экономического курса. Соответственно каждому курсу (τ, γ) можно сопоставить определенные значения функций полезности каждой из групп. Мы будем исходить из принятого в теории рационального выбора представления о максимизации полезности. Следовательно, каждая группа имеет наиболее предпочтительный для нее экономический курс, при котором ее полезность максимальна. Другими словами, каждая группа при заданных параметрах общей продуктивности и дисконтирующих множителей имеет свою «идеальную точку» в пространстве экономической политики: (τ_R, γ_R) для «рантье» и (τ_C, γ_C) для «производственников».

Отметим здесь, что ни при каких условиях эти идеальные точки не будут совпадать; интересы групп действительно *разные*. Так, «производственники» будут всегда предпочитать единичную эффективность государственных инвестиций, что принципиально недопустимо для «рантье»: в этом случае их бюрократическая рента обнуляется. Различия в интересах являются фундаментальными именно потому, что доходы групп привязаны к разным процессам в экономической системе.

Наконец, в модели имеется авторитарный лидер, который принимает решение об экономическом курсе на основе предпочтений двух групп интересов. Он может использовать «стратегию баланса» между двумя группами или «стратегию подавления» — полной солидарности с одной из групп. В общем виде выбираемый автократом экономический курс $(\tau_{auto}, \gamma_{auto})$ представляет собой взвешенную комбинацию идеальных точек двух заинтересованных групп:

$$(\tau_{auto}, \gamma_{auto}) = (w \tau_R + [1 - w] \tau_C), (w \gamma_R + [1 - w] \gamma_C) \quad (7)$$

где $w = (0, 1)$ — воспринимаемый автократом вес группы «рантье»; $1 - w$ — соответственно, вес группы «производственников».

Так, при $w = 0,5$ выбором автократа станет середина отрезка, соединяющего идеальные точки двух групп в пространстве экономических курсов. Это пример «идеального баланса интересов». При $w = 1$ будет выбран экономический курс, наиболее предпочтительный для «рантье», и это пример «стратегии подавления». При $w \rightarrow 0$ автократ встает на сторону производственников. Следует обратить внимание, что мы не допускаем полного подавления «рантье» (невозможен случай $w = 0$), так как они представляют государственный аппарат и без их участия сам процесс осуществления власти автократом будет невозможным.

Далее мы рассмотрим влияние параметров экономической системы на политические взаимодействия в ней. При каких условиях, например, автократ будет склонен выбрать «стратегию подавления», в каких — «стратегию баланса» и экономические следствия этого выбора? Более конкретно мы рассмотрим не зависящую от выбираемого курса эффективность экономики в целом — общую производительность факторов A , а также «горизонт планирования» групп интересов — дисконтирующий множитель.

Вычислительный эксперимент

На данном этапе работы исследование модели проведено с помощью вычислительного эксперимента, хотя в перспективе имеются неплохие шансы на получение общего аналитического решения.

Эксперименты производятся в программной среде *MatLab*. Для всех экспериментов зафиксированы следующие значения параметров: $\alpha = 0,5$ — эластичность; $K_{t=0} = 100$, $G_{t=0} = 100$ — начальные условия⁴⁴.

Длительность всех вычислительных экспериментов установлена в 100 периодов времени.

Общий алгоритм вычислительного эксперимента следующий:

- 1) фиксируется значение общей производительности факторов A ;
- 2) фиксируется значение дисконт-фактора $\sigma = \psi$;
- 3) рассчитываются значения функций полезности каждой из групп интересов для всех возможных комбинаций управляющих параметров (τ , γ) с шагом 0,01 для каждого параметра (всего 8100 реализаций);
- 4) находятся максимумы функций полезности для каждой из групп и соответствующие идеальные точки (наиболее предпочтительные курсы) в пространстве экономических политик;
- 5) оценивается расстояние между идеальными точками двух групп интересов;
- 6) оценивается долгосрочный экономический эффект выбора идеальных точек групп в качестве реального экономического курса.

Проводится две серии вычислительных экспериментов:

- 1) с фиксированной общей производительностью факторов A (пункт 1 алгоритма) и меняющимся от эксперимента к эксперименту значением дисконт-фактора (пункт 2);
- 2) с фиксированным значением дисконт-фактора и меняющейся общей производительностью факторов.

Это позволяет проанализировать по отдельности влияние общей эффективности экономики (A) и влияние «горизонта планирования» (дисконт-фактора) групп интересов на относительное положение их идеальных точек в пространстве экономических курсов, а также на перспективы экономического роста.

Начнем с более тривиального результата, связанного с эффектом горизонта планирования. Здесь полученные данные находятся в полном согласии с уже имеющейся теорией, прежде всего — с моделью «стационарного бандита»⁴⁵ М. Олсона⁴⁶. *Увеличение горизонта планирования* производит два наиболее важных эффекта:

- идеальные точки двух групп интересов сближаются в пространстве экономических курсов;
- идеальные точки каждой из групп по отдельности соответствуют все более успешным экономическим курсам, ведущим к долгосрочному росту.

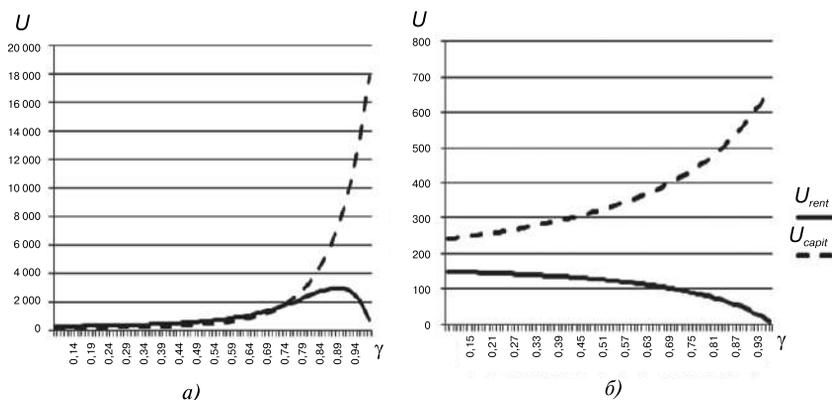


Рис. 2. Функции полезности групп: а) при дисконт-факторе, равном 1; б) при дисконт-факторе, равном 0,85

В целом можно сказать, что более «дальновидные» и «заинтересованные в будущем» индивиды склонны идти навстречу друг другу в области успешных политик, стимулирующих долгосрочное развитие.

Некоторое наглядное представление о влиянии дисконт-фактора на предпочтения групп дает рис. 2. На обоих графиках (а и б) по горизонтальной оси отложен параметр γ , отражающий эффективность государственных инвестиций в публичный капитал. По вертикали фиксируется уровень полезности, пунктирной линией — для группы «производственников», сплошной — для «рантье». Ставка налога фиксирована для обоих графиков и составляет 0,6. Слева (см. рис. 2а) дисконт-фактор обеих групп равен 1, справа (рис. 2б) — 0,85.

При максимальном горизонте планирования полезность обеих групп растет вместе с эффективностью инвестиций до значения $\gamma = 0,9$. Содержательно это означает, что обе группы заинтересованы в увеличении эффективности бюджетных вложений до 90%-ного уровня. Максимум полезности «производственников» соответствует 100%-ной эффективности, максимум рантье — 90%-ной. Эти точки, во-первых, близки, во-вторых, соответствуют очень высоким уровням эффективности. Рантье, получающие доход от инвестиционных потерь $(1 - \gamma)I(t)$, стремятся получать лишь 10%-ную долю бюджета. Длина их горизонта планирования позволяет «увидеть», что увеличение их доли в долгосрочной перспективе приведет к снижению доходов в абсолютном выражении из-за более низкой эффективности экономики. В терминах М. Олсона, они выбирают стратегию «меньшей доли пирога большего размера».

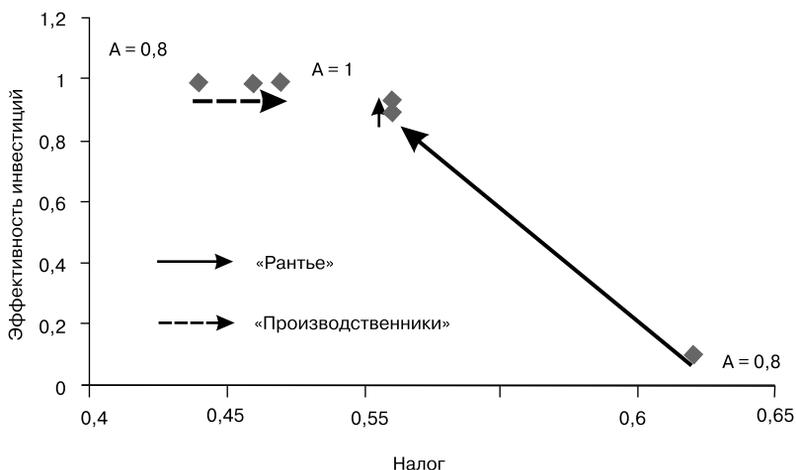


Рис. 3. Сближение идеальных точек групп в пространстве экономической политики с увеличением общей продуктивности

Совершенно иную картину мы наблюдаем на правом графике (см. рис. 2б), где горизонт планирования групп существенно короче. Изменение параметра эффективности инвестиций всегда порождает разнонаправленное изменение полезности групп. Максимумы их функций полезности противоположны (максимально удалены друг от друга): для производственников наиболее предпочтительна $\gamma = 1$, для рантье — $\gamma = 0$. Следовательно, бюрократия стремится взять как можно больше в самые короткие сроки; это стратегия «увеличения доли уменьшающегося пирога». Очевидно, при нулевой эффективности пополнения публичного капитала крах экономики неизбежен независимо от значений любых других параметров.

Анализ дисконт-фактора представляет интерес с точки зрения проверки соответствия модели имеющимся теоретическим представлениям, но дает не слишком много в плане прироста знания и новых гипотез. Значительно менее тривиальными являются результаты исследования, связанные с общей производительностью факторов. Вычислительный эксперимент показал, что в качественном смысле *увеличение общей продуктивности экономики дает тот же эффект, что и увеличение горизонта планирования. А именно, идеальные точки групп сближаются в области успешных курсов.*

Покажем это сближение на плоскости экономической политики. На рис. 3 по горизонтальной оси отложена ставка налога, по вертикаль-

ной — эффективность инвестиций. Стрелки (сплошная для «рантье» и пунктирная для «производственников») показывают смещения идеальных точек групп с ростом общей производительности факторов.

Так, при $A = 0,8$ идеальной точкой «рантье» является $(0,6; 0,1)$ — высокий уровень налогообложения и 10%-ная эффективность бюджетных инвестиций. Такая политика имеет уже в среднесрочной перспективе катастрофические последствия для экономики и соответствует стратегии «большой доли уменьшающегося пирога». Для того же значения A идеальная точка «производственников» — $(0,4; 1,0)$, соответствующая сравнительно низким налогам при максимальной эффективности. С увеличением общей производительности идеальная точка «рантье» смещается влево и вверх — в сторону оптимальной ставки налогообложения и высокой (хотя и не абсолютной) эффективности инвестиций. Это переход к стратегии «меньшей доли пирога большего размера». Идеальная точка «производственников» движется в сторону увеличения налогов, в краткосрочной перспективе им невыгодного.

Таким образом, *рост общей производительности способен компенсировать, по крайней мере частично, «близорукость» групп интересов.* Важность этого эффекта связана с тем, что в реальной жизни трудно рассчитывать на очень длинные горизонты планирования даже в условиях высокой стабильности: люди неизбежно ценят близкое будущее выше, чем отдаленное.

Теперь рассмотрим, пусть в самом предварительном порядке, проблему принятия решений в рамках авторитарического режима в контексте общей продуктивности факторов. В нашей модели предстоит сделать выбор между стратегиями «баланса интересов» и «подавления», отталкиваясь от идеальных точек групп интересов (7). Очевидный аспект этой проблемы состоит в том, какая именно стратегия станет предпочтительной. На данном этапе мы можем сформулировать следующую гипотезу: *вероятность выбора стратегии баланса интересов снижается по мере уменьшения общей эффективности (TFP) и соответственно удаления идеальных точек групп друг от друга в пространстве экономических политик.* Логика состоит в том, что «равнодействующая» сильно удаленных интересов не устроит ни одну, ни другую группу, и риски потери властной элитой власти возрастут.

Вторая, менее очевидная, гипотеза заключается в следующем. *Экономические следствия выбора, а именно его влияние на темпы роста экономики, будут снижаться вместе с ростом общей производительности*

факторов. Другими словами, более продуктивная общественная система является более устойчивой по отношению к произволу в действиях принимающих решения лиц.

Эти гипотезы, разумеется, требуют эмпирической проверки, и в настоящее время работа в этом направлении активно ведется. Сложность состоит в том, во-первых, что численная оценка общей производительности факторов (связанная с численной оценкой запаса государственного капитала в отдельных странах) представляет собой отдельную нетривиальную проблему в макроэкономических исследованиях. Во-вторых, нет устоявшихся методик операционализации «горизонта планирования» (дисконтирующего фактора).

Однако уже на данном — «модельном» этапе исследования мы получили некоторые гипотезы, которые, как мы надеемся, заслуживают обсуждения и оценки. Принципиальный момент, который нам хотелось бы подчеркнуть в заключение, состоит в том, что эти гипотезы могут быть сформулированы только в той — *динамической* — методологии, которая была предложена в данной работе. Нам представляется, что перспективы развития современной политической экономии автократий как формальной теории связаны с построением динамической системы «экономика — политика». Эта задача на сегодняшний день очень далека от своего полноценного решения, и отечественная школа математического анализа общественных процессов может сыграть здесь ключевую роль.

Примечания

¹ *Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., Robinson J.* Democracy Does Cause Growth // NBER Working Paper No 20004. Cambridge: Cambridge MA, 2014. URL http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/democracy_does_cause_growth.pdf.

² *Bates R., Fayad G., Hoeffler A.* The State of Democracy in Sub-Saharan Africa // *International Area Studies Review*. 2012. No 15 (4).

³ *Bhalla S.* Freedom and Economic Growth: A Virtuous Cycle? // *Democracy's Victory and Crisis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

⁴ *Gerring J., Bond Ph., Barndt W., MoreNo C.* Democracy and Growth: A Historical Perspective // *World Politics*. 2005. No 57 (3).

⁵ *Papaioannou E., Siourounis G.* Democratization and Growth // *University of Peloponnese Working Papers*. 2008. No 27.

⁶ *Halperin M., Siegle J., Weinstein M.* The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace. N.Y.: Routledge, 2005.

⁷ *Leblang D. A.* Political Democracy and Economic Growth: Pooled Cross-Sectional and Times-Series Evidence // *British Journal of Political Science*. 1997. No 27 (3).

⁸ *Rodrik D., Wacziarg R.* Do Democratic Transitions Produce Bad Economic Outcomes? // *American Economic Review*. 2005. No 95 (2).

⁹ *Barro R.* Democracy and Growth // *Journal of Economic Growth*. 1996. No 1 (1).

¹⁰ *Burkhart R., Lewis-Beck M.* Comparative Democracy: The Economic Development Thesis // *American Political Science Review*. 1994. No 88 (4).

¹¹ *Feng Y.* Democracy, Governance, and Economic Performance: Theory and Evidence // Cambridge: MIT Press, 2003.

¹² *Kurzman Ch., Werum R., Burkhart R.* Democracy's Effect on Economic Growth: A Pooled Time-Series Analysis, 1951–1980 // *Studies in Comparative International Development*. 2002. No 37.

¹³ *Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F.* Democracy and Development: Political Institutions and Material Well-Being in the World, 1950–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

¹⁴ *Giavazzi F., Tabellini G.* Economic and Political Liberalizations // *Journal of Monetary Economics*. 2005. No 52 (7).

¹⁵ *Wood E.* Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

¹⁶ *Barro R.* Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society. Cambridge MA: The MIT Press, 1997.

¹⁷ *Doucouliaqos H., Ulubasoglu M.* Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis // *American Journal of Political Science*. 2008. No 52 (1).

¹⁸ *Rodrik D.* Democracies Pay Higher Wages // *The Quarterly Journal of Economics*. 1999. No 114 (3); *Tavares J., Wacziarg R.* How Democracy Affects Growth // *European Economic Review*. 2001. No 45 (8); *Knutsen C.* Democracy, Dictatorship and Protection of Property Rights // *Journal of Development Studies*. 2011. No 47 (1).

¹⁹ *Acemoglu D., Robinson J.* Economic Origins of Dictatorship and Democracy. N.Y.: Cambridge University Press, 2006.

²⁰ *Knutsen C.* The Economic Effects of Democracy and Dictatorship. Oslo: University of Oslo, 2011. URL: <http://folk.uio.no/carlhk/publications/CHKdissertationForPrint.pdf>.

²¹ *Robinson J.* When is a State Predatory? Cambridge MA: Harvard University Working Paper, 2001.

²² *Boix C.* Democracy and Redistribution. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; *Leblang D. A.* Political Democracy and Economic Growth: Pooled Cross-Sectional and Times-Series Evidence // *British Journal of Political Science*. 1997. No 27 (3); *Clague Ch., Keefer Ph., Knack S., Olson M.* Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies // *Democracy, Governance and Growth*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2003.

²³ *Polishchuk L., Syunyaev G.* Ruling Elites' Rotation and Asset Ownership: Implications for Property Rights // *Public Choice*. 2015. No 162.

²⁴ *Baum M., Lake D.* The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital // *American Journal of Political Science*. 2003. No 47 (2).

²⁵ *Akhremenko, A., Petrov A.* Efficiency, Policy Selection, and Growth in Democracy and Autocracy: A Formal Dynamical Model // Higher School of Economics Research Paper No WP BRP 16/PS/2014. М., 2014.

²⁶ *Guiso L., Sapienza P., Zingales L.* The Role of Social Capital in Financial Development // American Economic Review. 2004. Vol. 94. No 3; *Keefer, P., Knack S.* Boondoggles, Rent-Seeking, and Political Checks and Balances: Public Investment under Unaccountable Governments // Review of Economics and Statistics. 2007. No 89 (3).

²⁷ *Fjelde H., Hegre H.* Democracy Deprived: Corruption and Institutional Change 1985–2004 // Working paper presented at the 48th Annual Meeting of the International Studies Association, 2007; *Rock M.* Corruption and Democracy // The Journal of Development Studies. 2009. No 45 (1).

²⁸ *de Mesquita B., Smith A., Siverson R., Morrow D.* The Logic of Political Survival. Cambridge MA: MIT Press, 2003.

²⁹ *Besley T., Kudamatsu M.* Making Autocracy Work // Development Economics Discussion Paper Series. 2007. No 48.

³⁰ *Haber S.* Authoritarian Government // Oxford Handbook of Political Economy. Oxford: Oxford University Press, 2006.

³¹ *Gandhi J., Przeworski A.* Authoritarian Institutions and the Survival of Autocrats // Comparative Political Studies. 2007. No 40 (11); *Gandhi J., Przeworski A.* Cooperation, Cooptation, and Rebellion under Dictatorships // Economics and Politics. 2006. No 18.

³² *Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

³³ *Самарский А. А., Михайлов А. П.* Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2002.

³⁴ *Ахременко А. С., Петров А. П.* Политические институты, эффективность и депривация: математическая модель перераспределения политического влияния // Полис (Политические исследования). 2012. № 3; *Ахременко А. С., Петров А. П.* Институциональное инвестирование и эффективность общественной системы: опыт математического моделирования // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Вып. 4. М.: РАН ИНИОН, 2014.

³⁵ Более детально об исследованиях публичного капитала см.: *Arslanalp S., Bornhorst F., Gupta S., Sze E.* Public Capital and Growth // IMF Working Paper WP/10/175. 2010; *Crowder W. J., Himarios D.* Balanced Growth and Public capital: An Empirical Analysis // Applied Economics. 1997. No 29 (8); *Kamps C.* The Dynamic Effects of Public Capital: VAR Evidence for 22 OECD Countries // Kiel Institute of World Economics Working Papers. 2004. No 1224; *Pereira A. M., Roca Sagales O.* Spillover Effects of Public Capital Formation: Evidence from the Spanish Regions // Journal of Urban Economics. 2003. No 53.

³⁶ Более широкое определение включает все общественные блага, которые могут (хотя бы в принципе) быть оценены в денежной форме: уровень защиты прав собственности, общественной безопасности, развития системы образования и здравоохранения и т.д.

³⁷ *Przeworski A.* Democracy and Economic Development // The Evolution of Political Knowledge. Columbus: Ohio State University Press, 2004.

³⁸ *Hulten Ch.* Total Factor Productivity. A Short Biography // New Developments in Productivity Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

³⁹ *Hall R., Jones C.* Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? // Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114. No 1. P. 84.

⁴⁰ *Pritchett L.* The Tyranny of Concepts: CUDIE (Cumulated, Depreciated, Investment Effort) is not Capital // Journal of Economic Growth. 2000. No 5.

⁴¹ *Gupta S., Kangur A., Papageorgiou Ch., Wane A.* Efficiency-Adjusted Public Capital and Growth // World Development. 2014. No 57.

⁴² При условии, что α равна 0,5.

⁴³ Активно используемого в политэкономической литературе, см., напр.: *Battaglini M., Nunnari S., Palfrey T.* Legislative Bargaining and the Dynamics of Public Investment // American Political Science Review. 2012, Vol. 106. No 2.

⁴⁴ Можно показать аналитически, что начальные условия не влияют на поведение модели в стационарных режимах.

⁴⁵ *Olson M.* Dictatorship, Democracy and Development // The American Political Science Review. 1993. No 87.

⁴⁶ С тем отличием, что М. Олсон анализировал горизонт планирования автократа, мы же анализируем горизонты планирования групп интересов, на основании предпочтений которых принимает решение автократ.

4.6. Социальные сети как акторы современной российской публичной политики

Сетевой подход в политической науке развивался в рамках общего для социальных наук тренда, связанного с отказом от механистической картины мира с ее доминирующей идеей линейных причинно-следственных связей и акцентом на проблемах горизонтального взаимодействия и координации в условиях полицентричного общества. Адекватным ответом на изменяющиеся реалии политики стала сетевая методология, способная охватить сложность и текучесть современных социально-политических процессов, новый характер отношений между частной и публичной сферами, между государством и обществом.

Теоретические разработки концепции политических сетей как формы взаимодействия государства и групп интересов связаны с ее интеграцией с неинституциональным подходом, с помощью которого разрешается проблема «структура *versus* агент»¹ на основе анализа: а) сетевых связей акторов в виде отдельных групп интересов и государственных структур²; б) сетевых компонентов деятельности индиви-

дуальных акторов, в которых агенты выступают лидерами отдельных групп интересов³; в) позиций акторов и сетевых отношений между данными позициями⁴; процессуальных характеристик по обмену ресурсами акторов и структурных характеристик данного взаимодействия⁵. Одним из важных научных результатов эволюции теоретических положений сетевого подхода, связанного с концептуализацией понятия «политическая сеть», является создание различных типологий политических сетей на основе их структурных и функциональных характеристик. Сохраняющееся разнообразие концепций политической сети и динамическая конкуренция между ними внутри сетевой методологии свидетельствуют об эмпирическом многообразии политических сетей, требующих в каждом конкретном случае специфического определения, которое представляет вариацию их основных параметров⁶.

Согласно сетевой теории политики сеть является переменной в производстве политики, политика же рассматривается как модель интерактивных политических процессов⁷, характеризующихся взаимодействием между многими акторами и сложностью целей и стратегий, которые являются результатами такого взаимодействия.

Процессы сетевизации, или экспансии сетевого общества, приобретающая масштаб глобальных изменений, оказывают существенное влияние на все сферы жизни современного общества. Сетевые структуры, процессы и технологии, основанные на цифровом формате, захватывают уже ставшие традиционными уклады индустриального и постиндустриального общества и определяют новый формат социальности. В публичной политике это проявляется в виде эффектов сетевизации, способствующих формированию сетевых политических акторов и механизмов воспроизводства нового типа онтологии публичной политики — сетевую публичную политику.

Завоевав позиции в политической науке как аналитический инструмент⁸, сетевой подход сначала использовался для обоснования эмпирического инструментария в качественных и количественных исследованиях секторов в публичной политике⁹, а затем обусловил создание концептуальных моделей политических сетей, интерпретирующих разнообразные формы отношений между государством и группами интересов на основе горизонтальных связей¹⁰ и предлагающих различные типологии сетевых структур на основе их комплексных параметров¹¹.

Формирующимся научным направлением в сетевом подходе являются исследования, которые рассматривают онлайн-пространство и его роль в изменении формата публичной политики в национальном

контексте, связанном с появлением новых онлайн-сетевых структур и интерактивных механизмов сетевого публичного управления. Одним из первых в отечественной науке проблематику политических сетей, в том числе и в компаративном аспекте, начал разрабатывать Л. В. Сморгун, обобщивший результаты исследований политических сетей в ряде работ¹². А. И. Соловьев акцентировал внимание на методологических аспектах сетевого подхода к исследованию института государства в целом и процесса принятия государственных решений в частности¹³. Методологический и практический потенциал теории политических сетей в исследовании систем государственного управления был оценен в работах А. А. Дяттерева, О. В. Михайловой¹⁴.

Концептуальная структура проведенных авторами эмпирических исследований базировалась на методологии двойной рефлексивности. Ее основа — сочетание теории, качественной стратегии и стиля коллективной исследовательской работы: по мере продвижения исследований частные аспекты этой методологии проверялись, изменялись и развивались дальше. Из социологических методов сбора информации были использованы глубинное интервью, кейс-стади, интерактивный качественный анализ электронных ресурсов, онлайн-интерактивный сбор и анализ социологической информации в режиме реального времени. Анализ эмпирических данных основывался на качественной стратегии, интегрированная база источников ряда самостоятельных эмпирических исследований содержит 80 транскриптов глубинных интервью с респондентами, включенными в различные типы социальных сетей; материалы 40 кейсов социальных сетей (основанных на глубинных интервью, документах, материалах печатных и электронных СМИ, характеризующих институционализированные формы деятельности сети, результаты интерактивного сбора информации в социальных онлайн-сетях и т.д.); транскрипты 6 фокус-групповых интервью с представителями региональной и местной элиты, а также с лидерами межсекторного партнерства Краснодарского края; онлайн-платформы отечественных краудсорсинговых ресурсов различных субъектов деятельности: органов власти, организационных структур гражданского общества (традиционных НКО и сетевых) и социальных сетей.

Сетевой ландшафт российской публичной политики в реальном политическом пространстве характеризуется совокупностью различных социальных сетей (открытых и закрытых), основанных на определенных социальных связях (сильных/слабых), социальных ресурсах

(социальном капитале частного блага и связывающего социального капитала) и обуславливающих характер и способы политической институционализации социальных сетей. Процесс включенности социальных сетей в публичную политику характеризуется актуализацией различного рода политических практик социальных сетей и появлением определенных форм политической субъектности.

Различные формы политической субъектности социальных сетей не обособлены друг от друга, а встроены в единый процесс их вхождения в политику и политическую институционализацию. На первом этапе — *латентном* — погружение социальных сетей в политическую действительность происходит через индивидуализацию акторами сетей поддержки политической повседневности. Содержанием политической повседневности служит набор ситуативных социальных ролей, в которых протекает общественно-политическая жизнь индивида. На уровне политической повседневности происходит взаимная помощь в решении вопросов, оказываемая в режиме межличностного взаимодействия. Изначально такое отношение носит в большинстве случаев нереплексивный характер, т.е. не осознается индивидом в ясной понятийной форме. Однако данное отношение отчетливо фиксирует оценочные позитивные или негативные ориентации к существующим формальным политическим институтам и в дальнейшем влияет на характер актуализации политических практик, формальных и неформальных, связанных с реализацией конкретных целей индивидуальными сетевыми акторами.

Второй этап включенности социальных сетей в политику связан с существованием различных сообществ и позиционированием по отношению к ним индивидуальных сетевых акторов. Человек активно вовлекается в общественную жизнь и в политику не в качестве изолированного индивида, а путем установления формальных и неформальных социально-психологических связей с другими людьми, с социальной общностью. На данном этапе сети поддержки, формируя общие социокультурные нормы и процедурные правила доступа к сетевым ресурсам для индивидуальных сетевых акторов и порядок их сетевого взаимодействия, преобразуются в сетевые сообщества. Здесь существенную роль играет социокультурная среда (поселенческая общность, этническая община, профессиональный круг общения и т.д.), в которой возникают сетевые сообщества как результат развития сетей поддержки, образуемые близким кругом окружения человека — семейными и дружескими связями, типичными для регионов.

Данный этап включения социальных сетей в публичную политику условно можно определить как *субкультурное позиционирование сетевых сообществ*. Этап позиционирования тесно связан с такими социальными механизмами, как идентификация, социализация и интериоризация.

Глубокое усвоение господствующих в конкретном сетевом сообществе нормативов и стереотипов дифференцирует и упорядочивает образ мира человека, определяет стиль его жизни. Такого рода конструирование картины мира и процессы социализации — необходимое условие для формирования субкультуры сетевых сообществ, которая проецируется и на политический мир. Результатом этой проекции становятся формирование мировоззрения и усвоение типичных для данной среды нормативно-ценностных схем (образцов) поведения в сфере политики. Нормативно-ценностные схемы, продуцируемые сетевыми сообществами, являются не только основными регуляторами индивидуального поведения, но и неформальными социальными и политическими институтами, которые определяют набор альтернатив социальным субъектам действия. Именно в сетевых сообществах происходит вызревание когнитивных и нормативных интерпретаций политико-культурных паттернов и когнитивных моделей устоявшихся форм восприятия действительности конкретного общества¹⁵.

Важно отметить, что на данном этапе также формируется определенный тип социальной поведенческой стратегии сетевых сообществ: закрытые стратегии, способствующие производству социального капитала частного блага, и открытые стратегии, основанные на социальном капитале как общественном благе.

Закрытые поведенческие стратегии характерны для индивидуальных акторов сетевых сообществ, основанных на сильных интенсивных связях и четко дифференцируемых политико-культурных паттернах, которые обеспечивают жесткий и эффективный контроль поведения всех членов сети. Закрытые поведенческие стратегии сетевых сообществ связаны с накоплением и удержанием различного рода ресурсов и воспроизводством социального капитала частного блага, что способствует конституированию сетевого сообщества как субэлитной/элитной общности, или сетевого анклавного образования, стремящегося выжить или сохранить себя в определенных социально-политических условиях.

Гражданское и политическое участие сетевых сообществ оформляется на третьем этапе включенности социальных сетей в публичную политику — этапе политической институционализации сетевых сооб-

ществ. На данном этапе ключевым механизмом развития политических практик сетевых сообществ является конвертация сетевых ресурсов в различные формы политического капитала. Под политическим капиталом понимается инкорпорированная способность представителей социальных сетей, взаимодействующих на основе межличностного доверия и разделяемых всеми участниками норм и ценностей, к мобилизации коллективных действий и участию в этих действиях; способность институционализированного социальной сетью коллективного субъекта репрезентировать интересы других агентов, которые делегируют ему права на представительство своих интересов¹⁶. Согласно П. Бурдьё, политический капитал, как и другие виды капитала, может существовать в трех состояниях:

- 1) инкорпорированная форма политического капитала — совокупность относительно устойчиво воспроизводимых диспозиций (правила, из которых вытекают права, обязанности и ответственность участников), способностей участников социальной сети к репрезентации интересов и мобилизации коллективных действий, в том числе используя имиджевые и символические ресурсы сети;
- 2) объективированная форма, означающая принятие политическим капиталом овеществленных форм, которые доступны участникам сети в предметной форме (организационные, материальные, финансовые ресурсы, информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении);
- 3) институционализированная форма политического капитала, предполагающая объективированные формы признания данного вида политического капитала (структуры лидерства, элиты и другие элементы политической стратификационной системы).

Инкорпорированная, объективированная и институционализированная формы политического капитала отражаются в формальных и неформальных практиках в публичной политике, которые освоены участниками и структурами социальных сетей¹⁷.

Эмпирические исследования актуализации социальных сетей в публичной политике Краснодарского края и Астраханской области, а также триангуляция полученных результатов с другими региональными случаями сетевой активности в публичной политике позволили типологизировать структуры социального капитала, их конвертируемости в различные формы политического капитала посредством актуализации формальных и неформальных политических практик (табл. 1).

Таблица 1

Практики конвертации социального капитала в политический капитал

Виды политических практик	Формы политического капитала социальных сетей как результат конвертации собственных ресурсов		
	Объективированный	Институционализованный	Инкорпорированный
Формальные	Финансовая поддержка Передача в управление собственности Информационные ресурсы (печатные и электронные) НКО Бизнес-структуры Профессиональные организации Политические организации, движения, политические партии	Голосование Агитация Публичные акции Протестные акции Информационное давление Содействие другим организациям, в том числе и политическим Межсетевое взаимодействие	Диспозиции Способности участников сетей к репрезентации интересов и мобилизации коллективного действия Профессиональная компетентность в различных сферах Имиджевые и символические ресурсы как конкретных участников сети, так и сети в целом
Неформальные	Неформальная финансовая поддержка	Рекрутирование элит по земляческому, этническому и прочим признакам Информационное давление Лоббизм Коррупция	Имиджевые ресурсы, используемые в манипулятивных технологиях

Самым распространенным политическим капиталом исследованных социальных сетей является институционализованный. Институционализованные формы политического капитала дают дальнейший толчок развитию сетей и возможность с помощью собственных лидерских структур артикулировать, агрегировать и позиционировать собственные интересы в сфере публичной политики. Рассмотрим позитивные эффекты институционализованного политического ка-

питала на примере родительской сети по поддержке детей-инвалидов в Астраханской области. Родительская сеть по поддержке детей-инвалидов была создана в г. Астрахани в 1990 г. семью женщинами, имеющими детей-инвалидов с заболеванием ДЦП. В течение года сеть функционировала для обмена информацией (о технологиях лечения и реабилитации, возможностях качественного обучения, получения социальной помощи и т.д.) и эмоциональными ресурсами (эмоциональной поддержкой, чувством сопричастности и т.д.). В январе 1991 г. сеть институционализировалась в Астраханскую региональную общественную организацию по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям. Первоначально организаторы поставили перед собой следующие задачи: представлять и защищать права и интересы детей-инвалидов, реализовывать в жизнь установленные для них действующим законодательством льготы и преимущества, решать их социально-бытовые вопросы. В процессе своей деятельности лидеры родительской сети смогли не только конструктивно выстроить свои отношения с региональными и местными органами власти, но и привлечь ресурсы других сетевых структур и некоммерческих организаций. Деятельность организации поддерживают Министерство социального развития и труда Астраханской области, Центр занятости населения г. Астрахани. Так, например, был создан многофункциональный социально-реабилитационный центр «Русь» санаторного типа с отделением для молодых инвалидов, где апробируются инновационные методики по реабилитации детей-инвалидов. Астраханская региональная общественная организация по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям встроена с сетевое сотрудничество практически со всеми организациями некоммерческого сектора Астраханской области для решения заявленных ими задач. Способность формального лидера и неформального лидерского окружения репрезентовать интересы родительской сети и мобилизовать ее участников на коллективные действия привела к существенным изменениям в реализации социальной политики Астраханской области: создана региональная система поддержки инвалидов, внедрены образовательные и реабилитационные программы для людей с ограниченными возможностями. За 11 лет председательства лидера организации Н. В. Костюченко сеть увеличилась с 42 до 1070 семей, имеющих детей-инвалидов. За этот период разработано и реализовано 9 региональных программ, помогающих детям-инвалидам и их семьям адаптироваться к существующим условиям жизни.

Позитивные эффекты институционализированного политического капитала демонстрирует и проблемная сеть «Реконструкция центра Краснодара», заложившая механизмы для конструктивного сетевого межсекторного сотрудничества. Так, в 2005 г. администрацией города было принято стратегическое решение о реконструкции центральной части Краснодара. В зону реконструкции вошли 274 квартала с населением около 250 тыс. человек. Основные участники ситуации — население, администрация города и крупнейшие инвесторы — сформировали проблемную сеть, отличающуюся всеми видовыми признаками: конфликтность, подвижность, асимметрия ресурсов, консультации как основа отношений, существование барьера компетентности, большое количество участников с ограниченной степенью взаимозависимости.

Интересы населения состояли в улучшении жилищных условий, соблюдении прав собственников и максимальной информационной открытости проекта, получении нового жилья в центральной части города. Интересы администрации муниципального образования — реконструкция центральной части, развитие инфраструктуры, увеличение объемов вводимого жилья, строительство нового жилого района для отселяемых из ветхого фонда, изменение имиджа города. Интересы инвесторов — обеспечение стабильности бизнеса и его развития, получение новых площадок под застройку, рост спроса на жилье. Каждый из участников имеет еще и латентные интересы, например, отселяемые граждане стремятся получить максимальную компенсацию за ветхое жилье, а администрация — повлиять на свой рейтинг с помощью целевой программы «Краснодару — столичный облик». Данная сеть представляет собой яркий пример конвертируемости ресурсов в различные институционализированные формы политического капитала. Поскольку ни один из участников не может реализовать свои интересы без одобрения/согласия остальных, совместными действиями были предприняты меры, повышающие прозрачность проекта и создающие основу для постоянных консультаций сторон.

Данные кейсы демонстрируют, как региональные социальные сети, ориентированные на развитие и производство социального капитала как общественного блага, наращивают в процессе их публичной деятельности политический капитал. Социальные сети, способствующие развитию социального капитала как общественного блага, имеют открытый характер, ориентированы на постоянное включение новых акторов в сетевое взаимодействие и потребление общественного блага. Конвертируя сетевые ресурсы в различные формы политического капитала, акторы сетей демонстрируют эффективность публичных практик в решении общественно значимых проблем.

Механизм конвертации социальных ресурсов сетевых сообществ, основанных на открытых поведенческих стратегиях, способствует партисипационной форме политической институционализации сетевых сообществ, которая характеризуется формальным представительством коллективных интересов во взаимодействии с органами власти, общественными и политическими структурами на основе общности целевых функций акторов сетей.

Политическая институционализация представляет собой длительный и сложный процесс, который зависит от многих внутренних и внешних для группы причин. К внутренним причинам можно отнести: сплоченность сетевого сообщества и возможности его мобилизации; способность его членов к самоорганизации; наличие в ней лидеров, способных объединить группу для решения определенных задач; наличие у группы многих нерешенных проблем; преобразование исходящих от принадлежащих к группе граждан социальных эмоций и ожиданий в четкие и определенные политические цели и требования (процесс артикуляции). К внешним причинам, оказывающим влияние на процесс становления сетевых сообществ как актора публичной политики, относятся: угрозы существования данного сообщества; политический кризис, который обостряет нерешенные проблемы в социуме; активность других (конкурентных, оппозиционных) социальных групп; избирательный процесс в государстве, регионе; международная обстановка и т.д.

При этом в партисипационной форме политической институционализации сетевых сообществ существует два уровня формирования субъектности сетевых сообществ в сфере публичной политики: мобилизационный уровень и уровень формальной институционализации субъекта политики. Мобилизационный уровень характеризуется (ситуативным) действием сетевых сообществ в определенных обстоятельствах для защиты собственных интересов или под внешним воздействием другого субъекта политики (реактивная политизация). Уровень формальной институционализации сетевых сообществ предполагает: во-первых, формирование особых институтов и механизмов, выражающих интересы сетевых сообществ, во-вторых, их постоянную активность в сфере политики (постоянная политизация).

Яркий пример реактивной политизации сетевых сообществ и их партисипационной политической институционализации — разнообразные локальные и региональные случаи сетевой мобилизации. Сетевое структурирование интересов местных сообществ, характерное для российской региональной социокультурной среды, обуславливает конструктивную мобилизацию группой лидеров различных локальных социальных сетей и их ресурсов для решения местных проблем, мак-

симально приближенных к интересам граждан. Речь идет о массовых кампаниях, организованных на сетевых принципах и направленных на выработку конкретных решений. К таким типичным «точечным» сетевым массовым кампаниям относятся разнообразные гражданские акции, направленных на борьбу с незаконными застройками, вырубкой зеленых насаждений. Отмечая нарастающую распространенность мобилизационных практик политической институционализации сетевой общественности начиная с середины 2000-х годов, О. Н. Яницкий подчеркивает их конструктивный потенциал, так как мобилизация возможна только на сосредоточенности граждан на некоей проблеме и экспертном знании, на том, как ее разрешить, что в итоге способствует достижению социально значимого результата на основе сетевых инноваций¹⁸. В большинстве региональных случаев сетевой мобилизации происходит образование *ad hoc* коллективного субъекта малого радиуса действия, который трансформируется в первоначальные сети поддержки, как только проблема будет разрешена. Другой результат мобилизации сетевой общественности — формирование устойчивого политического актора, деятельность которого связана с общественно значимым гражданским действием.

В 2008–2009 гг. по всей территории России прошла волна протестов, объединяющих интересы автомобилистов. Поводом реактивной политизации различных сетей автомобилистов в регионах России стали действия государства, наносящие существенный урон интересам граждан (повышение таможенных пошлин, принятие нового технического регламента, существенное увеличение транспортного налога), а также обострение таких неразрешенных проблем, как системная коррупция в органах ГИБДД и неразвитая транспортная инфраструктура. Координацию протестных акций взяла на себя межрегиональная общественная организация Федерация автовладельцев России, усилиями которой 24 октября 2009 г. была организована всероссийская акция протеста, в которой участвовали граждане более чем 30 городов от Владивостока до Калининграда. Объединяющим символом солидарных действий автомобилистов стала желтая ленточка и включенный ближний свет фар в дневное время¹⁹. В некоторых городах, например в Калининграде, экономические требования протестующих автомобилистов переросли в уличные митинги против региональных органов власти²⁰. Гражданские акции автомобилистов способствовали формированию нового социального движения, которое посредством формальных практик (официальные обращения к Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, внесение предложений в Государственную Думу в виде поправок в федеральное законодательство и т.д.) оказывает воздействие на федераль-

ные и региональные органы власти. Движение автомобилистов — гражданская активность защитного плана, она определяется преодолением порога необходимости²¹ для сетевых сообществ как акторов публичной политики, когда происходит осознание интересов и преодоление барьеров по их осуществлению²². В то же время новые социальные движения, основанные на принципах мобилизации сетевой общественности, зачастую используют традиционные институты, такие как общественные организации и политические партии для представительства своих интересов, что обеспечивает их интеграцию в формирование политической повестки дня в качестве постоянно действующего публичного актора. Так, в 2012 г. была создана политическая партия «РОСПА» — «Российская партия автомобилистов России»²³, объединившая в единое сообщество региональные сети автомобилистов.

В целом для партисипационных форм политической институционализации характерно позиционирование сетевых сообществ в онлайн-пространстве, что существенно расширяет возможности построения как однородных, так и разнородных сетевых коалиций в решении общественно значимых проблем. Как показывает публичная практика сетевого экспертного сообщества Московского центра гендерных исследований (МЦГИ), сетевые сообщества, сформированные в традиционной среде, эффективно используют онлайн-позиционирование собственной гражданской деятельности и существенно расширяют круг институционализированных сетевых акторов.

Московский центр гендерных исследований был организован в 1991 г. сетью научных экспертов, специализирующихся на проблематике гендерных исследований. Миссия центра была определена как защита прав женщин, преодоление дискриминации по признаку пола, распространение демократических ценностей и содействие социальной трансформации для достижения гендерного равенства. На сегодняшний день в состав центра входят 70 женщин в возрасте от 25 до 80 лет. Для вхождения в социальную сеть необходим статус регионального эксперта, имеющего научную степень (или планирующего ее получить), статус преподавателя в ведущих учебных заведениях Российской Федерации, а также наличие научных публикаций, посвященных гендерной проблематике. К основным направлениям деятельности МЦГИ относятся: поддержка социальной активности женщин и женского движения; проведение исследований по правам женщин; экспертиза законодательства и социальной политики государства; развитие гендерного просвещения и образования.

Функционирование социальной сети на уровне регионов обусловлено наличием у региональных экспертов глубоких связей с НКО,

направленных на отстаивание и реализацию интересов гендерного равенства. Региональные эксперты включены в состав региональных консультативных органов по вопросам гендерного равенства.

С 2008 г. МЦГИ начал реализацию проекта «Создание сети экспертов по правам женщин в регионах России и подготовка рекомендаций для развития региональных структур национального механизма по гендерному равенству». Общие цели проекта включают в себя: содействие развитию региональных структур национального механизма по гендерному равенству; улучшение взаимодействия между региональными властями, экспертами и НПО, занимающимися защитой прав женщин; содействие созданию общероссийской сети экспертов по правам женщин, борьбе с дискриминацией и достижению гендерного равенства с акцентом на привлечение молодых активистов из регионов; определение эффективных путей воздействия общественности (экспертов и НПО) на федеральную и региональную политику для преодоления дискриминации женщин; систематическая защита ценностей прав человека, демократии и гендерной справедливости и продвижение их в общественное сознание; сохранение принципа гендерного равенства в политическом и социальном дискурсе.

Расширение институциональных возможностей деятельности экспертной сети связано с ее выходом в онлайн-пространство и формированием онлайн-сообщества на основе женских политических и феминистских интересов: (<forum.gender.ru>, <ravnopravka.ru>). <Forum.gender.ru> — информационно-просветительский форум научного женского онлайн-сообщества, являющийся ответвлением сайта <gender.ru> (работает с 1999 г.) — сайта РОО «Московский центр гендерных исследований». Подобного рода социальные онлайн-сети, как правило, обладают достаточными интеллектуальными, финансовыми и административными ресурсами. При поддержке МЦГИ возникло не менее 20 женских организаций: «ЖенСет» (Женская информационная сеть, 1990), Ассоциация независимых женских инициатив (1991), первый Кризисный центр для женщин (Москва, 1993), а также Тверской, Мурманский, Петрозаводский центры гендерных исследований. В настоящее время многие из этих организаций носят зонтичный характер и включают в себя как индивидуальных, так и коллективных членов.

В целом партисипационные формы политической институционализации сетевых сообществ способствуют складыванию системы гражданского партнерства, в котором отражается, несмотря на дифференциацию политико-культурных паттернов, свободный характер самоорганизаций в обществе, основанных на открытых поведенческих

стратегиях акторов социальных сетей и ресурсах социального капитала как общественного блага, в интересах саморазвития граждан.

Однако рассмотренные формы политической институционализации, как показывают результаты эмпирических исследований, при всех положительных эффектах в публичной политике не являются доминирующими (табл. 2). Латентные формы политической институционализации сетевых сообществ основаны на закрытых поведенческих стратегиях индивидуальных акторов и конвертации социального капитала как частного блага, который основывается на личных неформальных связях участников сети, взаимодействующих на основе межличностного персонализированного доверия и объединенных локальными групповыми нормами и правилами. Закрытые поведенческие стратегии позволяют за счет локального взаимодействия обеспечить индивидуальным акторам доступ к различным видам ресурсов. Связи и отношения членов социальной сети дают им возможность вписаться в существующую институциональную среду публичной политики посредством получения предпочтений от принадлежности к данной социальной группе. «Свойство неисключаемости в потреблении существует только для участников закрытых сетевых сообществ-коалиций, при этом члены сети способны исключить из числа потребителей частного блага тех, кто не принимает участия в его проставлении»²⁴. Сеть приобретает иерархический характер и высокие входные барьеры. При этом административный ресурс из-за включения в сеть чиновников различного уровня играет доминирующую роль. Сетевые сообщества закрытых поведенческих стратегий обеспечивают собственный статус-кво или дальнейшее развитие на основе неформальных практик инкорпорирования в систему публичного управления, что позволяет им наращивать собственные сетевые ресурсы за счет доступа к разнообразным ресурсам государства. Закрытые сетевые сообщества весьма ограничены в своих поведенческих стратегиях, так как процедурные правила игры обеспечивают жесткий внутрисетевой контроль. Используя определения Г. Хелмке и С. Левитски²⁵, можно сказать, что латентная институционализация сетевых сообществ обуславливает возникновение конкурирующих (несовместимых с формальными правилами) и замещающих (институционально трансформирующих слабые формальные институты) неформальных институтов.

Доминирование неформальных политических практик сетевых сообществ исследователи связывают со слабодифференцированной сферой публичной политики, дееспособной системой политического представительства, посредством которых осуществляются артикуляция и согласование интересов и ценностей различных социальных групп с целью

формулирования общезначимых целей и реализации политического действия для их достижения²⁶. Возможность реализации сетевыми сообществами практики гражданского партнерства в сфере публичной политики может определяться природой и потенциалом медиативного агента, в качестве которого традиционно выступают политические институты. В случае ослабления политических партий и иных институционализированных структур способность сетевых сообществ выдвигать эффективные требования и санкционировать действия органов власти остается ограниченной. Исследователи, анализирующие незападный политический процесс, считают, что неформальные практики закрытых сетевых сообществ в условиях дефицита публичности представляют собой альтернативные формы медиативного действия, способствующие активизации субъектности социальных сетей в зависимости от конкретного контекста и сформулированной миссии²⁷. Для публичной политики латентная институционализация сетевых сообществ при отсутствии дееспособных медиативных агентов ведет к негативным экстернальным эффектам. Впоследствии в интерпретации М. Олсона данные эффекты определяются как «негативный социальный капитал»²⁸, или социальные связи, препятствующие политическому и экономическому процветанию государства (ограничение свободы членов сообщества; укрепление патронажно-клиентарных отношений; коррупция; формирование *net*-центричной картины мира и т.д.). В этом случае, основываясь на доверии, социальные сети выступают дополнительным или альтернативным по отношению к институтам регулятором взаимодействия, выполняя стабилизационную функцию, препятствуя коллапсу системы социальных институтов путем повышения их гибкости. Тем самым социальные сети становятся механизмом, корректирующим несовершенство формальных институтов²⁹, но исключительно в интересах отдельных закрытых сообществ.

Анализ глубинных интервью представителей региональной политико-административной элиты показывает, что чем ниже уровень власти, тем шире «коридор возможностей» для проявления публичности в региональной политике. Система местного самоуправления накладывает определенные ограничения на реализацию сетевыми сообществами закрытых поведенческих стратегий, что обусловлено двумя факторами: с одной стороны, руководителям муниципальных образований ежедневно приходится сталкиваться с решением конкретных задач и проблемами граждан «лицом к лицу»; с другой — муниципальный уровень публичного управления теряет свою привлекательность для сетевых сообществ, так как весьма ограничен в ресурсах в сравнении с региональным и национальным уровнями (исключение составляют лишь города-доноры).

Таблица 2

**Социальные сети в формировании политического капитала
современного российского общества**

Тип социальных сетей	Тип социального капитала, производимого деятельностью социальных сетей	Форма конвертации социального капитала в политический	Функции политического капитала в институциональной среде публичной политики	Тип производства публичной политики
Открытые социальные сети с расширяющимся составом участников, ориентированные на развитие социальных взаимодействий, связанных с потреблением ресурсов сети	Производство социального капитала как общественного блага, способствующего политической организации граждан	Формальные политические практики институционализации сетевых сообществ	Социальная интеграция общества	Открытый характер публичной политики, основанный на конструктивном взаимодействии власти и гражданского общества во всех фазах цикла публичной политики
Закрытые социальные сети, имеющие входные барьеры и ориентированные в своей деятельности на охранную стратегию ресурсов участников сети	Производство социального капитала как частного блага, способствующего формированию клик (клиентел) в политике	Неформальные политические практики институционализации сетевых сообществ	Социальная интеграция на микроуровне и социальная дезинтеграция на макроуровне общества	Закрытый характер публичной политики, ориентированный на обеспечение частных интересов элитных групп

Закрытые сетевые сообщества демонстрируют охранительные стратегии, препятствующие развитию публичной политики в регионе. В результате латентной политической институционализации сетевые сообщества приобретают иерархичную структуру, в которой существует одна или несколько центральных точек распределения ресурсов в публичных органах власти, представляющих интерес для периферийных узлов социальной сети, включающих в себя различных акторов. Сетевые сообщества инкорпорируются в политико-административные структуры публичного управления и сливаются с его корпоративной стратификационной системой.

Таким образом, сетевой ландшафт публичной политики в регионе с неоднородной гетерогенной сетевой структурой и многоуровневым характером сетевых взаимодействий способствует институционализации, согласно определению П. В. Панова, «вложенных» или «наслаивающихся» политий³⁰. Открытые социальные сети актуализируют преимущественно формальные политические практики и партисипационные формы политической институционализации сетевых сообществ, предполагающие их включенность в процесс принятия публичных решений и конструктивное взаимодействие с органами власти по поводу общественно значимых проблем. Однако данные практики ограничиваются институционализацией на микроуровне, т.е. уровне отдельных сетевых сообществ, не приобретая характера институционализации макроуровня. Фрагментированность институционального политического порядка также обусловливается латентной институционализацией закрытых социальных сетей, соответствующих сегментированному социуму, построенному по кликовому принципу, в котором социальная интеграция реализуется лишь на микроуровне (локальных сообществ), тогда как социетальной интеграции (на макроуровне) на основе общих политических норм и ценностей, т.е. формирования современного политического порядка, не происходит³¹. В таком социуме воспроизводятся властные отношения, основанные преимущественно на господстве и подчинении, отсутствуют механизмы согласования общих и частных интересов.

Формирование эффективной публичной политики в России возможно на основе социетальной интеграции, которая обеспечивается самоорганизацией социальных сетей и партисипационными формами политической институционализации сетевых сообществ. Социальные сети открытого типа с их предрасположенностью к формированию социального капитала как общественного блага имеют конструктивный потенциал актуализации в сфере публичной политики, поскольку

они не только регулируют координацию сотрудничества и конфликта между различными микросредами, но и поддерживают их автономию в рамках макропорядка политического, повсеместно признанного легитимным.

Таким образом, рассмотрение политической институционализации социальных сетей невозможно без изучения процесса вхождения социальных сетей в публичную политику и формирования сетевых сообществ в качестве политического актора. Становление политической субъектности социальных сетей проходит три этапа, два из которых предполагают групповые формы включения в политическую жизнь общества (рис. 1). На первом этапе — латентном — происходит погружение социальных сетей в политическую действительность через индивидуализацию акторами сетей поддержки политической повседневности и нерелексивное усвоение личностью набора ситуативных социальных ролей и поведенческих стандартов в сфере политики. Второй этап включенности социальных сетей в политику, определяемый как субкультурное позиционирование сетевых сообществ, тесно связан с такими социальными механизмами, как индентичность/идентификация, социализация, интериоризация. На данном этапе происходит формирование политико-культурных паттернов, типичных для среды определенных сетевых сообществ, регулирующих политическое поведение индивидуальных акторов и конституирование сетевых сообществ. Под сетевыми сообществами понимается совокупность социальных взаимоотношений и социальных связей акторов, действующих в различных средах (*offline* и *online*) между определенными индивидами, и самих индивидов, объединенных коллективной идентичностью и общностью нормативно-ценностных схем, позволяющих им обмениваться различными видами ресурсов в процессе их взаимодействия.

Третий этап включенности социальных сетей в политику связан с политической институционализацией сетевых сообществ, которая обеспечивается механизмом конвертации ресурсов открытых и закрытых сетевых сообществ в политический капитал. В результате конвертации социальных ресурсов в политические практики политическая институционализация приобретает различные формы: 1) партисипационную форму, включая мобилизационный уровень формирования политической субъектности сетевых сообществ и уровень формальной институционализации сетевых сообществ, 2) латентную форму, основанную на неформальных практиках инкорпорирования сетевых сообществ в систему публичного управления. Партисипационная форма

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

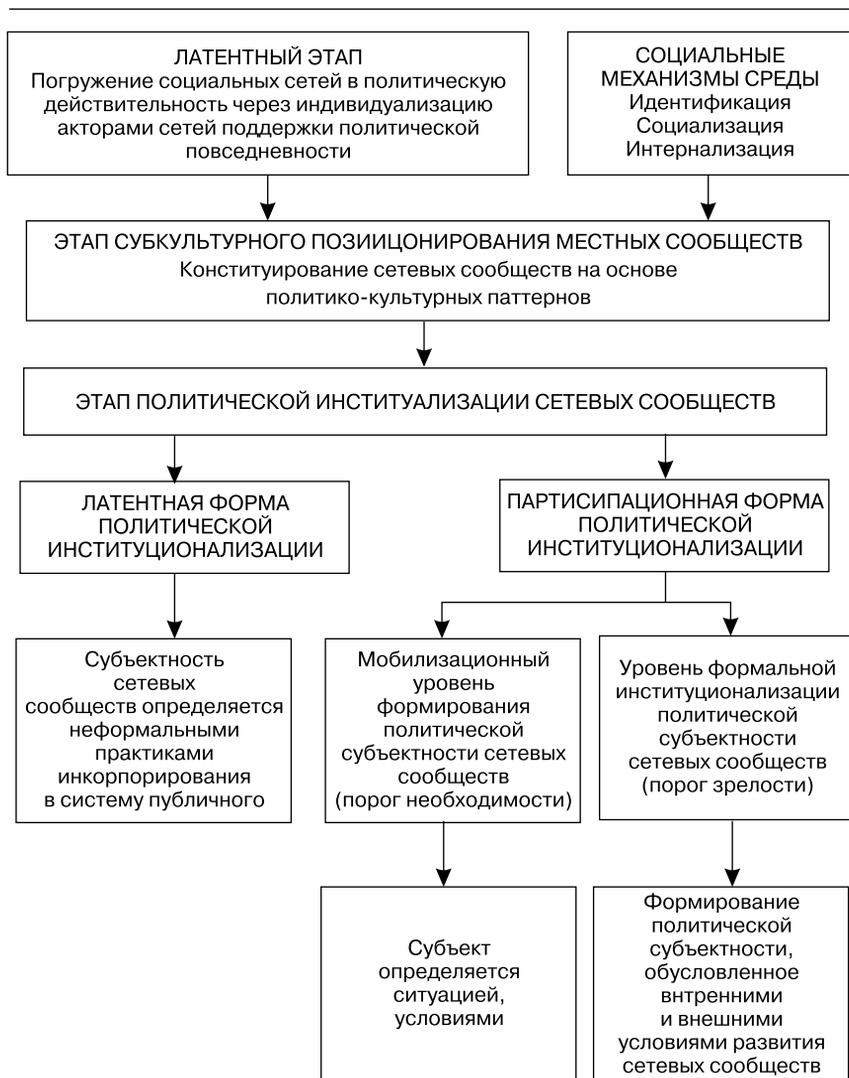


Рис. 1. Этапы включенности социальных сетей в публичную политику

политической институционализации обусловлена конституированием открытых сетевых сообществ, обладающих конструктивным потенциалом для разворачивания субъектности в публичной политике. Латентная политическая институционализация происходит благодаря не-

формальным политическим практикам закрытых сетевых сообществ, что способствует сужению сферы публичной политики и консервации деструктивного потенциала сетевых сообществ.

Примечания

¹ *Daughjer C.* Policy Networks under Pressure: Pollution Control, Policy Reform and Power of Farmers. Ashgate, 1998. P. 23–36.

² *Waarden F.* Dimensions and types of policy networks // *European Journal of Political Research.* 1992. Vol. 21. P. 29–52.

³ *Comparing Government — Industry Relations: Western Europe, the United States, and Japan / S. Wilks, M. Wright (eds.).* Oxford, 1987.

⁴ *Knoke D.* Political Networks: The Structural Perspective. Cambridge, 1990.

⁵ *Marsh D., Smith M.* Understanding Policy Networks: towards a Dialectical Approach // *Political Studies.* 2000. Vol. 48. P. 10–12.

⁶ *Waarden F. van* Dimensions and types of policy networks // *European Journal of Political Research.* Special Issue. 1992. Vol. 21, № 12. P. 29–52.

⁷ Согласно интерактивно-полититологическому подходу политика рассматривается как результат взаимодействия между многими акторами. Политические процессы характеризуются конфликтами интересов, а определения проблем динамичны и непредсказуемы. См.: *Allison G.T.* The Essence of Decision. Little Boston, MA: Brown & Company, 1971; *Cohen M.D., March J.G. Olsen J.P.* A Garbage Can Model of Organisational Choice // *Administrative Science Quarterly;* *Lindblom C.E.* The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment. London: Free Press, 1965; *Lindblom C.E., Cohen D.K.* Usable Knowledge: Social Science and Social Problem Solving. New Haven, CT/London: Yale University Press, 1979.

⁸ *Poucke W. van.* Network Constraints on Social Action: Preliminaries for a Network Theory // *Social Networks.* 1979. №37; *Emirbayer M., Goodwin J.* Network Analysis, Culture and the Problem of Agency // *American Journal of Sociology.* 1994. Vol. 99; *Schneider V., Werle R.* Policy Networks in the German Telecommunications Domain // *Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations.* Boulder; Colorado; Frankfurt: Campus Verlag/Wesview Press, 1991.

⁹ *Lummann E.O., Knoke D.* The Organizational State, Social Choice in National Policy Domains. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1987; *Kenis P., Schneider V.* Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox // *Policy Networks. Empirical Evidence and Theoretical Considerations.* Colorado; Frankfurt: Campus Verlag; Wesview Press, 1991.

¹⁰ *Borzel T.* Rediscovering Policy Networks as a Form of Modern Governance // *Journal of European Public Policy.* 1998. Vol. 5, №2; *Knoke D., Marsch D.* Policy networks and GM groups issue: Assessing the utility of a dialectical model of policy networks // *Public Administration.* 2003. Vol. 81; *Rhodes R., Marsh D.* Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches // *Policy Network in British Government.* Oxford, 1992; *Daughjer C.* Policy Networks under Pressure:

Pollution Control, Policy Reform and Power of Farmers. Ashgate, 1998; *Waarden F.* Dimensions and types of policy networks // *European Journal of Political Research*. 1992. Vol. 21.

¹¹ *Hecllo H.* Issue Networks and Executive Establishment // *The New American Political System*. Washington, 1978; *Rhodes R., Marsh D.* Policy Network in British Government. Oxford, 1992; *Knoke D.* Political Networks. The Structural Perspective. Cambridge, 1990; *Knoke D., Kuklinski J.H.* Network analysis. Sage Publications, 1982; *Sabatier P.A.* Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition Approach. Westview Press, 1993; *Marsh D., Smith M.* Understanding Policy Networks: towards a Dialectical Approach // *Political Studies*. 2000. Vol. 48.

¹² *Сморгунов Л.В.* Сетевой подход к политике и управлению // *Полис*. 2001. №3; *Он же.* Сравнительный анализ административных реформ: от нового государственного менеджмента к концепции «governance» // *Полис*. 2003. №4.

¹³ *Соловьев А.И.* Трансъячеистые структуры как форма строения и источник саморазвития государства // *Полис*. 2006. №6; *Он же.* Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти // *Полис*. 2011. №5.

¹⁴ *Дягтерев А.А.* Принятие политических решений. М.: КДУ, 2004; *Михайлова О.В.* Политические сети: проблема эффективности и демократичности политических альянсов // *Вестник МГУ. Сер. 21: Управление (государство и общество)*. 2011. №3; *Она же.* Сети в политике и государственном управлении. М.: Издательство КДУ, 2013.

¹⁵ *Ткачев Д.Ш.* Особенности функционирования институтов и социальных сетей на постсоветском пространстве // *Полис*. 2006. № 2. С. 81.

¹⁶ *Радаев В.В.* Социология рынков: к формированию нового направления. М., 2003.

¹⁷ *Морозова Е.В., Мирошниченко И.В.* Инвесторы политического капитала: социальные сети в политическом пространстве региона // *Полис*. 2009. № 2. С. 69.

¹⁸ *Яницкий О.Н.* Массовая мобилизация: проблемы теории // *Социологические исследования*. 2012. № 6. С. 9.

¹⁹ Материалы официального сайта Межрегиональной общественной организации Федерации автовладельцев России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.autofed.ru/?p=162>

²⁰ В Калининграде митинг против повышения транспортного налога превратился в массовое уличное выступление против «Единой России». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ikd.ru/node/11959>

²¹ Термины «порог необходимости» и «порог зрелости» впервые были введены в работе *Пузырева И.В.* (Российские банки как субъекты политики: дис. ... канд. полит. наук. М., 1999). Автор данного исследования вкладывает в эти определения другой смысл, прежде всего институциональные характеристики.

²² *Tilly C.* From Mobilization to Revolution. Reading, 1978. P. 53.

²³ Материалы Министерства юстиции РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://minjust.ru/taxonomy/term/210>.

²⁴ *Курбатова М.В., С.Н. Левин С.Н., Каган Е.С.* Структура социального капитала как фактор институционального развития региона // *Общественные науки и современность*. 2010. № 6. С. 37–51.

²⁵ *Helmke G., Levitsky S.* Informal institutions and comparative politics: A research agenda // *Perspectives on politics*. 2004. Vol. 2, № 4. P. 11–15.

²⁶ *Berman S.* Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic // *World Politics*. 1997. Vol. 49.

²⁷ *Лукин В.Н.* Гражданское общество в глобальном мире. М., 2005.

²⁸ *Алексеев Е.С.* Когнитивные механизмы интеграции социальных сетей // *Полис*. 2007. № 3. С. 92–114.

²⁹ *Ткачев Д.Ш.* Особенности функционирования институтов и социальных сетей на постсоветском пространстве // *Полис*. 2006. № 2. С. 81.

³⁰ *Панов П.В.* Политический порядок и проблема воспроизводства власти: институт преемника. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.politex.info/content/view/720/30/>

³¹ *Хлопин А.Д.* Политическое и социальное в российской институциональной среде: проблема трансформации социума клик // *Политическая наука*. 2003 № 3: Современная политическая социология. С. 51–52.

4.7. Публичная политика в регионах России: концептуальные основания и инструментальные методы

В условиях глобализации и информационного взрыва, перехода к инновационному типу развития сложно и неоднозначно кристаллизуются социальные интересы, рождаются новые социальные регуляторы и институты. Мир вззошел на новую ступень цивилизационного развития. Это не могло не отразиться на существенных характеристиках в системе гражданского общества: резко возросла эмансипация личности от государства, сократилось пространство его командного воздействия, произошло развитие и усложнение горизонтальных социальных связей, сплетение многообразных гражданских институтов и движений в целостную сеть. Именно в это время в западной мысли наблюдается колоссальный интерес к концепту публичной политики (далее — ПП), поскольку исторически ПП возникла на волне дискуссии о повышении эффективности государственного управления и, самое главное, расширения возможностей участия гражданского общества в политическом процессе. Так, Р. Роудс в статье «Новый метод управления: управление без правительства»¹ рассматривает разнообразие смыслов нового метода управления (*governance*) и демонстрирует возможности его применения при анализе правительственных структур в Великобритании. Актуальность данного понятия, по его мысли, состоит в том, что необходим поиск новых принципов государственного управления в услови-

ях глобализации, изменения роли государства и общества в развитых странах. Эти вызовы по-новому высветили значимость переосмысления проблем представительной демократии в постиндустриальном обществе в условиях формирования сетевого общества, содержательных особенностей трансформации модели государственного управления; возникновения таких явлений и институтов, как *делиберативная демократия и ее электронный вариант*, «правление в сотрудничестве».

Таким образом, в центре внимания исследователей ПП находится участие гражданского общества в процессах госуправления. Однако исследовательский интерес представляет скорее не сам факт такого участия, а **публичность политики** как качественно-количественная характеристика процесса госуправления, в разной степени присущая разным странам, изменяющаяся во времени и поддающаяся операционализации, т.е. описанию посредством набора переменных величин, имеющих количественное выражение. Операционализация понятия **публичность политики** дает возможность исследователю корректно сравнивать различные политические системы по степени участия гражданского общества в госуправлении, а также отслеживать динамику изменения участия (и соответственно качество и вектор изменения самой политической системы) в конкретной стране.

С усложнением структуры общества и происходящих в нем динамичных и/или кризисных процессов в различных его сферах, возрастанием экологических, геополитических, демографических и иных рисков усложняются и функции современного государства, которое стоит перед вызовом более тонкого и адекватного отражения системы многообразных интересов и потребностей самого общества. Каким бы масштабным и разветвленным ни был государственный аппарат, он не в состоянии справиться с этой задачей. Все острее ощущается необходимость активного включения самого общества в процессы формирования публичной политики и управления. В этом смысле особенно значимым становится институт переговорно-согласительных процессов, которые происходят между различными кругами общественности, государственной власти и крупными группами частных интересов. Отработка механизмов и процедур результативных переговоров превращает публичную сферу в арену сознательного управления конфликтами на основе согласования и сопряжения частных и публичных (общественных) интересов. Соответственно расширяется предметное поле ПП, в котором формируется «повестка дня» и осуществляется мониторинг выполнения принятых программ/проектов. Структура публичной политики государства намного усложняется. В современном обществе

она расчленяется на ряд относительно самостоятельных направлений: макроэкономическую политику (в свою очередь подразделяющуюся на промышленную, торговую, финансовую, фискальную, аграрную и пр.), социальную политику, коммуникативно-информационную политику, культурно-символическую, этнонациональную политику, экологическую политику, политику безопасности и др. Центром сопряжения дифференцирующей инфраструктуры публичной сферы становится критерий реализации *общественных интересов* и *производство общественных благ*. В ежегодном *Докладе о развитии человека 2010*, подводившем итоги двадцати лет исследований Программы развития ООН, отмечалось, что в теоретической и практической литературе основным показателем развития до недавнего времени считался экономический рост. Соответственно, модели развития были сфокусированы преимущественно на воздействии политических стратегий и институтов на экономику. Современные вызовы требуют нового взгляда на политику. Сегодня ориентиром развития должен служить человек, благополучие которого не сводится только к деньгам; люди должны иметь возможности для реализации своих жизненных планов и интересов. Развитие человеческого потенциала — главная задача государства и мера оценки эффективности госуправления². В такой постановке агрегированный *Индекс развития человеческого потенциала* (ИРЧП) ООН вполне может служить адекватным конечным показателем успешности государства, оцениваемой по *последствиям* его деятельности для граждан.

Суммируя, можно сказать, что решение проблемы преодоления отчуждения между государством и обществом в развитых демократиях (бросившее серьезный вызов самому существованию институтов представительной демократии) стимулировало разработку новой концепции госуправления для XXI в., предусматривающей обеспечение широкого доступа граждан и бизнеса к правительственной информации, — прежде всего в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения, занятости, налогообложения, лицензирования и ведения бизнеса, государственных закупок и госзаказа, международных торговых операций. Усиление критериев публичности госуправления, сопряженное с повышением его эффективности, предусматривало также предоставление гражданам новых каналов коммуникации, позволяющих им участвовать в выработке *правил игры*, определяющих отношения между государством и гражданами, и осуществлять постоянный *контроль* над тем, как эти правила соблюдаются. Одновременно с повышением требований к эффективности госуправления актуализируется потребность в ее количественной оценке и мониторинге, позво-

ляющих контролировать осуществление изменений. В 1996 г. Институт Всемирного банка открыл проект регулярного международного мониторинга *governance*, охватывающего более 200 стран. В определении *governance* в различных проектах, в зависимости от целей и предпочтений исследователей, используется институционально-структурный, или процедурный, подход, либо же во главу угла ставятся результаты деятельности государства и ее последствия для общества³.

Наш подход к изучению феномена ПП базируется на соединении субъектных и институциональных аспектов его реконструкции, под которой мы понимаем многообразный ансамбль процессов и отношений. Во-первых, она являет собой особое качество госуправления, которое все более ориентируется на идеи *постбюрократической организации*, предполагающей отказ от традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, кооперации, перехода от «логики учреждения» к «логике обслуживания», к развитию нового государственного менеджмента, исключающего жесткие вертикальные формы «господства—подчинения» (на это были нацелены все административные реформы, проводившиеся в современном мире в последнюю четверть XX в.). Во-вторых, активное гражданское участие и соответствующие процедуры в принятии властных решений. В-третьих, разработку с общественным участием различного рода программ для решения возникающих в обществе проблем, а также социальных технологий их реализации. В-четвертых, она охватывает процесс двусторонней коммуникации разнообразных общественных групп с органами власти, выстраиваемый большей частью симметрично, в диалоговом режиме⁴. Думается, что именно институт публичной политики является тем социально-политическим образованием, которое по своей природе и призвано выступать условием и средством, позволяющим обществу формировать стратегическую «повестку дня», выявлять, артикулировать и продвигать общественные (публичные) интересы, создавать внутренние стимулы и ценности инновационного развития, переводить возникающие в этом процессе конфликты и столкновения в позитивно-функциональное русло, превращая их тем самым в элемент социальной динамики.

Мировой опыт свидетельствует, что развитие публичной сферы и ПП выступает средством обеспечения в обществе климата сопричастности и демократизма. Их главное назначение состоит в том, чтобы поддерживать и расширять участие самого общества в социально-политических и экономических процессах, стимулировать поиск таких решений общественных проблем, которые дают оптимальные вари-

анты соединения частных интересов с публичными, т.е. интересами общества как целого. Публичная сфера, будучи стержнем публичной политики, соответственно выполняет важнейшие функции, обеспечивающие взаимодействие власти и общества, а именно⁵:

- артикуляция общественных интересов;
- публичный контроль деятельности власти и состояния дел в обществе, в государстве, в экономике, в социокультурной сфере;
- влияние на формирование государственной политики;
- политическое просвещение граждан.

Артикуляция основных кластеров интересов общества в публичном пространстве служит средством и необходимой предпосылкой самоидентификации этого общества, определяющей суть и главные линии государственной публичной политики. Они должны прозвучать в самом обществе, отчетливо заявить о себе, чтобы и власть, и сама общественность смогли их заметить и оценить. Тогда в повестке дня публичной политики выявятся вопросы, действительно волнующие общественность, прояснятся приоритетность и очередность их решения.

От организации публичной сферы и развитости ее ключевых институтов и механизмов в значительной мере зависит характер ПП. Публичная сфера — это своеобразный «инновационный инкубатор», позволяющий «свежей крови» новых социальных технологий:

- оптимизировать механизм взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества (развить межсекторное социальное партнёрство);
- преодолевать с целью конструктивного реформирования заостренность государственных институтов;
- подключать ресурс гражданских инициатив к формированию государственной политики и контролю за деятельностью власти.

Реализация требований формирования Стандарта открытости управления в современной России требует эффективного использования инструментов обратной связи в публичной сфере, позволяющей власти своевременно улавливать тенденции развития общественных процессов и производить коррекцию управленческих решений, а населению — соответственно влиять на формирование «повестки дня» и процесс принятия управленческих решений, участвовать в решении социально значимых проблем и контролировать качество их исполнения. Со стороны гражданского общества все больше зреет запрос на хорошо работающие институты взаимодействия. На глазах происходит реструктуризация гражданского общества, формирование автоном-

ных сетевых, в том числе блогер-сообществ, возвращение в публичную политику НКО, сопровождаемое и ускоряемое появлением новых нравственно-политических норм и образцов поведения. Гражданское общество становится аккумулятором социального активизма и в этом качестве указывает на проблемные точки легитимности нынешнего политического порядка. Если подходить к анализу многосторонних и противоречивых процессов общественно-политической трансформации в России с позиции интересов субъектов гражданского общества, то можно определенно сказать, что в нынешних условиях оно демонстрирует тренд постепенного перехода от фактора социально-политической модернизации к превращению в один из ее субъектов. При этом в процессе своего развития оно начинает выступать в качестве своеобразного «индикатора» качества институциональной среды политической системы, показывая, насколько глубоко и органично в ней представлено демократическое начало. Очень важно эмпирически уметь выявлять качество институтов этого публичного взаимодействия. При конструктивном выстраивании ПП граждане не только «сверху» воспринимают *правильность вырабатываемых стратегий, но и подключены к поиску и реализации административных решений и имеют институциональные каналы для взаимного интенсивного обмена информацией, снятия напряжений и урегулирования конфликтных ситуаций*. Как никогда, сегодня важна функция ПП — налаживание диалога между социально значимыми субъектами общественно-политического процесса: властью, бизнесом, гражданскими организациями и самим населением, которое очень чувствительно реагирует на стремительное снижение общественного благосостояния. Расширение поля ПП может стать механизмом достижения консенсуса, т. е. общественного согласия, среди различных активных групп общества и власти по формированию и принятию той «повестки дня», которая будет способствовать выходу общества из кризиса. Таким образом, гражданское общество и публичная сфера едины, как две стороны медали: первое без последней не в состоянии выйти за пределы партикулярно-частных интересов, соединить их с публичными, общенациональными. В свою очередь публичная сфера находит в гражданских инициативах и организациях свою живую и деятельную опору.

В России политологические исследования, более или менее охватывающие сферу публичной политики, концентрируются преимущественно либо на общей теории политики, либо на политических технологиях, востребованных электоральной практикой. Редко встречаются исследования, посвященные методам формирования

ПП, механизм реализации ПП, учету интересов различных групп населения и т.п. Фактически не представлены работы, в которых изучается весь цикл — формирование, реализация, оценка и коррекция ПП. Предпринятые нами многолетние эмпирические исследования привели к созданию оригинального инструментария для оценки состояния публичной политики — **ЯН-индекса**⁶, который структурно состоит из двух частных индексов — *для оценки степени развитости субъектов публичной сферы и для оценки институтов и механизмов публичной политики*. Накопленные эмпирические данные применения ЯН-индекса в 44 регионах из 8 федеральных округов РФ позволили сделать вывод о его работоспособности.

Первый из субиндексов в нашей схеме нацелен на оценку действенности субъектов и акторов публичной сферы (представительная власть, исполнительная власть, бизнес, политические партии, НКО, профсоюзы и пр.).

Второй субиндекс, существенно дополняющий предыдущий, характеризует состояние важнейших институтов и механизмов публичной сферы, обеспечивающих открытость и демократичность ключевых процессов и процедур, касающихся важнейших систем и каналов участия граждан в публичной политике (выборы, верховенство закона и права, возможности участия в экономической деятельности, соблюдение принципа неприкосновенности частной собственности, гражданский контроль и пр.).

Методология построения и формализация ЯН-индекса

При создании ЯН-индекса для оценки действенности субъектов и акторов публичной сферы из 15 исходных показателей было отобрано 9, а для оценки состояния институтов и механизмов ПП при помощи ЯН-индекса — 13 показателей (из 20).

Расчет значений субиндексов строится на основе данных опросов трех групп респондентов из разных регионов РФ (на основе целевой выборки) — государственных и муниципальных служащих, представителей малого и среднего бизнеса, а также сотрудников общественных и некоммерческих организаций. Всего за период пилотной апробации проекта (2004—2008 гг.) было опрошено около 1500 человек из 17 регионов. Пилотная апробация позволила доработать и уточнить анкету: были расширены и изменены формулировки вопросов, которые более точно раскрывали суть функционирования институтов и субъектов региональной публичной политики. Их отработка велась методами

качественного исследования — на фокус-группах и экспертных совещаниях. Начиная с 2009 г. исследование ПП распространились на 38 субъектов РФ. При этом в некоторых регионах при поддержке местных ученых и региональных администраций они стали проводиться в режиме мониторинга. В общей сложности за период 2009–2014 гг. было опрошено более 6.5 тыс. человек⁷.

Опрашиваемых просили оценить каждый из 22 показателей по 10-балльной шкале. Данные опросов трех групп респондентов из каждого региона агрегировались так, чтобы получаемые среднегрупповые оценки могли быть использованы для:

- сопоставления позиций разных групп опрошенных в одном регионе;
- сравнения оценок каждой из групп для разных регионов;
- рейтингования регионов по действенности субъектов и акторов публичной сферы и по работоспособности институтов и механизмов ПП.

Оценки состояния субъектов и институтов ПП, полученные в ходе анкетирования в каждом из исследованных регионов, подвергались анализу и переводу в оцифрованную форму. Обработка полученных материалов и расчет значений ЯН-индекса велись по специально разработанной методике. Кратко формализованное описание построения ЯН-индекса дано в Приложении к статье.

Типология региональной публичной политики

В 2009–2010 гг. на единой методологической базе было выполнено масштабное исследование состояния публичной политики в 24 регионах России⁸. Одна из гипотез исследования состояла в том, что опираясь на оценки ЯН-индекса, может быть выявлена дифференциация регионов, что позволит выделить устойчивые типы региональной ПП.

На основе анализа первичных данных опросов трех групп респондентов (госслужащие, представители бизнеса и общественники) были рассчитаны значения ЯН-индексов и построены гистограммы и графики для каждого из 24 регионов. В итоге не только выявлены *пять типов региональной ПП*, но и получены новые теоретические результаты, имеющие методологический характер — *критерий консолидированности и критерий разрывности мнений* разных групп респондентов в отдельном субъекте РФ. Был предложен также *индикатор разброса оценок* каждой группы респондентов на всей совокупности из 24 обследованных регионов.

Критерии консолидированности и разрывности оценок. Типы региональной ПП

Анализируя данные региональных опросов, расчетные значения субиндексов, сводных ЯН-индексов и другие графические материалы, в разных регионах были выявлены *типовые «портреты»* публичной политики. Для того чтобы различать эти «портреты» систематическим образом, было предложено ввести **критерий консолидированности и критерий разрывности оценок**⁹. Эти критерии были определены на основе известного математического результата — расстояния Чебышева, получившего название по имени всемирно известного русского математика П. Л. Чебышева. Коротко представим их суть. Обозначим: $x_{i,j}$ — величина i -го субиндекса по оценкам j -й группы респондентов; в нашем случае $i = \overline{1,2}$; $j = \overline{1,3}$; $\Delta_{j,j+1}^i = |x_{i,j} - x_{i,j+1}|$ — разность значений i -го субиндекса, рассчитанных на основании оценок двух разных групп респондентов.

Критерий консолидированности: оценки ПП в регионе консолидированные, если значения обоих субиндексов для каждой группы респондентов отличаются друг от друга менее чем на 10% максимально возможной величины, равной 1:

$$\forall i, j: \Delta_{j,j+1}^i < 0,1.$$

Критерий разрывности: оценки ПП в регионе разрывные, когда значения хотя бы одного субиндекса для двух и более групп респондентов отличаются друг от друга на 20% и более от максимально возможной величины субиндекса, равной 1:

$$\exists i, j: \Delta_{j,j+1}^i \geq 0,2.$$

Используя эти критерии, были выявлены 5 типов региональной ПП, а именно:

1. Регионы с консолидированными низкими оценками — респонденты из всех 3 секторов *одинаково низко* оценивают состояние ПП (в квадранте (0, 0,5; 0, 0,5));

2. Центрированные регионы — где все три группы респондентов дали *консолидированно среднюю оценку ПП* — в области (0,5+/-0,05; 0,5+/-0,05;

3. Регионы с партнерскими отношениями между секторами — где респонденты дают *консолидировано высокие оценки* состояния ПП — в квадранте (0,5; 1; 0,5; 1);

4. Регионы с неконсолидированными оценками ПП — где оценки респондентов из разных групп *имеют разрыв* хотя бы по одному субиндексу и могут быть консолидированы по другому;

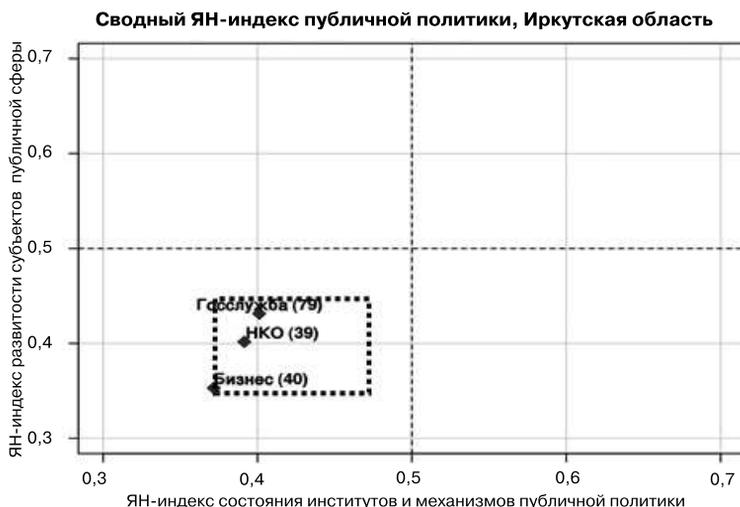


Рис. 1. Пример региона с консолидированными низкими оценками

5. Регионы с разрывными неконсолидированными оценками ПП — где, по крайней мере, оценки ПП респондентами из двух секторов характеризуются *значимым разрывом (отвечают критерию разрывности)*.

Типы ПП 1–3 определяются только критерием консолидированности, тип 5 — критерием разрывности. Тип 4 — комбинированный, когда используются оба названных критерия. Продемонстрируем выявленные типы ПП примерами.

На рис. 1 дан пример, когда все три группы респондентов консолидированно низко оценили показатели, входящие в множество показателей оценки институтов ПП и субъектов публичной сферы. Прямоугольник из пунктиров — это *критерий консолидированности оценок* для данного случая. Нетрудно видеть, что оценки всех трех групп попали внутрь этого прямоугольника в рамках зоны низких оценок.

Неконсолидированный тип ПП (4-й) показан на рис. 2. Здесь видно, что субиндекс развитости субъектов публичной сферы у респондентов из группы госслужащих вышел за пределы прямоугольника, заданного критерием консолидированности.

На рис. 3 показан пример разрывного типа ПП. Здесь субиндексы двух групп респондентов (госслужба и НКО) находятся вне прямоугольника, определенного критерием разрывности (между оценками этих групп разрыв чуть более 20% максимальной величины субиндекса).

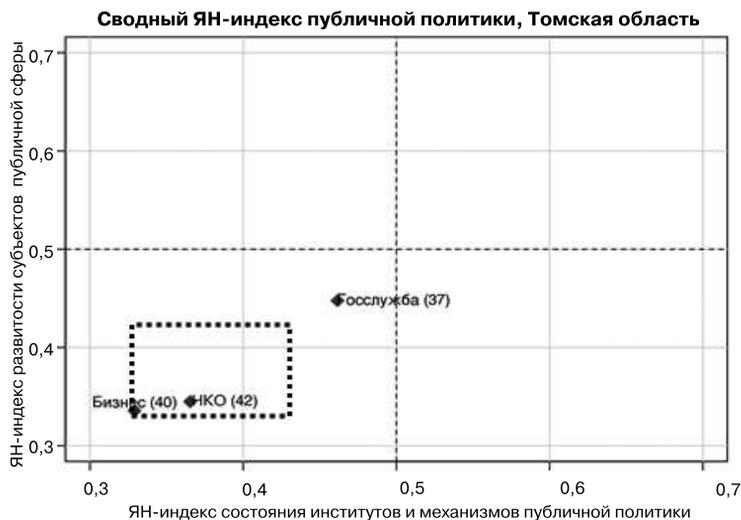


Рис. 2. Пример региона с неконсолированными оценками ПП

Анализ результатов исследования ПП в разных регионах РФ и описание особенностей пяти типов региональной публичной политики опубликованы в серии наших статей в известных журналах и изданиях¹⁰.

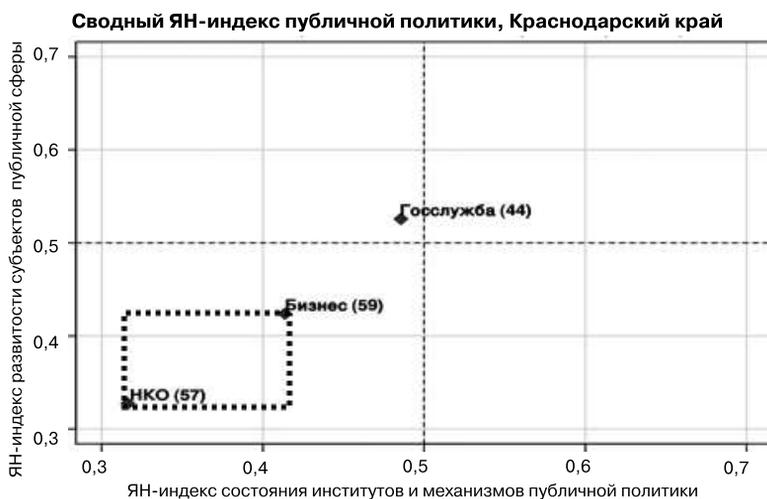


Рис. 3. Разрывной тип ПП

Показатель состоятельности институтов ПП

Изучая материалы региональных исследований, мы выявили, что в разных регионах респонденты дают невысокие оценки одним и тем же институтам и механизмам ПП. Из анализа многих критических замечаний по поводу деятельности институтов ПП были выделены следующие требования, которым они должны отвечать:

1. Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих создание института, а также определяющих правила, нормы и процедуры его функционирования;
2. Соответствие правоприменительной практики работы института этим нормам;
3. Наличие обученного персонала, обеспечивающего качественную работу института ПП и отвечающего за выполнение его функций;
4. Понимание гражданами роли института ПП и своего участия в его деятельности.

Очевидно, что в деятельности институтов ПП выполняются не все требования. И при оценивании респонденты учитывают эти несоответствия. После обсуждения причин такого оценивания в ходе глубинных интервью и фокус-групп было предложено ввести показатель *состоятельности институтов ПП*¹¹.

Суть показателя состоятельности института ПП состоит в следующем: необходимо рассчитать долю респондентов, поставивших тому или иному институту ПП оценки от 6 до 10 баллов включительно (в пятибалльной шкале это соответствовало бы оценкам от «удовлетворительно» до «отлично»), к общему числу респондентов, оценивавших данный институт ПП. Используя данные расчетов, получаем соответственно следующую категоризацию институтов ПП по степени их состоятельности¹²:

- *несостоятельные институты ПП* — когда менее трети респондентов (33%) от всех трех групп поставили институтам от 6 до 10 баллов;
- *слабо состоятельные институты ПП* — когда оценки от 6 до 10 баллов были даны числом респондентов от трети до половины (от 33 до 50%) от всех трех групп;
- *состоятельные институты ПП* — когда более половины (50%) респондентов поставили оценки от 6 до 10 баллов.

Расчеты показателя состоятельности институтов ПП для ряда областей были выполнены нами в 2012 и 2013 гг. Так, на рис. 4 вид-

4.7. Публичная политика в регионах России...

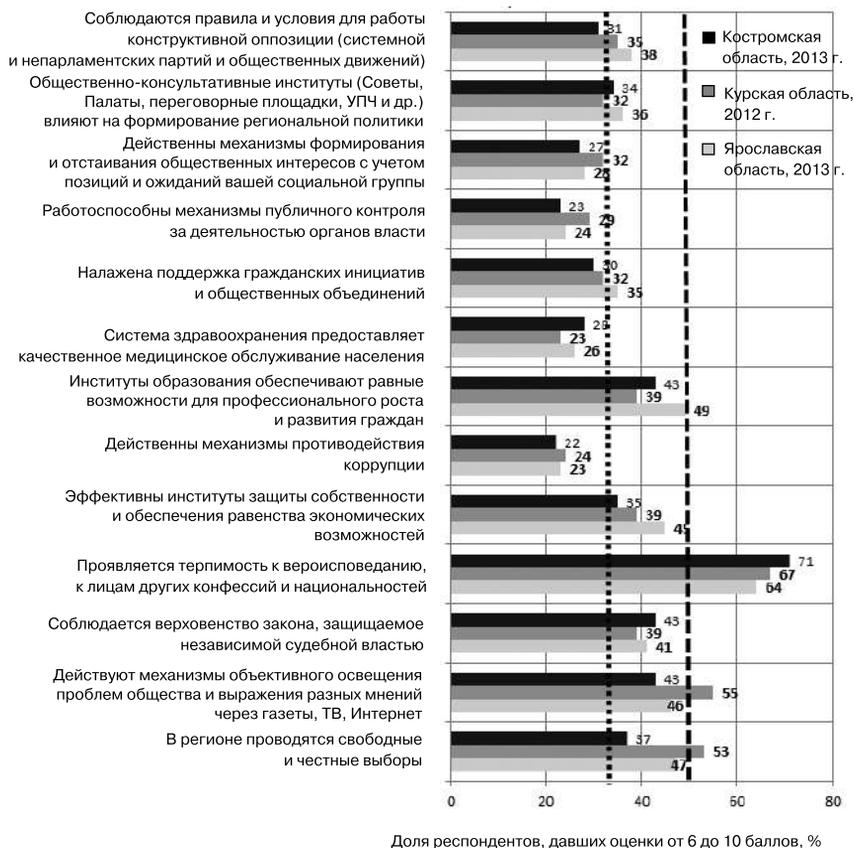


Рис. 4. Сравнение оценок состоятельности институтов ПП для трех регионов

но, что все институты ПП, кроме двух, в Костромской области были оценены респондентами как *несостоятельные*. При этом наибольшую несостоятельность с позиции более чем 80% опрошенных демонстрируют *механизмы противодействия коррупции, региональная система здравоохранения, механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти и механизмы формирования и отстаивания общественных интересов*. Один институт ПП попал в зону *слабосостоятельных* (региональные институты образования) и лишь один оказался *состоятельным* — *терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальностей*.

Из рис. 4 видно, что в Курской области ситуация с институтами ПП выглядит немного лучше. Действительно, здесь в качестве *несостоятельных* оценены 6 из 13 обследованных институтов ПП, три из которых получили от 71 до 77% неудовлетворительных оценок (от 1 до 5 баллов), а именно: *региональная система здравоохранения, механизмы противодействия коррупции и механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти*). Четыре института и механизма ПП попали в категорию *слабосостоятельных* (от 33 до 50% оценок в диапазоне 6–10 баллов) — это *институт судебной власти, институт защиты собственности, институт образования и правила и условия деятельности для конструктивной оппозиции*. Три института ПП в Курской области попали в группу *состоятельных*: *терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальностей, механизмы объективного освещения проблем общества в СМИ и институт выборов*.

Оценки состоятельности институтов ПП Ярославской области лучше — только 4 из 13 оказались несостоятельными.

Таким образом, разработанный нами инструментарий оценки деятельности институтов и субъектов ПП в регионах РФ позволяет получать важную информацию, которая может быть использована для выработки решений по совершенствованию их функционирования. Критерий оценки *состоятельности институтов* ПП конструктивен хотя бы потому, что явно выявляет *слабые* места (несостоятельные институты) в региональной ПП. Это может помочь в установлении приоритетов и определении первоочередных задач для улучшения ситуации взаимодействия власти и гражданского общества. Очевидно, что далеко не все институты ПП могут быть «исправлены» с федерального уровня. Только представители регионального гражданского общества того или иного региона на собственном опыте ощущают пробелы в деятельности отдельных институтов и, выделяя своими оценками несостоятельные и слабо состоятельные из них, «подсказывают» региональным властям, что требует улучшения в первую очередь. Иными словами, для обеспечения устойчивости общественного развития очень важен принцип *«горизонтальной интеграции»* при институциональном реформировании. Последнее предполагает, что преобразование институтов публичной сферы происходит не изолированно от социально-политических акторов, а напротив, в тесном взаимодействии с продвижением интересов и ожиданий основных агентов публичного поля в регионе, заинтересованных в эффективном функционировании данных институтов.

Наши исследования показали, что общая тенденция развития ПП в России за последние 2–3 года неоднозначна: нерешенной пробле-

мой остается позитивное приращение конструктивного потенциала ПП. Нерешенной задачей остается также прибавление партнерского или хотя бы сбалансированного типа ПП. Количественный и качественный анализ результатов показал, что на уровне субъектов РФ ПП характеризует формальность, а порой — имитационность и фальсификация обратных связей.

Не в последнюю очередь это связано с усилением в регионах административных начал по сравнению с политическими. Об этом говорят представители активной части гражданского общества. Примечательно, что именно те институты, которые должны были обеспечивать активную и надежную обратную связь, меньше всего вызывают удовлетворение у представителей как бизнес-сообщества, так и НКО-сектора. Очевиден запрос на более высокое качество ПП во взаимодействии власти и гражданского общества. Задачи расширения рамок и качества социально-политического представительства общественных интересов полноценно могут осуществляться только в публичной сфере. *Публичная сфера* — это сфера диалога, общения, коммуникации, это сфера договора с государством по общезначимым вопросам. Как только атрибут публичности начинает исчезать или ощутимо «уменьшаться», так сразу же на смену ему идут закрытость, коррумпированность, клановость и пр. Каналы влияния на органы государственной власти монополизируются сильнейшими группами давления, а гражданские институты оказываются не в состоянии донести свои интересы до органов власти, что отражается на ухудшении оценок состояния институтов ПП со стороны гражданского общества.

Проведенные в 2009–2013 гг. исследования в целом подтвердили, что административное начало в региональной управленческой структуре стремится доминировать в поле ПП, в то время как переход к сетевым коммуникациям и мониторинговой демократии вызывает к иным принципам взаимодействия. Поэтому мы фиксируем сегодня вызревание противоречивых тенденций в точке сопряжения потребности на усиление регулирующей роли государства и на расширение формата нового качества публичного взаимодействия с ним общества.

В условиях слабой эффективности механизмов обратной связи реформы по преимуществу проводятся «сверху», прежде всего силами государственной бюрократии, которая далеко не всегда готова развивать и использовать полноценный режим симметрично выстроенной социально-политической коммуникации с активными группами гражданского общества, совместного формирования и выявления публичных ценностей, предпочитая режим административно-политического

монолога. Подобный подход способен внести существенный вклад в развитие ригидности, снижение гибкости и адаптивности созданной политической системы. Вызовы внешней среды (финансово-экономический кризис, усложнение геополитического контекста в мире, природные катаклизмы) при такой ригидности могут привести к существенной дисфункции политико-властных институтов. Но самое худшее, это когда альтернатива, выраженная в виде уличного, внесистемного протеста, начинает апеллировать именно к внесистемным методам воздействия на органы управления, не обладающие навыками эффективной коммуникации с обществом. Протестные митинги в поствыборный период декабря 2011 — зимы 2012 г. показали, что мы имеем *сложную и многомерную социально-политическую реальность*, в которой на сохраняющиеся старые социально-экономические и политические проблемы наложился новые, связанные с активизацией среднего класса и активной позицией гражданского общества. В этих условиях особенно важным становится совершенствование качества ПП и эффективности госуправления. В первую очередь это означает развитие институтов диалога и информирования властных структур и гражданских организаций относительно функций, целей, возможностей и ограничений в деятельности обеих сторон, связанных с решением социально значимых задач. Для создания, развития и реализации эффективного взаимодействия требуются формирование, организация и продвижение информационно-коммуникационных каналов (сетевых, но не только их), позволяющих активизировать инструменты обратной связи. Одновременно возникает необходимость в разработке процедур, технологий, обеспечивающих переговорный процесс для совместного обсуждения проблем и поиска их решений. Особенно актуальным становится просветительско-образовательный компонент ПП, состоящий в формировании навыков и умений выражения своих позиций и отстаивания общественных интересов. Очевидно, что повышение качества ПП — не одномоментный процесс. Это означает, что требуются совместные усилия по выращиванию названных выше институтов, инструментов и процедур.

Важной и актуальной проблемой становится изучение исторически сложившихся в обществе институтов самоорганизации гражданского общества и качества их взаимодействия с властью в публичном поле. Важно, чтобы реально работали институты обратной связи, которые обладали бы способностью доносить до органов управления совокупность общественных интересов, а последней позволяли выстраивать — в диалоге с обществом — общенациональную «повест-

ку дня» в интересах развития всего общества. Если система институтов обратной связи начинает давать сбои, сжимая формат публичного взаимодействия до формального диалога, то это неминуемо приводит к снижению качества управленческих решений и повышает риски для устойчивого развития.

Приложение

Формализованное описание построения ЯН-индекса

Дадим описание построения ЯН-индекса по этапам.

Этап 1. Сбор и организация данных опросов в регионах

Сначала оценки отдельных групп респондентов сводятся в матрицы: $[d_{ij}]_k^r$ — это матрица оценок состояния институтов и механизмов публичной политики (далее — ПП), свидетельствующих о демократичности и открытости общества, сделанных респондентами k -й группы из r -го региона. Таким образом, для каждого региона получаем три матрицы оценок состояния институтов ПП (далее — матрицы D_k^r): оценок государственных и муниципальных служащих D_1^r оценок представителей малого и среднего бизнеса D_2^r и оценок представителей НКО D_3^r , $[s_{ij}]_k^r$ — это матрица оценок действенности субъектов и акторов публичной сферы респондентами k -й группы из r -го региона.

Выше приняты следующие обозначения: $i = 1, 2, \dots, n^d$ — номер показателя для оценки институтов и механизмов ПП, n^d — число таких показателей; $i = 1, 2, \dots, n^s$ — номер показателя для оценки действенности субъектов или акторов публичной сферы, n^s — число этих показателей; $j = 1, 2, \dots, m^r$ — номер респондента, m_k^r — число респондентов k -группы (в нашем случае было три группы респондентов: госслужащие, бизнесмены и представители некоммерческих организаций), опрошенных в r -м регионе, $r = 1, 2, \dots, R$, где R — число регионов, в которых проходило анкетирование.

Для каждого региона получаем три матрицы оценки действенности субъектов публичной сферы (далее — матрицы S_k^r): госслужащих S_1^r , бизнесменов S_2^r и представителей НКО S_3^r , а также три матрицы оценки состояния институтов и механизмов ПП.

Этап 2. Расчет групповых оценок

Используя построенные ранее матрицы, для каждой группы респондентов по каждому i -му показателю рассчитываем групповые оценки:

$d_i^{rk} = \frac{\sum_{j=1}^{m_k^r} d_{ij}}{m_k^r}$ — групповая оценка состояния институтов и механиз-

мов ПП респондентами k -й группы из r -го региона, а $s_i^{rk} = \frac{\sum_{j=1}^{m_k^r} s_{ij}}{m_k^r}$ — групповая оценка развитости субъектов и акторов публичной сферы респондентами k -й группы из r -го региона.

Этап 3. Визуализация групповых оценок

Теперь, используя отдельно групповые оценки d_i^{rk} и s_i^{rk} для данного региона, строим две сопоставимые гистограммы оценок.

Этап 4. Расчет значений ЯН-индексов

Следующий шаг состоит в расчете ЯН-индексов [Якимец, 2008] после применения формулы линейного масштабирования к исходным данным оценок институтов ПП и субъектов публичной сферы (этап 1). Расчет ЯН-индексов выполняется с использованием следующих формул:

1. $D^{rk} = \frac{\sum_{i=1}^{n^d} d_i^{rk}}{n^d \times 10}$ — для вычисления значений ЯН-индекса состояния институтов и механизмов ПП для каждой k -й группы респондентов данного региона.

2. $S^{rk} = \frac{\sum_{i=1}^{n^s} s_i^{rk}}{n^s \times 10}$ — для вычисления значений ЯН-индекса действенности субъектов публичной сферы для каждой k -й группы респондентов данного региона.

Заметим, что в итоге получаем в каждом из двух случаев три значения ЯН-индекса для каждой группы респондентов (госслужащие, представители бизнеса, НКО) данного региона. Эти значения могут меняться от 0 до 1. Причем чем ближе значение ЯН-индекса к 1, тем выше оценивается респондентами данного региона состояние институтов ПП или действенность субъектов публичной сферы.

Этап 5. Графические портреты регионов

Вычисленные значения ЯН-индексов можно теперь представить для каждого региона в форме следующих *графических «портретов»* для каждого региона отдельно (рис. 5). Сводный ЯН-индекс в данном случае означает, что в двумерном пространстве ЯН-индекса институтов ПП и ЯН-индекса развитости субъектов публичной сферы точками

4.7. Публичная политика в регионах России...

показаны соответствующие оценки каждой группы респондентов (госслужащих, бизнесменов и сотрудников НКО).

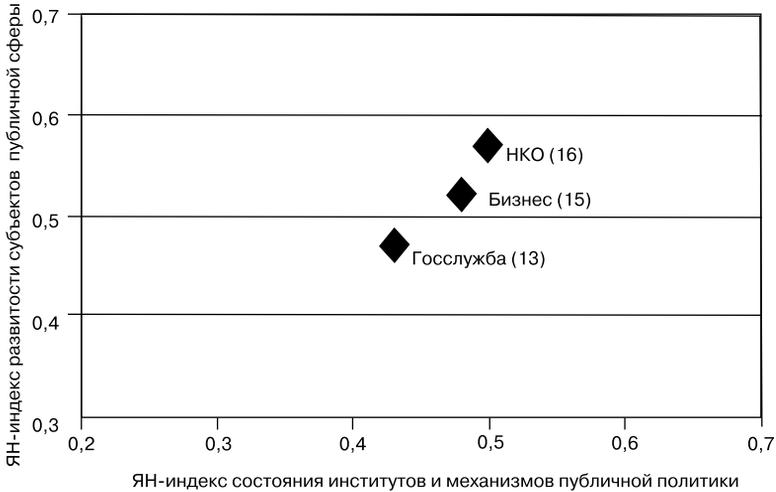


Рис. 5. Сводный ЯН-индекс для одного из регионов

Этап 6. Визуализация значений ЯН-индексов для межрегиональных сравнений

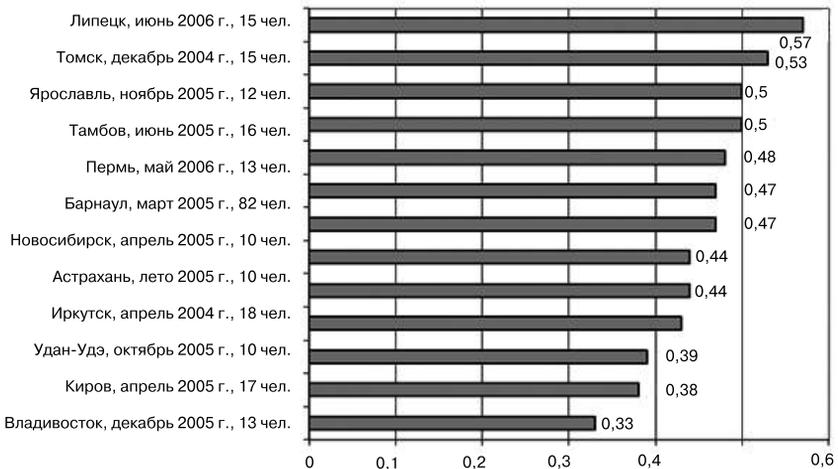


Рис. 6. Межрегиональное сравнение действенности субъектов публичной сферы представителями гос- и муниципальной службы

А можно и не сводить оба ЯН-индекса, а показать их отдельно, сопоставляя значения для разных регионов (на рис. 6 даны примеры данных пилотного периода).

Далее, вновь возвращаясь к двумерному пространству обоих ЯН-индексов, мы можем сравнить оценки одной и той же группы респондентов (например, представителей региональных НКО, как это представлено на рис. 7).

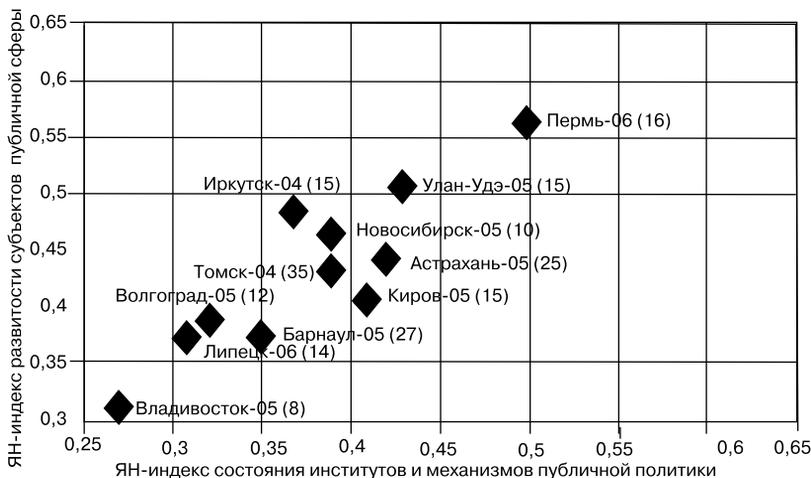


Рис. 7. Сводный ЯН-индекс по оценке региональных НКО

Этап 7. Расчет и визуализация интегральных ЯН-индексов

И, наконец, рассчитываются интегральные ЯН-индексы для каждого региона:

$$1. D^r = \sum_{k=1}^3 D^{rk} = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^{n^d} d_i^{rk}}{n^d \times 10}.$$

$$2. S^r = \sum_{k=1}^3 S^{rk} = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^{n^s} s_i^{rk}}{n^s \times 10}.$$

Суть *интегральных индексов* состоит в том, чтобы устранить различие оценок, полученных от представителей разных секторов. Дело в том, что все они (бизнесмены, представители власти и госслужащие, представители НКО) являются жителями одного и того же региона. Каждый из них имеет право на свою позицию, давая соответствующие оценки параметрам, характеризующим состояние субъектов публичной сферы и институтов публичной политики. При расчете значений

4.7. Публичная политика в регионах России...

интегральных индексов они учитываются в одинаковой степени. Графически *интегральные ЯН-индексы* могут быть оформлены в форме гистограмм (рис.8) или точек в двухмерном пространстве (рис. 9).

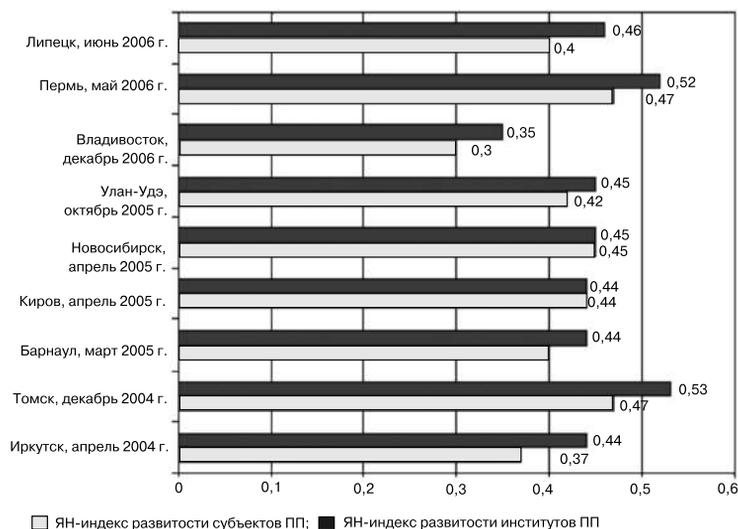


Рис. 8. Сравнение интегральных ЯН-индексов регионов в виде гистограмм

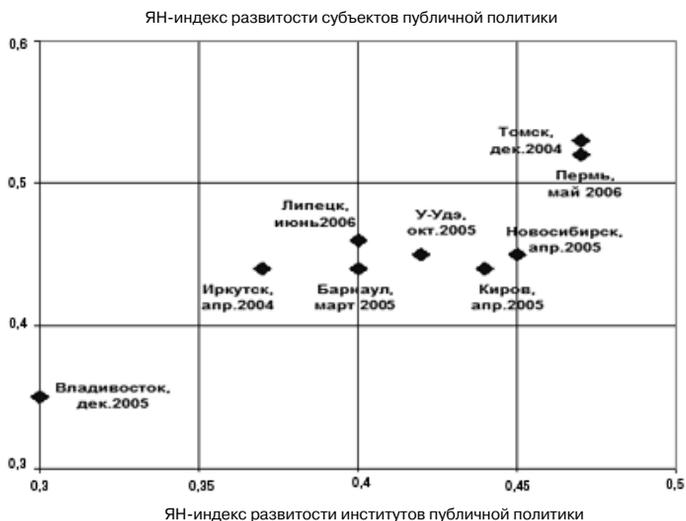


Рис. 9. Сравнение интегральных ЯН-индексов регионов на плоскости

Как отмечалось ранее, в некоторых из регионов изучение состояния институтов ПП и действенности субъектов и акторов публичной сферы проводится регулярно в режиме мониторинга. На рис. 10 дана динамика изменений для Ярославской области (2009–2013 гг.)

Этап 8. Расчет индикаторов разброса оценок

Исследуя «облака» значений сводных ЯН-индексов для разных групп респондентов из всех обследованных регионов (рис. 11), нетрудно заметить, что в совокупности оценки бизнесменов сосредоточены более компактно и почти все лежат в зоне низких оценок, что довольно сильно отличает их оценки ПП от оценок ПП сотрудниками НКО и от оценок ПП госслужащими. Используя известное в теории множеств понятие «диаметр множества», нами было предложено ввести понятие — *индикатор разброса*.

Предложена формула для расчета индикатора разброса оценок. Обозначим: $M = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ множество точек на плоскости. В нашем случае на каждом из графиков, показанных на рис. 11, приведена 21 точка, $n = 21$.

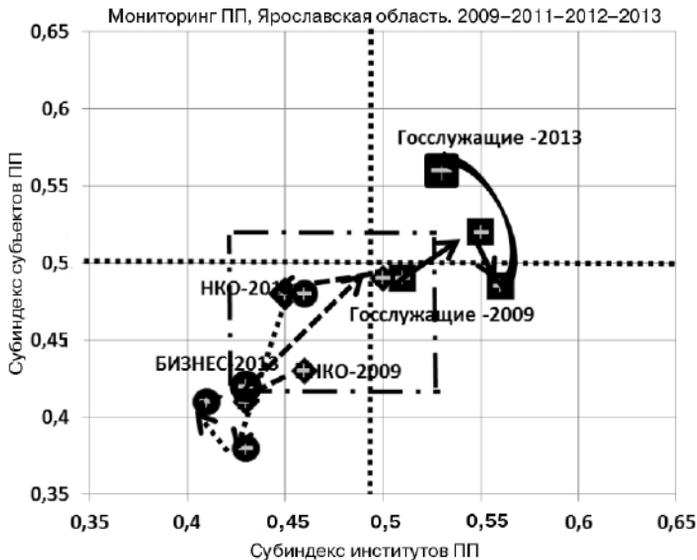


Рис. 10. Динамика изменения ЯН-индексов для трех групп респондентов

Каждая k -тая точка имеет две координаты — значение субиндекса оценки институтов ПП и значение субиндекса субъектов ПП, т.е. $p_k = (x_k, y_k)$.

Диаметр множества D — это максимальное расстояние между двумя точками множества или расстояние между двумя наиболее удаленными точками множества: $D = \max_M [d(p_i, p_j)]$, где $d(p_i, p_j) = ((x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2)$.

Величина диаметра множества для каждой группы респондентов составила:

- для бизнеса $D = 0,08$ — множество оценок ПП бизнесом самое «компактное» и расположено в зоне низких оценок;
- для госслужащих $D = 0,23$ — разброс максимальный — сильна неоднородность субъектов РФ, в «донорских» регионах высокие оценки ПП;
- для НКО $D = 0,19$ — «облако» оценок между госслужащими и бизнесом.

Сравнивая значения индикатора разброса для разных групп респондентов, отмечаем, что представители бизнеса из 21 региона более пессимистично оценивают развитость институтов ПП и продвинутость субъектов публичной сферы, чем две другие группы. Более того, практически для всех регионов значения субиндексов лежат в зоне низких оценок (по обоим субиндексам — для 18 субъектов РФ, а по субиндексу развитости субъектов публичной сферы — для 21 субъекта РФ). Такую ситуацию можно объяснить последствиями глобального финансово-экономического кризиса. Но скорее всего это не является исчерпывающим объяснением. Результаты качественных методов исследования глубинных интервью и экспертных сессий, проведенных в ряде обследованных регионов, показывают, что малый и средний бизнес пока еще функционирует в недостаточно комфортных условиях, считая, что его запросы и ожидания реализуются неадекватно.

У представителей НКО из 21 региона значения индикатора разброса больше, чем у бизнесменов. Причем оценки для четырех регионов расположены в зоне высоких оценок, а подавляющее большинство (17) имеют значения субиндексов в зоне низких оценок.

Максимальное значение индикатора разброса было получено для группы госслужащих. Служащие восьми из 21 субъекта РФ более оптимистичны в отношении развитости институтов и субъектов ПП в своих регионах (значения обоих субиндексов лежат в зоне высоких оценок.

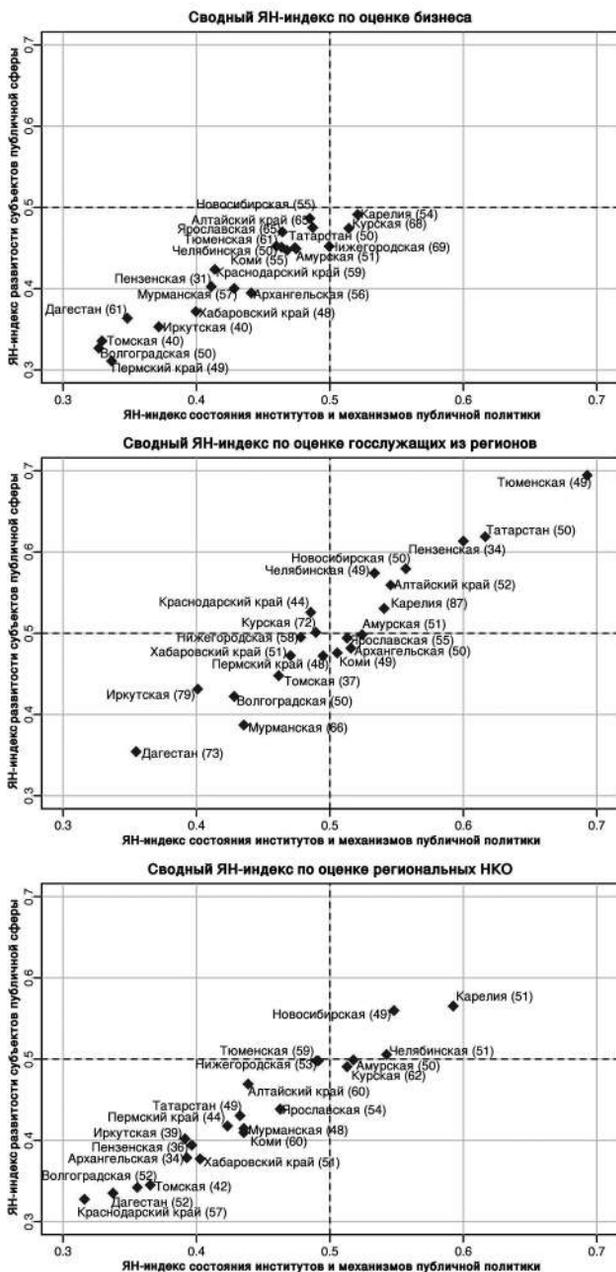


Рис. 11. Разброс оценок разных групп респондентов

Кроме того, предложен еще один индикатор для сравнения совокупных оценок разных групп респондентов из всех обследованных регионов — **срединная (виртуальная) точка** «облака» оценок для каждой группы респондентов отдельно.

Срединная точка «облака» оценок S^r имеет координаты x_s^r и y_s^r . Значения этих координат определяются следующим образом:

$$x_s^r = x_{\min}^r + \frac{x_{\max}^r - x_{\min}^r}{2} \quad \text{и} \quad y_s^r = y_{\min}^r + \frac{y_{\max}^r - y_{\min}^r}{2}.$$

Здесь: x_{\min}^r, y_{\min}^r — координаты самой нижней точки «облака» оценок группы респондентов r , а x_{\max}^r, y_{\max}^r — координаты самой верхней точки «облака» оценок группы респондентов r . Рассчитав значения координат срединной точки для всех групп респондентов, получим: $S^{\text{службе}}$ имеет координаты (0,52; 0,53), $S^{\text{НКО}}$ имеет координаты (0,45; 0,445) и $S^{\text{бизнес}}$ имеет координаты (0,43; 0,4).

Сравнивая положение координат срединных точек, мы видим, что две из них (НКО и бизнеса) расположены в зоне низких оценок субиндексов, в то время как срединная точка госслужащих вышла в зону высоких оценок для обоих субиндексов.

Итак, срединные точки показывают, что в совокупности для всех 21 субъектов РФ, показанных на рис.11, несмотря на разброс оценок, госслужащие в большей степени удовлетворены состоянием публичной политики, чем НКО и бизнес. Наименее удовлетворены представители бизнеса — их срединная точка расположена в зоне низких оценок обоих субиндексов и ниже, чем срединная точка респондентов из группы НКО.

Примечания

¹ Rhodes R. A. W. The New Governance without Government // Understanding Governance Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Maidenhead: Open University Press, 2003. P. 46–53

² Доклад о развитии человека 2010: 20-е юбилейное издание. [Электронный ресурс]. — Режим электронного доступа: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010> (Дата обращения: 1.06.2015).

³ Janda K., Kwak J.-Y. Party Systems and Country Governance // Paradigm Publishers. Boulder: L., 2011. P. 3–17.

⁴ Никовская Л. И., Якимец В. Н. Публичная политика в регионах России: типы, субъекты, институты и современные вызовы // Полис. 2011. № 1. С. 80–96.

⁵ Edwards A. Scientific expertise and policy-making: the intermediary role of the public sphere // Science and Public Policy. 1999. Vol. 26. June. P. 3

⁶ Якимец В. Н. Индекс для оценки и мониторинга публичной политики в регионах России // Труды ИСА РАН. М., 2006. Т. 25. С. 138–146; Якимец В. Н.

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

Индекс для оценки и мониторинга публичной политики // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. М.: РАПН, РОССПЭН. 2008. С. 107–121.

⁷ *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Публичная политика в регионах России: характеристика типов и ресурс влияния // Вестник МГИМО Ун-та. 2011. № 1. С. 224–235; *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Оценка действенности институтов публичной политики в России // Полис. 2013. № 5. С. 77–86.

⁸ Проект был реализован на средства господдержки (в виде гранта Институтом общественного проектирования в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 марта 2009 г. №160-рп).

⁹ *Якимец В. Н.* Критерии для описания типов региональной публичной политики и индикаторы для анализа разброса оценок // Труды ИСА РАН. М., 2010. Т. 57. С. 38.

¹⁰ *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Особенности состояния публичной политики в регионах России: состояние и современные вызовы // Политэкс. 2010. Т. 6. № 1. С. 23–34; *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Публичная политика в регионах России: типы, субъекты, институты и современные вызовы // Полис. 2011. № 1. С. 80–96; *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Типология публичной политики в российских регионах // Социологические исследования. 2011. № 3. С. 56–66; *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Публичная политика в регионах России: характеристика типов и ресурс влияния // Вестник МГИМО Ун-та. 2011. № 1. С. 224–235.

¹¹ *Якимец В. Н.* Оценка состоятельности институтов и механизмов публичной политики // Политика, состоятельность государства и гражданская активность в России: вызовы электорального цикла 2011–2012 гг.: Материалы XI Всероссийского научного семинара (8–11 октября 2012 г.). Майкоп: Качество. 2012. С. 79–82.

¹² *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Оценка действенности институтов публичной политики в России // Полис. 2013. № 5. С. 77–86; *Никовская Л. И., Якимец В. Н.* Проблемы и приоритеты развития публичной политики в современной России // Власть. 2015. № 6. С. 6–16.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная политика развивается так быстро, что лексика часто не поспевает за этими изменениями, т.е. политическая реальность ушла вперед, а мы еще говорим о ней старым языком, который уже не позволяет адекватно нарисовать политическую картину мира. Авторы книги надеются, что за время ее публикации все же не произошло каких-либо кардинальных событий, которые радикально изменили бы наши представления о политическом процессе. Конечно, поиск адекватного языка политики (как и политической науки) является задачей не только ученых, политиков, но и всех граждан политического сообщества, потому что без взаимопонимания и общего знания о политических проблемах вряд ли возможна эффективная и справедливая политика. В связи с этим меняется роль не только государства, политических элит, граждан, но и политологов и политических философов. Последние в современном обществе уже не могут претендовать на роль верховных экспертов по знанию. Политическая наука становится фактом реальной политики, а политологи — участниками политических дискуссий. Оттачивая и проясняя смыслы происходящего, они должны внимательно прислушиваться к разговору людей между собой, граждан с политиками, политиков друг с другом, включаться в этот, как сегодня называют, дискурс и совместно в диалоге формировать обоснованные суждения. Взаимопонимание — тонкая вещь, и часто его невозможно достичь только потому, что люди говорят на разных языках, по-разному мыслят и понимают политическую реальность. Потому процесс общения должен быть постоянным и интенсивным. Помимо чисто практической целесообразности этим политическим общением достигается не только нужное для реальной политики согласие по целям и направлениям деятельности, но и нечто большее. Как пишет один из современных политических философов — Джорджо Агамбен — «поведение и формы проживания человеческой жизни никогда не предписываются ни каким-то биологическим предназначением, ни какой-то иной необходимостью, но будучи столь привычными, повторяемыми и социально обязательными, они всегда сохраняют в себе характер возможности, в том смысле, что они всегда готовы задействовать саму жизнь. Поэто-

Заключение

му человек — в той мере, в какой он является субъектом потенциала, то есть в той мере, в какой он может действовать или бездействовать, действовать удачно или неудачно, теряться или находиться, — является единственным существом, в чьей жизни всегда присутствует счастье, чья жизнь неизлечимо и болезненно привязана к счастью. Но это констатирует форму-жизни непосредственно как политическую жизнь»*.

* *Агамбен Дж.* Средства без цели. Заметки о политике. М.: Гилея, 2015. С. 14.

Сведения об авторах

Айвазова Светлана Григорьевна, доктор политических наук, главный научный сотрудник отдела сравнительных политических исследований Института социологии РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член научного совета РАПН, руководитель исследовательского комитета РАПН по гендерной политологии.

Ахременко Андрей Сергеевич, доктор политических наук, профессор, заведующий лабораторией качественных и количественных методов анализа политических режимов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Гришин Николай Владимирович, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и международных отношений Астраханского государственного университета.

Завершинский Константин Федорович, доктор политических наук, профессор кафедры теории и философии политики Санкт-Петербургского государственного университета.

Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, член правления, редакционно-издательского совета и совета по международному сотрудничеству РАПН, почетный президент РАПН, лауреат медали РАПН им. Г. Х. Шахназарова.

Комаровский Владимир Савельевич, доктор философских наук, профессор кафедры политологии и политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Заслуженный деятель науки РФ, член научного совета РАПН.

Кочетков Александр Павлович, доктор философских наук, профессор кафедры российской политики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, вице-президент РАПН.

Красин Юрий Андреевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель отдела анализа социально-политических процессов Института социологии РАН, лауреат медали РАПН им. Г. Х. Шахназарова.

Малинова Ольга Юрьевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД России, почетный президент РАПН, со-координатор исследовательского комитета РАПН по изучению идей и идеологий в публичной сфере.

Мельвиль Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, декан факультета социальных наук, руководитель департамента политической науки НИУ ВШЭ, вице-президент РАПН, Заслуженный деятель науки РФ.

-
- Мирошниченко Инна Валерьевна**, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета.
- Морозова Елена Васильевна**, доктор философских наук, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета.
- Никовская Лариса Игоревна**, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела анализа социально-политических процессов Института социологии РАН, член научного совета РАПН, руководитель исследовательского комитета РАПН по гражданскому обществу, конфликтам и публичной политике.
- Панов Петр Вячеславович**, доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского национального исследовательского политехнического университета, профессор кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета, со-координатор исследовательского комитета институциональных исследований РАПН, член научного совета РАПН.
- Патрушев Сергей Викторович**, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом сравнительных политических исследований Института социологии РАН, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук Всероссийской академии внешней торговли, член правления и редакционно-издательского совета РАПН, со-координатор исследовательского комитета институциональных исследований РАПН.
- Пивоваров Юрий Сергеевич**, академик РАН, доктор политических наук, профессор, научный руководитель ИНИОН РАН, член редакционно-издательского совета РАПН, почетный президент РАПН.
- Поцелуев Сергей Петрович**, доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета, член научного совета РАПН, руководитель Ростовского регионального отделения РАПН, Ростов-на-Дону.
- Русаков Василий Матвеевич**, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Института международных связей (ИМС), Екатеринбург.
- Русакова Ольга Фредовна**, доктор политических наук, профессор, заведующая отделом философии Института философии и права Уральского отделения РАН, член научного совета РАПН.
- Сморгунов Леонид Владимирович**, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политического управления Санкт-Петербургского государственного университета, член правления РАПН, председатель научного совета РАПН, член редакционно-издательского совета РАПН, вице-президент РАПН.

Соловьев Александр Иванович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа МГУ имени М. В. Ломоносова, член правления РАПН, председатель редакционно-издательского совета РАПН, главный редактор ежегодника РАПН.

Филиппова Людмила Евгеньевна, кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела сравнительных политических исследований Института социологии РАН.

Шабров Олег Федорович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и политического управления РАНХ и ГС при Президенте РФ, президент Академии политической науки РФ, член правления РАПН, руководитель исследовательского комитета РАПН по политическому управлению.

ШестопаЛ Елена Борисовна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и психологии политики МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета РАПН, руководитель исследовательского комитета РАПН по политической психологии, лауреат медали РАПН им. Г. Х. Шахназарова.

Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Научное издание

Серия «Российская политическая наука:
Истоки и перспективы»

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА
Идеи, концепции, методы

Подписано к печати 12.08.2015. Формат 60×90¹/₁₆.
Усл. печ. л. 23,5. Тираж 1000 экз. Заказ №

ЗАО Издательство «Аспект Пресс»
111141, Москва, Зеленый проспект, д. 8.
E-mail: info@aspectpress.ru; www.aspectpress.ru.
Тел.: 8(495) 306-78-01, 306-83-71

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8(499)270-73-59
